

**Товарищество писателей в Петербурге  
Секция критики и литературоведения  
Союз писателей России**

# НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики,  
прозы и поэзии

ISSN xxxx-xxxx

№ 3

**март – апрель 2017**

email [mvnch@mail.ru](mailto:mvnch@mail.ru)  
Индекс xxxxx

Санкт-Петербург  
2017

Редакционный Совет

Главный редактор  
В. И. Чернышев

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### I. ПОЭЗИЯ

Г. Н. Ионин. Младенец (поэма)	4
В. И. Чернышев. Стихи о несчастной жизни	13
Роман Круглов. Четырнадцать стихов о несчастной любви	17

### II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Вячеслав Овсянников. Голова Орфея. Суздаль	23
Последний всплеск	26

Т. М. Лестева. Два рассказа	37
Н. И. Калягин. Сказки и истории	55

### IV. ЛИКИ, ЛИЦА, ЛИЧИНЫ (литературно-философская критика)

Л. Бубнова. Несметное множество картин	79
Александр Медведев. Человек на мосту	85
Г. Г. Муриков. Дневник критика: 2014 – 2016 год. Литературный обзор	89
Т. М. Лестева. Проханов А. А. «Востоковед». Роман. (М. 2016 г.).	96

### III ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИЯ, ПОЭЗИЯ, ПРОЗА

Маргарита Токажевская. Философская лирика. Прозаические отрывки	100
Мария Амфилохиева. К неизвестному водопою	106
Горящая бездна	123

Юрий Санников. Блуждание в бездне. Стихи	127
--	-----

### V. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

О. Мальцева. Золото, золото сердце народное (Некрасов)	139
А. В. Осипов. Дело Никитенко (продолжение)	147
Сергей фон Штейнь. А. В. Никитенко. Биографический очерк	158
А. Л. Казин. В начале было слово (перепечатка из журнала МЪра)	168

### VI. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПИСАТЕЛЬСКИХ СУДЕБ

Иванов-Разумник. Творчество и критика. Статьи критические	180
В зеркале писательских судеб	185
Е. Ф. Ковтун. Казимир Малевич и последнее стихотворение Хлебникова	200
Г. Н. Ионин. Поэма с героем и без него (Ахматова и Маяковский)	219
Г. Г. Муриков. Прокурорский надзор. О книге Натальи Бонецкой «Царь-девица» (Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи). СПб, 2012 г.	230
В. В. Розанов. О Мережковском	238
Р. В. Иванов-Разумник. Д. Мережковский	243

### VII. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА (статьи, обзоры, переписка)

А. Н. Демьяненко. Манифест: О принципах современной критики	292
Н. Н. Браун. Петербургские частушки (окончание следует)	298
В. И. Чернышев. Из старых записок редактора	306
Объяснительная Записка – <b>Боль мира и Хрустальный Замок</b>	310

І. ПОЭЗИЯ

---

Герман Ионин

**МЛАДЕНЕЦ**

(поэма)





**ПОСВЯЩЕНИЕ**

*Сегодня младенец предвидеть готов  
Холмы и кресты современных голгоф.  
Они современны – кресты и холмы.  
А в них и на них – современные мы.  
Все время во мне и все время со мной  
Мое оправданье – младенец грудной.  
Пронзительно слышен, язвительно зряч  
Его полуночный младенческий плач.  
На крестную муку веню я совью,  
Тебе посвящая поэму свою.  
Младенцу такому – единственный путь.  
На этом пути победителем будь,  
Чтоб волей твоей на голгофе спаслась  
Любви и спасения Ипостась.*

## 1.

Кто гонит сквозь ночь коня своего?  
Родитель, а с ним сынишка его.  
Ребенок еще не продрог до конца,  
Укрытый у сердца родного отца.  
Мой папа, к тебе я прижался не зря.  
Я вижу повсюду лесного царя.  
Чернеет короной. Белеет хвостом.  
Прорвемся, мой сын, разберемся потом.  
Куда ты в тумане, сквозь заросли мчась?  
Послушай, что царь тебе скажет сейчас.  
Тебя наградит моя старая мать  
И станет, как сына, тебя обнимать.  
Мой папа, ты слышишь, любя и маня,  
Лесной государь приглашает меня.  
Сынишка, не слушай. Наш путь перекрыт.  
Развеян туман. И ветер шумит.

Куда ты, куда запретной тропой?  
Здесь дочки мои поиграют с тобой.  
Потом потанцуют, потом попоют.  
И ты незаметно забудешься тут.  
Отец, ты заметил, как дочки его  
Сбивают с пути коня твоего?  
Спокойно, спокойно, мой милый сынок.  
Летим, где никто бы проехать не смог.  
Куда? Ты мне мил красотой лица.  
Тебя я сейчас оторву от отца.  
Мой папа, мой папа, грозя и маня,  
Лесной царь поймал и уносит меня.  
Отец это слышит, и вот наконец  
Пугается вовсе несчастный отец.  
И конь прорывает рассветную синь,  
И вот он доехал. И мертв его сын.

*(По мотивам баллады Гете / Жуковского «Лесной царь»)*

2.

Ты понял, когда родился на свет  
Младенцем с сознанием прожитых лет,  
Что в зрелые годы и дни и часы  
Тебя пеленают, кладут на весы.  
Ты понял, и ты догадался о том,  
Что зренье и слух родятся потом.  
И ты осознал, что, любя и творя,  
Младенческий плач – голгофа твоя.  
Существование распятию под стать.  
Нельзя повернуться и на ноги стать.  
Нельзя оглянуться – темно и черно.  
Самосознание отключено.  
А в памяти опыт отчаянно смел.  
Опять отвоевывай то, что имел.

Но ты до прихода зрелых годов  
Себя позабыть и забыться готов.  
Младенческим криком слова упреди.  
И целая вечность еще впереди.  
А люди твой крик превратно поймут  
На первой голгофе дней и минут.  
Каким испытаньям и пыткам сродни  
Такие секунды, минуты и дни.  
Об этих страданиях без слов и без мер  
Слагай «Илиаду», как старец Гомер.  
И в новой поэме, объявленной вслух,  
Себе отвоевывай зренья и слух.  
Вторая голгофа еще далека.  
Младенец, не спи и не пей молока.  
Глухой и слепой в «Илиаде» любой  
Припомни, когда это было с тобой.  
И только тогда полюбить не забудь  
На ощупь и вкус материнскую грудь.  
А впрочем себя позабудь и живи.  
Младенец любой начинает с любви.  
Не путай младенческих криков и строк.  
Другой «Илиады» испробован срок.  
Такие страдания, холмы и кресты  
Не вынесет взрослый, но вынесешь ты.  
Проснись и за труд, любя и творя.  
Примета победы – улыбка твоя.

## 3.

И без опоздания оттуда истек  
Незнанья, сознания и знания поток.  
Спасибо слепому недетскому сну.  
Поток осознает свою новизну.  
Счастлив и покоен младенческий сон,  
И я от безумья и боли спасен.

А главное с помощью этого сна  
Родная голгофа моя спасена.  
Родная голгофа назначена мне.  
Забудь о моем летаргическом сне.  
В кровавом поту я венки мой сплету,  
Как сын и отец в Гефсиманском саду.  
Еще до рождения, бедный малыш,  
Венок мой надень и плач мой услышь,  
Пока для твоих летаргических глаз  
Еще до рожденья голгофа зажглась.  
А после рожденья до нынешних дней  
Готов я висеть на голгофе твоей.  
И мы неразлучны с тобою вдвоем  
В потоке сознания моем и твоём.  
Незнание и знание обречены  
Страдать осознанием общей вины.  
И все-таки ты на спасенье нацель  
Мою колыбель и твою колыбель.  
И вот я родился и прямо прервал  
Незнанья неведомый интервал.  
Собою и мною себя ослепя,  
Мое возвращенье ты взял на себя.  
И я, поневоле неведом сперва,  
Как зренья и слух, вспоминаю слова.  
И с первым дыханьем и с первых пелен  
Я первою силой твоей наделен.  
И это начало подобно концу,  
Моленью о чаше, явлению к отцу.  
Но ты победишь, просыпаясь опять,  
И я этот подвиг не в силах прервать.  
Словами, стихом и страницами книг  
Повержен мой ужас, всемогущ мой крик.  
И я осознаю свою новизну.  
Спасибо слепому недетскому сну.

## 4.

Пока я лежу в колыбели земной,  
Не спите во мне и побудьте со мной.  
Поймите, второе мое рождество  
Намного страшнее креста моего.  
Господь по природе неколебим.  
И мы привыкаем к рожденьям любим.  
И сам я как будто бы не замечал  
Такого схождения концов и начал.  
И вдруг открывается наиспод  
Знакомый исход и неожиданный восход.  
И вот неожиданно и напрямик  
Младенец прозрел и в тайну проник.  
Вторую расплатой, молением моим  
Младенец распятый неумолим.  
Напрасно его проповедуешь ты,  
Он рушит голгофы, ломает кресты.  
Началом концов и началом начал  
Он бьется в тебе и кричит по ночам.  
И снова смеется, невинно-святой,  
Над болью твоей и твоею бедой.  
В тебе и в себе запасал он и спас  
Второго рожденья невинный запас.  
В себе он берет над страданием верх.  
В тебе он отцовское горе отверг.  
На сына с отцом непохож и похож,  
Он гонит конфессий невольную ложь.  
Все то, что накоплено в нашей судьбе,  
Когда мы теряли младенца в себе.  
Господь по природе изрек и предрек  
Спасение вдоль, а любовь поперек.  
Но вместо голгофы моя высота –  
Евгеноученье младенца Христа.  
Ученье младенца. Единственный миг  
Помимо конфессий летит напрямик.

И то, что мы подвиг его повторим,  
Напоминает рождением вторым.  
Отец, успокойся. Не плачь и поверь –  
В моем рождестве откровенье теперь.  
Побудь и пребудь во мне и со мной,  
Пока я лежу в колыбели земной.

## 5.

Головка. Пульсирует родничок.  
У шейки распахнут воротничок.  
Тепло и ладони твои признаю.  
Держи мой затылочек, спинку мою.  
И тут же заранее вне и внутри  
Мой крик и желания предусмотрити.  
Но только вдохни и испробуй сперва  
Рожденье всего моего существа.  
Без грехопаденья и взрослой возни  
Себя самого из кровати возьми  
И смело порывом спасенной души  
В себя самого переход соверши.  
Твой голос неровен, твой опыт укрыт.  
А он улыбнется и не укорит  
И над колыбелью в надежных руках  
Усилит мой подвиг, осилит мой страх.  
Младенческий выдох, младенческий мёд  
Вберет мою душу и тело возьмёт.  
И прикосновеньем, ответной судьбой  
В моих же руках ты мне сделать помог  
В первый мой выдох, и первый мой вздох.  
Теперь окончательно подстереги  
Созвучье последней и первой строки.  
В рожденье и смерти мгновенен и скор,  
Победой реши их затянутый спор

И снова испробуй на вкус и на цвет  
Последний закат и первый предмет.  
Когда я тебя на столе пеленал,  
Ты принял меня и отверг мой финал  
И в белой кровати уснул и затих.  
Двумя кулачками сжимая мой стих.  
И вот я объявлен и сотворим  
Прозреньем твоим и зреньем твоим.  
И вот я от радости снова таков  
На веках твоих и во веки веков.  
В твоем забытии непременно ясны  
Цветные мои долгожданные сны.  
И вслед за тобою, как ты, глубока,  
Моя глубина покрывает века.

## 6.

Мгновенное время и опыт живой  
Покрыты безвременной синевою.  
Как стол посреди, как весы у окна,  
Моя «Илиада» обновлена.  
Торжественно ждут и читают ее  
Отцовство мое, материнство мое.  
В эпоху распада и взорванных вех  
Моя «Илиада» укроет мой век.  
Младенец ручонки раскинул и спит,  
Как будто к стальной крестовине прибит.  
Родитель проснулся в холодном поту,  
Но век сохраняет свою слепоту.  
Мне кто-то внушает: не трогай. Позволь  
Ребенку распятому чувствовать боль.  
И, чтобы всех нас от проклятья спасти,  
Крещением нашим его окрести.  
Гекзаметры гнева, безжалостный стих  
Почувствуют гвозди в ладошках своих.

Удвой испытанье во имя любви.  
Любовь и страданье отождестви.  
Ужасна веков откровенная суть.  
Отец, не сдавайся и дай мне уснуть.  
Моим несогласьем внутри и вовне  
Когда-нибудь я одолею вдвойне.  
Быстрее и зорче вокруг посмотри.  
Тебя окружают лесные цари.  
Они заговаривают и со мной.  
А я охранен крестовиной стальной.  
Затупит любого гвоздя острие  
Мое излученье, ученье мое.  
И что бы века ни придумали там,  
Лесному царю я тебя не отдам.  
Кроватька моя, болевая кровать.  
Кто может меня от тебя оторвать?  
Сливаются без берегов и без дна  
Моя глубина и твоя глубина.  
Века покрывает гекзаметр твой  
Моей синевой и твоей синевой.  
Святое усилие употребя,  
Они – мой младенец в руках у тебя.

2016 - 2017



*Примечание автора.* Ассоциативный ряд: евангельская Голгофа, сознание младенцем грозящей ему опасности (в изображении Гете), рассуждения Руссо о первом крике младенца на страницах трактата "Эмиль".



**В. И. Чернышев**

СТИХИ О НЕСЧАСТНОЙ  
ЖИЗНИ



\* \* \*

Ах, не сломаться б пред правдой небесной!  
Господи, Ты ль подвергаешь проверке?  
Помнишь, влюбился в стихи я чудесной,  
Правда, бесстыдно коварной Верки?  
Выстоять надо пред болью и тленьем,  
А отступаем мы без подготовки,  
Бог обвиняет нас в **похоти** – зренья,  
грации, слуха, поэзии, ковки!  
Как же нашли мы столь грозного Бога?  
Чем угодить не сумела Деметра?  
Все не угодно – от ритма до метра!  
Даже земная постыдна дорога!  
Ладно, не спорю, для вас воскресенье,  
Я же с стихами, с ладьей и лопатой  
Славлю, ликуя, осеннее тленье!  
Смерть за него – не чрезмерная плата!  
*10 марта, пятница, 8-00*

\* \* \*

Ночью меня оттащили и бросили  
Возле дороги... Когда же туда,  
Где ни зимы, ни весны и ни осени  
И на прощанье не светит звезда?!  
Боль и страданье страшат меня, мучают,  
Смерть разве столь же тяжелая ноша?  
Правда, не знаю... все не было случая...  
Впрочем, нельзя ли – устану – и брошу?!  
Как и меня – не жалея, без пеня...  
Нет ни котомки, ни лодки, ни посоха.  
Боль меня мучает, черт с этим тлением!  
Ладно, пойду уж, чрез Стикс аки посуху...  
Память! Одна ты красивая, гордая,  
Небо в тебе и бесчисленно звезд!  
Даже когда по стерне меня мордою,  
Ты приподнимешь, обнимешь – мой мост!

-----

\* \* \*

Мне надо влюбиться, начать все сначала,  
Сменить аксиомы и жизни и быта.  
Быть может, и муза не зря замолчала –  
Сердце мое было слишком закрыто.

Мне надо писать философию прозы,  
Сверяясь не с формулой мелкого века,  
Исследуя штгили, засухи, грозы  
Уже не в душе, а извне человека.

Затем позабыть даже "надо", "не надо",  
Пусть страсть направляет желанья горячих!  
Дожить лишь до лета, до Летнего сада,  
Раздеться, развесить запрет на ограду –  
Тогда посмотреть и на *похоти* зрячих!

И вновь рассмотреть и святость и похоть  
Сквозь поры решетки не мелкого века.  
Но как мы посмели сей город отгрохать,  
И как не забыли в себе человека?

Мне надо влюбиться, доплыть до июля,  
Ну, в крайности даже доплыть до апреля,  
Напиться от солнца горячего хмеля  
И вылететь к миру из затхлого улья!

Но надо пока оставить стихи и взяться более за насущные дела.

\* \* \*

Болею уже две недели,  
Сердцу уже стучать трудно.  
Пули, пролетая, ночью пели,  
Странно, но замолчали утром.

Кажется, я застрял между бревен,  
Ни взад ни вперед, ни выше.  
Выдох и вдох не ровен,  
Жалоб моих никто не слышит.

Может, собрать все силы,  
Пойти поваляться по снегу?  
Полночь уже пробилла,  
Готовься, душа, к побегу!

\* \* \*

Новые сочетания слов, пауз, поз –  
Мой старый способ писем к друзьям.  
И к юным розам в окружении роз,  
И у забора к забытым кустам.

Я просыпаюсь после страстной ночной  
Песни или прорвавшейся в апрель вьюги.  
Где она будет плакать весной?  
В окна стучать забытой подруги?

Трогаю губами не мысли – пустые слова,  
С осени они средь листьвы были скрыты.  
Встаньте, говорю им, одно, вот и два...  
Даже уже и третье? Жива?  
Светишься ... и все ж не забыта!

*2 апреля*

Роман Круглов

**ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СТИХОВ  
О НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ**



\* \* \*

Все заново – значит, все кончено.  
Слагаю стихи, полномочия,  
Обязанности и все прочее.  
А счастье другим завещаю.  
Прощай. Не приду за вещами.

От злости искрят провода.  
Теперь, совершенно бездомный,  
Болтаясь в трамвая бидоне,  
Я еду – не знаю куда.

Запугавшийся в волосах  
Сквозняк будет рваться, колеса вращаться;  
«Все заново!» – бьется в висках,  
Все заново: тьма и удушье.  
Привычка прощать, возвращаться –  
Спасительное малодушие –  
Иссякло.

\* \* \*

Готово: ты освобожден.  
Хлебни за то, что ты разрушил;  
Пусть слякоть проникает в душу  
Воздушно-капельным путем.

Дрожит штандартом на ветру  
Твой смех – безликий, обалделый.  
Свободный путь – что хочешь делай –  
Лежит перед тобой, как труп.

Лакейски-вежливо притих,  
Ручонки вытерев о китель,  
Твой ангел-падальщик-хранитель  
И ожидает чаевых.

\*\*\*

Надежды нет. И нет ни сил, ни дрожи,  
Когда с тебя живьем содрали кожу;  
Не предназначен ни для чьих ушей  
Твой шепот. Но ты шепчешь жарче солнца,  
И больно небу, и земля трясется,  
И стыдно мирозданию. Но не ей.

## БРЕД

Почему не приходит сестра?  
Нет, не эта, а та, что вчера...

По ночам обезумевший Шнитке  
Распускает мне нервы по нитке,  
А проснусь – тишина загудит.  
Почему так воняет в груди,  
Канарейка повесилась в клетке?  
Дайте, доктор, от крика таблетки.  
Нет, не эти. Ну дайте хоть спирт.  
Кто-то белый навис надо мной:  
«Как там наше сердечко, шалит?  
Пустяки. Не дышите, больной».

\* \* \*

Я молчу во все горло, навзрыд.  
Как могила – поруган, разрыт.  
Не пойду ни к попу, ни к врачу  
И не той обо всем промолчу.  
Буду жить с расчудесной не той  
В пристыженном моей немотой  
Мире, где из окна не тот вид  
О тебе, надрываясь, молчит.  
Все стерпев, буду предан земле,  
Как был предан тобой и тебе.

\* \* \*

Вечером напьешься – станет ясно,  
Как прожить еще один шажок...  
Вышел в безвоздушное пространство  
За родимый болевой порог,

Думал: одиночество и сила.  
Нынче жалко льнешь к чужим дверям  
И уже не помнишь, как все было  
Там, где верил, ждал и доверял.

По привычке дышишь, но, похоже,  
Жизни нет, есть только страх и ложь.  
И никто, конечно, не поможет.  
Да и сам ты этого не ждешь.

\* \* \*

Постарайся понять: хэппи-энда не будет.  
И не нужно на замысел глупый пенять,  
Ибо замысла нет. Нет виновных, есть люди.  
Бесполезность страданий осмелюсь принять

Безусловно, бестрепетно, словно цикуту.  
Будь в себе, как в глуши, чтоб кругом ни души.  
Пожалей всех в последнюю эту минуту.  
Это все, что ты можешь. Потом – не дыши.

\*\*\*

Превращаюсь в твердый кокон  
С недобабочкой внутри.  
Каплет из поблекших окон  
Мертвая вода зари.

Только тьма не убывает.  
Ни ожить, ни околеть.  
То, что нас не убивает,  
Делает из нас калек.



\* \* \*

Лучше быть, чем не быть. Просыпаюсь на бис.  
Пустота скалит зубы сквозь щели кулис.

Я творю – и неважно, что будет потом.  
Занимаюсь осмысленным делом,  
Очень нужным, вселяющим веру трудом –  
Как гимнастика перед расстрелом.

\* \* \*

День на бегу весь из планов, набросков,  
Средний в снегу на мгновение ожил:  
Помнишь? Был зимний Васильевский остров  
Свят, как и все у влюбленных подростков.  
Помнишь замерзших витрин витражи?  
Помнишь от смеха искрящийся Средний  
В пышной метели, как в белой сирени?  
Что ты стоишь, телефон теребя?  
Вспомнил? Убей же скорее себя.

\* \* \*

Я шел и размышлял о том,  
Как просто, радостно бы жил я,  
Увидел перья подо льдом –  
Не спасшие белеют крылья.

Все лучшее, чем дорожил,  
Раздавлено, как эта птица.  
Бессмысленно. Но это жизнь,  
А с ней нельзя договориться.

\* \* \*

Иногда с голубиною почтою сна,  
Иногда в одиноко распитой бутылке,  
Мне приходят посланья (написаны на  
языке, мной забытом). Я столько лет в ссылке

В этом богом забытом крошечном краю,  
Что послания эти напрасно тревожат,  
Только напоминают про участь мою.  
Мне они не нужны, я давно уже тоже

Алчный, глупый, жестокий дикарь, как и все,  
Кто живет здесь. Я знать ничего не желаю,  
Кроме местных забав Rock&roll, Drugs и Sex –  
Остальные скучнее. Кругом неживая

Заливает наш край пелена дурноты...  
С осторожностью пью, засыпаю с опаской  
И пытаюсь не думать о том, что и ты  
Получаешь посланья, с надеждой (напрасной)  
Глядя за горизонт пустоты.

\* \* \*

Не узнаю тебя во сне.  
Все тише прошлое зудит.  
Я о тебе могу судить  
По форме пустоты во мне.

Я, как хрустальный тот башмак,  
Потерян, одинок. Зато  
Я точно знаю, что никто  
Мне в душу не наступит так.

-----

## II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

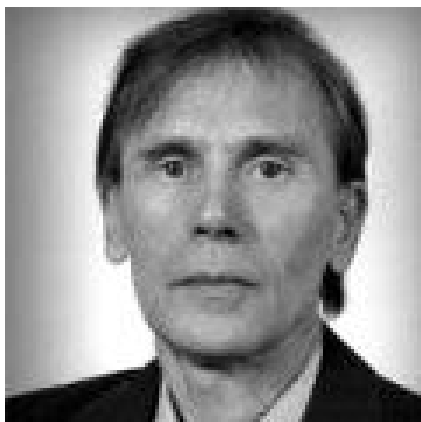
---

*Вячеслав Овсянников*

**ГОЛОВА ОРФЕЯ**

**СУЗДАТЬ**

**ПОСЛЕДНИЙ ВСПЛЕСК**



### *О поэзии*

**Т**роза, сорвавшая с себя маску. Лик ее ужасен. Ее магические заклинания и прорицания, ее глаголы-молнии. Это не сладкопевная Муза, дочь Аполлона и Мнемозины. Нет, – это Медуза-Горгона, Пифия, Сивилла, библейская Дивора и скандинавская Вэльва, кельтская Фея Моргана, египетская Исида и аккадская Иштар. Поэт – искра ее грозы. Поэт – Соловей-разбойник, круто налившийся свист, Див верху древа, пробудившийся орел. Или – шепот, робкое дыхание, трели, серебро и колыханье сонного ручья, отблеск лунного света на рукаве, мотылька полет незримый, звезда на трепещущих мокрых ладонях, огонек за рекой? Орган всеотзывчивости, отклик лирического сердца, всемирное соловьиное эхо? «Таков и ты поэт». Долг поэта – умереть с песнью на устах. Знаем, знаем: поэзия живет смертью своих любимейших птенцов-певцов – поэтов. А поэт идет себе по миру, беспечнейший из созданий, перед распутиями земными, исполнен думами златыми, не замечаемый никем, смиренный, тихий и босой, за благословенной своей звездой. И в том ему отрада, что ничего не надо нищете его святой. Он – автор молитв и гимнов. А автору надобен токмо звон, а кроме того ни что. Автору надобен вечерний звон.

### *Стекольщик*

Стекольщик на верхнем этаже; у него на столе лист стекла. Моя жизнь. Я собирался когда-нибудь выразить словами ее цельность, прозрачность и хрупкость. Это была бы книга без начала и конца из бесчисленных томов, которых не вместили бы все библиотеки мира. Я долго не решался, слишком уж безумная затея. А Стекольщик грозно грохнул кулаком – и моя жизнь разбилась вдребезги, разлетелась на кусочки. Теперь я подбираю по осколку и пишу строчку. Так и пишу, по осколку в день.

### *Нож и круг*

Нож-небо, ближе, ближе. Завораживает и ужасает. Но вокруг меня очерчен круг, невидимый круг, я внутри него. Я в безопасности. Замкнутость. Раб, узник. Но что-то готовится. Побег. Щелкает хлыст – и тигр прыгает сквозь все горящие круги. Он тот, кто – «из» и «сквозь». Бежит он из кругов, из времени и тяготенья, и звуков и смятенья полн, куда-то, где ни волн, ни дубров, в пустоту, пустыню пустынь, сквозь всё.

### *Корабль дураков*

Гамлет, пририсованы усы. Корабль отчаливал под дождем. Полосатые пижамы мокли, столпясь у борта. Глаза тоскливы. Фанфары, трубы и барабаны. В инвалидном кресле на колесах скорчился подросток-паралитик, из-под тряпичного картузика красные лопухи-уши. Моргая, глядит в никуда. Свистнул гудок, кнутом хлестнул. Матросы убирают швартовы. «Гопить везут» сказал кто-то на пристани.

### *Голова Орфея*

Полнолуние. Окликает по имени. Гудок уходящего поезда. Тоска. А я думал: начнется новая жизнь. И все рухнуло... Очнулся. Светает... Идем по дороге. Жаркий июньский день, облака, солнце сплит, цветущие кусты шиповника. Такое уныние, как будто потерял все на свете. Из дома справа от нас песня: «Ни минуты покоя, ни минуты покоя, не могу без тебя. Что же это такое?..». Федра, Фрейд, голова Орфея.

### *Рыцарь бедный. (Владимиру Алексееву)*

Ты давно уже не звонил мне. Ты говорил: «Не грусти! Что ты грустишь?..» Ты поднимал меня из ямы моего уныния. После разговора с тобой у меня опять расправлялись крылья. Ты, смеясь, называл меня: «мрачный и отвратительный писатель». Вот уже почти год, как ты не звонишь мне, и я не слышу твоего голоса. Но я почему-то уверен, что ты мне еще позвонишь однажды, в какой-то вечер, когда мне будет уж очень тоскливо и тяжело, совсем внемоготу, и спросишь: «Ну что, как ты там поживаешь, мрачный тип?». И засмеешься: «Ничего не поделаешь. Опять я тут с вами. Куда от вас от всех деваться?». Рыцарь бедный, ни брони, ни коня, ни меча, только сердце.

### *Красное ли красное. (Константину Крикунову)*

Буквы писать, как ты говорил. Здесь ты их не дописал, свои букочки-бусинки, отблески, отзвуки. «Нужно нам спокойно относиться к смерти игрушек, близких и друзей». Голос хрупкий, как последний ледок весной, или как тоненькая, туго натянутая струнка, вот-вот оборвется. Детский дневник, написанный в десять лет. Птичка божия, писал ты о себе, уже потом, уже давно взрослый, но с тем же простым и бесхитростным детским сердцем. Старый календарик с памятными датами у меня на столе, вороньи крики в парке. Красное ли красное? Если нет – тогда что это такое, что же это такое? Тогда почему, для чего и зачем?

### *На пароме*

Мы, трое морских офицеров, идем по нагретому солнцем, дощатому пирсу. Парадная форма, праздник, день Военно-морского флота. Вот мы уже на пароме, стоим у борта, удаляются серые бревна свай с пляшущими на них бликами. Женщина на пирсе машет рукой кому-то из нас. Кому? Уж точно не мне. Залив шире и шире. В мутно-желтой воде плывет тень парома, борт, наши фигуры. Мои попутчики разговаривают, но я занят другим: я смотрю в даль, в этот морской простор, в безбрежность. Там исчезают все преграды, все препоны. И дальше за горизонтом – только море, море и море... Но вот наш короткий рейс кончается. Блеск воды, причал. Моих попутчиков встречают жены. Меня никто не встречает.

### *Яблоко*

Море снится, шторм, качка. Просыпаюсь. Я на своей кровати, а не на корабельной койке, подо мной земная твердь, а не морская хлябь. Работаю на новом месте. Новодевичий монастырь, там теперь архив, перекладываем коробки и папки, тревожа вековую пыль на стеллажах. Разговоры о монашеской схиме. Весело, смеемся. Рыжая, веснушки, восемнадцать лет. На трамвайной остановке, ветер; рыжие, длинные жгуты волос крутит, швыряет. Ярко-зеленая, молодая листва тополя. Стихотворение Парни: что женщина не признается первой в любви мужчине. К чему это она? По Московскому проспекту до Обводного. Чувствую в себе столько силы, что хочется бежать вприпрыжку. Станция Фарфоровская, на платформе, ждет поезд. Сапоги на высоком каблуке, пальтецо с серыми полосками, вязаная белая шапочка. Подняла глаза от книги, которую читала, держа в руке, и смотрит на меня. И я тоже смотрю на нее. Иду к зданию Сената. Нева струисто-оловянная, светлая. Воздух свеж, и сердце бьется бодро. Читаю, Великий инквизитор, Соня Мармеладова, сны, гибкое, девичье. Ночами – морозец, луна, звезды, сухо. Утром изморозь. Спешу на вокзал. Сиреневато-серебристые доски мостка. Листья каштанов на земле буро-бугристые, как морские звезды. С ней в кино, полный зрительный зал; в темноте, весь сеанс, наши руки, сплетенные, горячие, неистовые; пальцы сжимаются, извиваются. Она живет одна, недавно умерла бабушка, больше у нее никого нет. На диване, поцелуй. Говорит, что у меня сладкие губы. Это оттого, что я перед тем ел яблоко. То самое яблоко, которым она меня угостила.

### *Рига*

Рига снится, наши путешествия по всему городу; водила меня в гости к своим друзьям, везде угощение, пьянствовали; она всегда пьяная, у нее спал чулоч на ноге, материлась. Май, сухой асфальт, чистые улицы. Там, в Риге, уже всю зеленели деревья. Всю неделю по гостям. Какие-то дворы, закоулки, застолья. Уходили рано утром и возвращались поздно ночью, потихоньку пробирались в ее комнату, чтобы ее мать нас не увидела и не ругалась. Ночью ее большая, темная комната, громадная кровать, на которой мы с ней спали. Плотные, пыльные, всегда задвинутые шторы.

### *На картошку*

В колхоз на неделю. Живем в палатках, ночи теплые, днем солнце, жарко. Огромные поля, огромное небо, река Луга. Ходим за трактором по взрытой борозде, собираем картошку в ящики. Картошка крупная, сухая. Борозды бесконечные, до горизонта. Опушка леса, береза уже осенняя, с желтыми прядями, и с нее слетают желтые кружочки. Сажу на камне, приятная усталость в теле. Ждем, когда привезут обед. Работу кончаем поздно, в восемь, купаемся в реке. Каждый вечер костры, водка, танцы, гулянье до рассвета. Эта, незамужняя, озорная, смеялась, вырывалась из моих рук.

### *Володя*

Пришел Володя. Не виделся три года. Возмужал, заматерел. Твердый подбородок, взгляд тяжелый. В лёгной форме, фуражка, лейтенант. Принес бутылку шампанского под мышкой. Рассказывал про свои подвиги, сколько челюстей сломал. Все те же джеклондонские истории. Поздно вечером в темноте пошел его провожать. Он ступил в тамбур вагона, поезд резко тронулся, он стукнулся головой о стенку и охнул. Выражение лица у него было такое простое, такое детское. Я побежал по платформе, схватил его за руку, говоря: «Володя, Володя!..». И поезд ушел.

### *На севере*

Мрачный городишко в сопках, голые камни, база подводных лодок. Уже шестнадцатый день тут. Погода гадкая, холод, дождь. Черные скалы, черная вода в бухте. Старший лейтенант, командир БЧ-3, торпедный отсек. Ходили в море на три дня, воинские учения, все мои торпеды попали в цель. Командир лодки объявил благодарность. Сегодня забрался в сопки, там ветер, камни, ивняк, кое-где клочками зеленеет ранняя травка. Постоял над обрывом. Над бухтой выются чайки, их тоскливые крики. Живем на плавбазе, в кубрике шесть человек, безделье, весь день забивают «козла», с утра до поздней ночи стук костяшек. Три часа ночи, они все стучат. Я с книгой, нашел в матросской библиотеке дневник Стендаля. У них продолжается, табачный чад, грохот домино, рев, спирт. Ухожу на лодку. Лежать на торпедке, прикрывшись шинелью. Там тихо, как на морском дне.

### *Жена*

Родильный дом на Лермонтовском проспекте, хожу к ней каждый день, ношу передачи. Стою под окном, ее палата на первом этаже, разговариваем через двойное стекло. Я ее не слышу, и она пишет мне в тетрадке и показывает с той стороны окна. Я смотрю на ее крупную голову, бледное лицо, полные руки с темными волосинками.

### *В столовой*

На Обводном канале, теснота, чад. Жую серую вермишель с котлетой. Вошли два старика, один – точильщик ножей, в кожаном фартуке поверх халата, положил на стол три остро отточенных тесака, как римские мечи. Усадил своего товарища, сам в раздаточную, принес тарелку супа и плов, поставил перед ним. Тот стал есть. Грязная сетка с каким-то хламом, коробки, газета. Ветхое пальто, торчат хлопья ваты. Лицо худое, небритое, под скулой яма. Точильщик интеллигентного вида, в очках, стоит, ожидая, когда тот насытится. Привел накормить.

### *Коля.*

Навестил Колю. Чай, бутерброды с паштетом. Опять он мне читал свою прозу. Опять я смотрел на Неву из его окна. Вот уже и вечер. Коля пошел меня провожать. У метро расстались. Поблагодарил меня, что я не забыл его. Я смущенно пробормотал: «Ну что ты, Коля!». Обнял, похлопал по плечу, сказал с запинкой: «Ты мой самый лучший друг». Коля скованный, голову поворачивает вместе со всем телом, действие психотропных лекарств. Его регулярные, два раза в год, попадания в психиатрическую больницу – этот дамоклов меч над ним. Долго ли он продержится тут в архиве дворником?

### *Павел*

Старорусская улица, тихая, в снегу, ивы нависли заиндевевшими ветвями над оградой. Замерзшая бахрама качается на ветру, царапая железо решетки. Мутный день, метель. Подхожу к церквушке, тут теперь общество охраны памятников. У Павла каморка-кегля. Горбится, в халате, курит, из ноздрей торчит щетина, косая улыбочка. Старший сотрудник, поездки по области. Показывает фотографии разрушенных церквей. Пьем чай, черный, почти чифирный, в кружках с отколотыми ручками. Бердяев, Розанов, Трубецкой, Флоренский. Иконостас, катарсис, соборность. Приглашает с ним по Волге летом, по следам Левитана, «Над вечным покоем».

### *Гравер*

На Невском искал подарок. Чашка с блюдцем в магазине «Фарфор». Гравер на блюдце сделал поздравительную надпись; вырезывал своим жужжащим колесиком, а я смотрел, ожидая около его будочки с окошком, когда он закончит работу. Обрато через Аничков мост, свежо, ярко, Фонтанка, катерок. Театральный киоск, повезло, купил два билета в Кировский на «Жизель», горящие, в этот же день.

### *Прощание*

В Пулково, два часа ночи. Зал гудит; спят на скамьях, подложив под щеку мешки и чемоданы. Мойщик тащит свою воющую машину с черным электрокабелем. Сидим в обнимку на трубах отопления. Ну вот, час разлученья, час тяжелый. Исчезла в толпе, там, внизу, в дверях, ведущих на аэродром. Смотрю с тоской и страхом. Что если самолет разобьется? Пассажиры взбираются по трапу. Большая серебряная рыбина медленно поплыла по взлетной полосе, мигает красный фонарь в хвосте, движение ускоряется. Незаметно перекрестил.

### *Тетушка*

Встали затемно, в половине шестого. Только-только начинает светать. Небо еще в звездах. Венера ярко горит. Заря за березами. Шел с тяжелым рюкзаком на спине вслед за тетушкой и несколько раз оглядывался на дом. Взобрались в кузов трактора, на солому с сеном, человек десять, и трактор



покатил среди полей в голубом морозце. Деревни, дворы, засыпанные кленовым листом, петухи, куры, собаки, огороды. В Цапелках мы с тетушкой распрощались. Обнялись, расцеловались. Тетушка всплакнула, в платочке, в ватничке, нос картофелькой, покраснел от холода. Что ж я так мало погостил у нее. Уехала на тракторе дальше с большой корзиной покушать цыплят в Красных Стругах. Подошел мой автобус на Питер. В автобусе я согрелся и стал дремать. Перед моими глазами все стояла тетушка, ее маленькое курносое лицо, сморщенное, замерзшее.

### *Ищи-свищи*

Февраль, простуда, бесцельная сила бродит, бредит. Хрустальная сфера, спящая красавица, язычок свечи. «Стой!» – кричу. Конь-кровь, крылья сердца, холмы, волны, я возвращаюсь, тут – высь, там – глубь; что же ты кружишь, клюв зажженный, клевать мои кровинки, каркать... Ночь, дыхание кита в океане, сам себе сотвори белую башню, маяк; пуля луны, мотылек-кораблик. Бедный рыцарь, где твоя родина? Родина-рана. Куда скачешь в чистом поле? Ищи-свищи. Разве я жизнь? Два бессонных зрачка у меня, радуги чудес или ужасы бездн. Зеркало, ночь, боль под лопаткой, я один... Эта сфера охвачена огнем, полнокровие, святая стихия, вихрь, порыв, страсть, стрела летит точно в цель. Это искус, новое вино, новое небо, новая глина. Возраст – вне возраста... Ночь, бессонница, древние царства, открой кровь! Это приказ. Треснул сук, все тут неправильно, дерзкие петли этого пути, цветы из-под снега, метель, часы, стаканы, рынок, жабы в фартуках, злые глаза, мертвые кости в больших корзинах, приготовленные ко всеобщему Воскресению в День Страшного Суда. Сфера всё расширяется... Гул и шум. Метро, вагон, два ряда сидящих, за их затылками пролетает туннель подземелья, озаренный редкими фонарями.

### *Город*

Ангел-флюгер, холод и мрак грядущих дней. Пьяный желтый портфель, три шатающихся фигуры на Обводном канале удалялись в сумерках нового вечера. Балтийский вокзал, визг трамваев, бронзовые диски фонарей на мостах. Чудовище мое, как блистателен и ночью ты – город! В скалах, в утесах, в морях, с мостами своих катастроф и феерий! Куда бегут окна, тротуары, витрины, музеи, театры, вывески, банки, машины, соборы, Кутузов, Барклай с мрачным, чугунным пальцем? Я знаю: с гранитов Нева низвергается Ниагарой в ночной океан. Город-поток, город-скиталец. Когда я иду по Английской набережной к Николаевскому мосту, справа всегда храм Посейдона потрясает золотым трезубцем в черном небе. О, сыны Атлантиды! А на том берегу исполинской реки – железный Жираф. Хлеба и зрелищ требует он, монстр Эйфеля. Где я, у Невы или у Сены? Город мой, скитаться тебе до рассвета в безбрежной пустыне своих миражей, сновидений и призраков, чудище мое печальное.

## Суздаль

Я в Суздале, гостиница. Вид из окна – широкий луг с мелкой травкой, домики на косогоре. Июль, жара. Суздаль тихий. Два раза купался в Каменке. Бродил по улочкам. Церковки в садах. Огороды, деревья, трава, поля. Кремль в «лесгах», реставрация купола. Купол синий в золотых звездах. Устал. Ох, и жара! Утром прогулка. Иду у большущей стены, красно-беловатой, известка с кирпичей сыплется, Спасо-Ефимьевский монастырь. А внизу, за Каменкой – Покровский с зелеными главками. Был в Спасо-Ефимьевском, ослепил, такой белый! Древние русские книги. Евангелие царевны Софьи, огромная метровая книга в серебряном окладе. Буковки, заставки, орнаменты. Небо синее-синее, до боли в глазах. Стрижи носятся с визгом-звоном. Везде художники с мольбертами, рисуют храмы. Пошел по берегу Каменки, там еще церкви. Вышел к Кремлю, Успенский собор, фрески, 16 век. Золотые ворота. Иконостас, школа Ушакова. Темные лики в нимбах. Как раз началась гроза, грохот грома, ливень, град. Вышел. После дождя трава – как пахнет! Искупался. Сажу на скамейке под тополями у кремлевского вала, облака, стрижи.

На другой день – ветер. Мимо Александровского монастыря. Позавтракал в столовой. Стою на валу у Торговых рядов. Какой вид! Колокольня Никольской церкви, беленькая. На Старой улице – колокольня Антиповской церкви, разноцветная, дудкой. Ильинская церковь на Ивановой горе. Шел обратно через Каменку по деревянному мостику, навстречу девочка лет тринадцати на велосипеде. Как-то я на нее так посмотрел, и она в ответ взглянула, словно мой взгляд произвел магнетическое действие, задела меня сумкой с продуктами, соскочила с велосипеда, уронила сумку в воду, выхватила: «Ох, хлеб промок!». И даже заплакала от горя. Пообедал в столовой. Пошел искать Кидекшу, по пути посмотрел Васильевский монастырь. Кидекшу не нашел, а вышел к какой-то заброшенной пустой церкви прошлого века, внутри кирпич, коровьи лепехи. Началась гроза, дождь. А вид с этого высокого берега Каменки дивный – весь Суздаль на ладони, и Кремль, и соборы, и все купола, и домики с красными, плоскими крышами, в зелени садов. А тут луга, поле, стадо коров, пастух. Прячусь от грозы в арке пустого храма на холме, ветер продувает насквозь. После грозы добрался до Покровского монастыря, там, внутри, на монастырском дворе избы-гостиницы. А как хорош в закате Александровский монастырь, отсюда, снизу, за Каменкой! А церковь вверху, на горе, белая, купола-луковки черные с золотыми крестами, горящие в закате. Устал, еле доплелся до гостиницы.

Весь день тучи, темные, сизые, мерзну в своей куртешке. Выпив крепкого чая, иду по деревянному мостику через Каменку, по лугу, к Кремлю. Как раз в колокол звонили двенадцать ударов. Собор Рождества Богородицы. На дворе коляска и белый конь красавец, дуга с серебряными колокольчиками. Сбруя, узорная уздечка. Кучер, в шапочке, в черном жилете, брюки в обтяжку, загорелое лицо, кудри с сединой. Длинноногая блондинка туристка в розовом его завлекала, улыбаясь, что-то говорила. Кучер ее посадил, конь потрусил,

коляска покатила. Смешные львы на витых каменных колонках. Изразцы на Святых воротах Ризоположенского монастыря, цветочки-колокольчики, птица Сирий. Никольская колокольня, как девушка. По улице Ленина – до Знаменской церкви. Там когда-то был женский Введенский монастырь, сожгли татары. Дошел, наконец, до Кидекши, километра четыре. В Кидекше деревянные домики – чудо резьбы. Весь домик – кружево! На берегу реки Нерль – собор Бориса и Глеба. Старый храм, колокольня накренилась. Здесь жил Юрий Долгорукий. Вид с высокого берега – луга, поля в дымке, изумруд-бархат. Даль-простор, ширь русская. Храмы, как грибы, торчат своими шляпками-куполами.

Семь утра, петухи поют. Автобус во Владимир. Дмитриевский монастырь, нарядный, светлый, загляденье. А вид с холма! О, просторы! Далеко, далеко видно – поля, леса. А Успенский собор!.. Вот и солнце выглянуло. Небо голубое, облака плывут, тепло. Хорош этот известняк, белый, благородный камень. Какая резьба! Кружево, а не резьба! В Успенском, наконец, увидел фрески Рублева. Освещение плохое, в соборе темно, фрески блеклые. В Боголюбове на автобусе. Дальше пешком полчаса, кругом трава, цветы полевые пахнут, качаются. Солнышко светит, я иду, в курточке, в летних брюках. А вот и ты, моя радость! Храм Покрова на Нерли. Заводь тихая, кувшинки. Храм в воздухе, легком, закатном, сквозь облачка, так весь и светится, летит. Изящный, не широк в плечах, как Дмитриевский собор. Этот – березка в поле. Тихо-тихо, ни звука. Отражение в воде колеблется на вечерней ряби.

Пух с тополей летит, летит. Торговый ряд, толпы туристов. Цветы, бабочки, стрижи. У Кремля на лужайке гуляет свадьба, с гармонью, вскриками, свистами. Пахнут масляные краски на холстах у художников. Опять брожу по Суздалью, на другой край. Как тут тихо! Петухи поют. Искушался. Сажу на валу перед Ильинским лугом. После обеда – музей древнерусской живописи. Беленая палата с невысоким потолком, маленькие окна в решетках, сквозь них зеленоватый свет от деревьев в саду. Иконы. Богоматерь Смоленская. Вернулся в гостиницу. В номере новый сосед, водитель туристского автобуса. Тоже на одну ночь, как и предыдущий. Этот совсем простой, из Иванова. Предложил выпить, я отказался. А три дня назад ко мне парочку подсадили, молодожены, так я из-за них всю ночь не спал. К Никольской башне. Посадский домик 17 века, медная и оловянная посуда, кованые сундуки, лубочные картинки, иконы. Ветер шумит. Опять дождь. В Спасо-Ефимьевском монастыре позванивают маленькие колокола, это ветер их качает.

К вечеру ветер усилился. Солнце выглянуло из-за туч над горизонтом, стена Покровского монастыря закатно-розово загорелась. Сегодня ко мне в номер никого не подсадили, я один. Читаю «Житие Авраама Смоленского». Завтра уезжать. Прощай, Суздаль.

## ПОСЛЕДНИЙ ВСПЛЕСК

Вот уже и октябрь, еду, метро Парк Победы, у меня литературная встреча и выступление. Московский проспект шумит, городской гул, ветер, пыль, ларьки. Кто-то хочет мне сообщить о себе, передать какую-то весть, возможно, это очень важная весть, но голос заглушается шумом, и мне не различить ни слова. Зал небольшой, собралось человек сорок, возраст не слишком-то молодой, преобладают женщины. Выхожу. Прижимаю к груди свою книгу. Говорю. Потом мне задают вопросы. Я отвечаю. В первом ряду прямо передо мной сидит женщина с фотоаппаратом, она меня фотографирует, тоже спрашивает. Сначала я не могу понять, о чем она меня спрашивает. Наконец, доходит. Нельзя ли ей с нами. Мы идем отмечать выход в свет моей книги. Да почему бы ей и не пойти с нами, с какой стати я должен быть против. Мы все сидим за столом, человек шесть, выпиваем, разговариваем, и о моей книге, конечно, само собой – о моей книге. Какая это замечательная книга, уникальная книга, можно сказать, событие в литературном мире, настоящая сенсация. Эта книга сделала меня знаменитым. Женщина сидит напротив, с другой стороны стола, смотрит на меня. Все мы уже под хмельком. Пора расходиться. Я расплачиваюсь. Эта женщина со мной рядом. Решительно берет под руку и вводит, в туманную даль, в неизвестность. Мы одни, все куда-то пропали. Уже вечер, темно, фонари, люди, дома, машины. Оказывается нам по пути. Ей в ту же сторону, до той же станции метро. И мы едем вместе, стоим рядышком, стесненные толпой пассажиров, и воодушевленно разговариваем. Литература, поэзия, Цветаева. Минута, минущая, минешь. Цветаеву наизусть знает, сотни стихов, и готова читать и читать. Теперь мы уже стоим на автобусной остановке. Совсем темно, час поздний. Номер моего телефона начинается с той же цифры, что и у нее. Ей дальше. А мне тут десять шагов.

Всю неделю вздрагиваю от звонков. Разве можно быть таким нервным. Боюсь вторжений в мой внутренний мир. Истерзанный страхами, отключаю телефон. Потом опять включаю. И тут же звонок: «Наконец-то я к вам пробилась! Какой вы, оказывается, недоступный человек!». Ничего нам не мешает встретиться. Ну вот, например, в пять, на выходе из метро. На улице ветер, солнечно. И опять я, конечно, все на свете перепугал, пришел не в то время и ждал не у того выхода. Моя неискоренимая рассеянность. Каким-то чудом, мы все-таки находим друг друга. Она-то не удивляется, у нее накоплен уже довольно-таки богатый опыт невстреч. Рассеянность – черта всех выдающихся творческих личностей. Это ж общеизвестно. Нет, это не просто так, не случайно, это знак судьбы, что мы нашлись тут, в этой толчее и круговерти. Тут есть терем-теремок, поднимемся по этим ступеням, откроем стеклянную дверь, отыщем какой-нибудь укромный уголок, хотя бы и здесь, под лестницей, у лифта. И она начинает читать мне свои стихи. Ведь именно для этого мы и встретились. Читает одухотворенно, эмоционально. О любви, всё о любви. Стихи завораживают. Заговоры и заклинания. Магия. Опасные, опасные это стихи. На улице все тот же ураганный ветер, пыль в лицо, кепку с головы едва не сдуло. Опять мы на той автобусной остановке. Ее маршрутка

собирается отъезжать. Она задерживается у раскрытой дверцы. А я в нерешительности, я в смятении. Ехать с ней, не ехать?.. А дверца уже захлопнулась, и маршрутка уносится по проспекту.

И вот я опять слышу ее голос. «Решила напомнить о себе. Куда вы пропали?». Разговор о мистических встречах, о роковых совпадениях дат и чисел. Где я встречал Новый год? У себя дома? Вдвоем с женой? А она – в веселой компании. Мечтает погулять со мной. Ведь я мужчина, а она женщина. Странно, что надо напоминать о такой простой истине. В пять на остановке. Трясет весь день. Давно я уже не был так взволнован. Никак не унять эту дрожь. Не пишется, не читается. И ночью эта жестокая тряска не утихает, не дает спать. Выхожу на лестничную площадку. Сумрачно. Ветер в заснеженном переулке.

Гуляем. О нет, не сказал бы, что это сон в долине Дагестана. Всё в снегу, сосны, ели, суровый север. Замерзли, как кочерыжки. В кабине только и можно согреться. Мимо летит тусклый зимний день. И Цветаева, Орфей. Так плыли голова и лира вниз, в отступающую даль. И лира уверяла: мира! А губы повторяли: жаль! Крово-серебряный, серебро-красный след двойной лия... В ее квартире пусто и сумрачно. Все куда-то разошлись. Вступить в Белое братство, принять обет безбрачия, раздать имущество, жить в святой нищете, ожидая второе пришествие Христа. Петь духовные песни. Ангельски прекрасные песни. Ну а как же: такие песни только ангелы в раю поют. Я зачарован ими, я готов их слушать и слушать, до конца жизни. Слушать ее стихи, слушать, как она поет. Я пропал, совсем пропал... На стенах картины неизвестного художника, загадочные фантазии, отблески миров иных. Лучше бы что попроще, на твердой почве, на земле. Домик в деревне, леса, поля, луга. Вот бы где жить да жить, с ней вдвоем, неразлучно и счастливо, и забыть обо все на свете. Обо всем на свете... Нечаянный звонок разрушает мои грезы. Ее друг сердечный. Кто ж еще. Интересуется: где она и с кем. А у нее гость. Она свободная женщина и может приводить к себе кого хочет, но... Так мы наделаем глупостей. Зеркало в прихожей, темный омут. На шоссе ходит автобус...

Что ты дрожишь, осиновый лист? Лестничная площадка, почтовый ящик с отломанной крышкой. Кто-то нам пишет, кого мы знать не знаем, с пугающей откровенностью, вывернув наизнанку этот февральский вечер и его потемки. Фары в переулке. Остро-желтые глаза рыси. Страх вторжения. Не спится. Оказывается и ей – тоже. «Захотелось с вами поболтать». Читает мою книгу с возрастающим восхищением, по пять страничек в день, чтобы как можно дольше продлить это удовольствие. Горюет, что когда-нибудь все-таки книга моя кончится. С каждой прочитанной страницей у нее растет ко мне какая-то странная, непонятная ей самой нежность. Наверное, я не очень счастлив в супружеской жизни. Наверное, наверное.

Темно, школьный двор, за углом пустующая спортивная площадка. Вечер или раннее утро? Рука без перчатки, пальцы мерзнут. «Услышу ли я сегодня ваш голос?». Да вот он, мой голос, глухой и невнятный, велико сокровище. Теперь она уже ни о чем и думать не может, как только о моей книге. И спит с ней, положив под подушку. Мучается оттого, что я мучаюсь, бессонный, с

содранной кожей, с голыми нервами, в эту стужу. И некому меня, бедного и несчастного, обогреть. Есть одно средство! Как же! Зов целительницы и ведуньи из Сибири. И опять иду, иду, как замороженный, на этот зов, переулками, пустырем, через проспект, к метро. Опять берет меня под руку, и мы блуждаем в каких-то лабиринтах, дворах, туннелях, галереях, музейных залах; спускаемся и поднимаемся по лестницам. И она декламирует Цветаеву. «Летописи и лобзания...».

Она вольная птица, летает по числам календаря круглый год; и везде ее ждут, и все ей рады. Она нарасхват. «Ну вот, наконец-то я одна и могу говорить». Через что лежит путь к моему сердцу? Через какие чаши и дебри, ущелья и пропасти? Давно уже ее волнует этот вопрос. И опять вечер. И опять она ведет меня в свои владения, в этот призрачный, затерянный в снегах городок, где она много-много лет назад свила себе гнездо. Пятиэтажные, серой шеренгой, неотличимые друг от друга дома, в каждом – разведенные жены. Их бывшие мужья – майоры, полковники, оставили им свои квартиры, а сами уехали служить куда-то на край света. Город брошенных жен.

И почему-то легче дышится, и небо другое, в голубых проблесках. Так ведь март! В ее военном городке весной пахнет. Вениамин Блаженный, чей томик у нее на полке всю зиму помогал ей бороться с незаконным мраком, зовет в Минск. Дочитает мою книгу и тью-тью. Только ее и видели. Я пришла к тебе черной полностью за последней помощью. А ты не боишься? Не надо ее окликать! Все мужчины бояться любви. Все, все вы такие. В темноте между домов отошел автобус. Успеем! Крепкие, быстрые, обутые в сапоги ноги. За ней не угнаться. Коня на бегу остановит. Счастливчик! Везучий! Машет рукой с тротуара, и еще раз, когда автобус завернул на шоссе мимо темных мартовских деревьев.

И опять этот зов, он преследует и во сне, скудном, прерывистом, под утро. Полнозвучный, уверенный в своей притягательности голос. Вот уже полгода упорно преследует меня этот голос и куда-то манит. Тревожно и страшно. Душный воздух квартир полон недомолвок и подозрений. Новая шапка и новый шарф. Куда ты? На свидание? С ней? Выхожу на проспект. Ветер с Фавора. Преображающий, победоносный, покоритель сердец. Все женщины мира, нежные и чуткие, ищут встречи с тобой. Это у тебя душа молодая, вот ты и рвешься с цепи, седой пес. Оказывается и у нее такое: тревога и смятение. Сегодня проснулась посреди ночи, словно кто в бок толкнул. Подумала: чего же я жду? Жду, когда кончится это наваждение? Наваждение твоей книги. Зачем-то попалась мне в тот день на моем пути. Ведь и залетела-то я туда совершенно случайно. И взяла меня за душу. Увидела, как ты прижимал свою книгу к груди. Так мать прижимает новорожденного младенца. Это судьба. От судьбы не уйдешь. Кондитерская на углу. Швабра уборщицы гонит вон. Они закрываются. Ветер, холодный мартовский ветер, продувает, легко одеты. Вот два дурака! Обнимаются, целуются. При всех, на останковке. Так я прославлю ее на весь ее городок.

Наву ли это все? Книга написана, а я не хочу с ней расстаться. Наверное, оттого, что это, может быть, последняя моя книга. Последний всплеск. И там, куда меня влечет, как магнитом, в городе брошенных жен (соединенный зов

их нерастраченного жара, их ворожбы), прочитав до конца, до последней точки, не могут никак разлучиться с моей книгой, и начинают сначала, по новому кругу. Там у них уже создан мой культ, каждую субботу собираются в библиотеке и читают мою книгу вслух. Прямо-таки священнодействие. Жрицы в храме Литературы. И она там – верховная жрица. Выйдя из автобуса, вижу: ждет на скамейке за деревьями. Улыбается; поспешно встав, идет навстречу. На стене в ее келье сумрачный зимний пейзаж. Бегония на подоконнике, темно-алые листья тянутся к солнцу. За окном тук-тук, тук-тук. Синичка клюет повешенный кусок сала. Из рамки смотрит незнакомец, у него такой серьезный, самоуглубленный взгляд. Это ее кумир. Каждый вечер разговаривает с ним перед тем, как лечь спать. О самом своем сокровенном, душевном. Этот незнакомец – тот я, которого она себе вообразила, которого придумала, создала в своих мечтах.

Где-то я уже слышал эти стихи. Их читают тени гаснущего дня на талом снегу. В них притаился змей-искуситель. Смотри! Какой закат! Мировой пожар! Он сожжет все небо, всю землю, и нас с тобой. И нас с тобой...

И этот ветреный, солнечный апрельский день. Облака несутся по чисто вымытому голубому небу. Грачи строят гнезда на верхушках лиственниц в старом парке, хлопанье крыльев, крики. Бурое, прошлогоднее. И вот они, цветики твои, первые, нежные, на ветру. Кто успокоит их дрожь, их трепет? Бузина цельный сад залила! Бузина зелена, зелена! Макеты орудий, красят ко Дню Победы. Мы тут как на ладони. Кто-то, пролетая, видит нас из космоса. Послушай, но ведь это кому-то важно. Что, что важно? О чем ты? Крутой спуск, шею сломать. Та гора была – миры! Вагон, безумная парочка, совсем ошалели, море им по колено.

Озираюсь. Свободное место за дальним столиком. Эти нервные пальцы в серебряных перстнях. Кому-то здесь назначили встречу. Припоминаю, листок мяты, гулянье в Летнем саду, Нева, мраморные тела наяд. Три дочери, Маша, Катя и Лиза. Эта младшая, Лиза, та, что страдает аллергией. Каждую весну у нее такое. И опять странствовать в прорытых под землей норах и переходах. Слепые, никого не видим, кроме друг друга, перепутали верх с низом, лезем на эскалатор против течения. Слышишь? Так это ж гром! Вот – опять. Гром и есть. Он самый. Потемнело, как ночью. Тьма египетская. Неужели гроза собралась грянуть? Первая гроза. А ведь только конец апреля. За стеклянной стеной рушится лавина. Рушится и рушится. Такая грозища! Как в первый день творения. Счастье мое! Это весна! Это новая жизнь! И поет колыбельную, и закликает, как своего сына, бессонно тоскующего в норвежских фьордах. Ляг и спокойно спи. Ну что тут такого! Это ведь у всех одинаково, у всех одно и то же. Ничего такого особенного. Проспект, вечер, разлучат колеса. Этого себя, такого, какой я сейчас, в эту минуту, я буду блюсти до судного дня. Клянусь, клянусь.

Розы у метро. Федра, царица. Утоли мою душу.

Весь май ураганный ветер. На заливе шторм. Стихия бьет о берег свой. Болит, жжет в груди. Я любовь узнаю по боли. На платформе, красная куртка, сумка через плечо. Вот, еду спасать русскую литературу. Великого писателя. Написал же: погибаю.

Дождь, Витебский, блаженное лицо. Сад, солнце, цветущие яблони. Приручишь, а потом бросишь, и я буду плакать. Площадка перед каким-то спортивным строением, стол, два сидалища. Спирт на кедровых орешках. Причудливое корневище. Украсить ее келью еще одной диковинкой. Без мужских рук не дотащить. Всю ночь в незавешенное окно глядит эта звезда, яркая-яркая. Мучительная. Разгорается. Венера. Трепещет на ветру березка, майская березка. И дрожит, и дрожит, и трепещет всеми своими молодыми листочками. Томительное ожидание рассвета. На остановке мужчина и женщина. Глаза обведены тенью. Прощаются. И зачем так трагически принимать к сердцу? Можно подумать, что расставание для них равносильно смерти.

Счастье это или беда? Боюсь – беда. Или счастья без беды не бывает? Эх ты, калиф на час. Балтийский вокзал. Скамейка над обрывом, кукушка с того берега: ку-ку ку-ку. Вот заладила. Так она докукуется. Разбудит, спящее в делях, полногласие бурь. Это у тебя обостренно-болезненное восприятие. Что ж ты хочешь – кризисный возраст. Чем пахнет от ангела? Ничем не пахнет. На то он и ангел. Моросит. Маршрутка. Прощально машет рукой. Все еще машет.

Опять этот ураганный ветер. Все тот же шторм. На валуне, тесно прижимаясь друг к дружке. Чахлый кустик, сотрясаемый бурей, – плохая защита. Высотные коробки новостроечного многоэтажья. Кусок пленки летит, извиваясь, вдоль этажей, как дракон. Гордо реет буревестник над седой равниной моря. Громко декламирует, преодолевая ярость ветра. Со школы помнит. Та же куртка с капюшоном, натянутым на голову, завязанным тесемками под подбородком. Рыбак на берегу возится с резиновой лодкой. С протоки – громогласный хор лягушек. Брачный чертог, Гименей. Их тут тысячи! Миллионы!

Тополя шумят по-летнему. Продавщица за прилавком: два голубка. К военному аэродрому. Солдатик с длинной, как у гуся, шей. Кусочек свинца, амулет. Впитать каждый атом этого дня, напитаться, как верблюд, на всю бескрайнюю пустыню разлуки. Постараемся не скучать. Начнем писать новую книгу. О, это будет еще одна гениальная книга! Пишется что-то странное: образы ускользают. Как отражения в затуманенном зеркале. Какие-то непонятные, ускользающие образы. Боюсь, что ты от меня ускользнешь, как ускользают твои образы.

И вот этот день. Яркий, солнечный июньский день. Кто-то бежит по нашему переулку, как преступник, застигнутый внезапным окликом. Мужья, посевев в долголетнем семейном плавании, бросают своих старых жен и уходят к другим, помоложе. Бес сокрушает им ребро. А безутешные жены выбрасываются с седьмых этажей. Вот еще одна стоит в раскрытом окне. А другую поезд уносит на север. Архангельск, Соловки. Прости, прости. В нарастающем стуке колес горестный стон: «И больше я тебя не увижу?!».

-----



**Т. М. Лестева**  
Два рассказа:  
**Реквием**  
**Соискательница**



**Сведения автора о себе.**

Профессия – физическая химия. Член Всероссийского химического общества им. Менделеева, ст. научный сотрудник, автор двухсот научных публикаций. Но отечественная наука УМЕРЛА! России не нужны учёные, страна превращается в сырьевой придаток Запада, а её народ – в рабов (рабов Запада, божьих рабов и т.п.).

Пришла в литературу в 2005 году. Публикуется в петербургской и центральной прессе: в журналах и газетах «Аврора», «Невский альманах», «Литературная учёба», «Изыщная словесность», «Литературная Россия», «Литературная газета», «Писатель России», «Завтра» и др.

Представлена на Интернет-площадках и форумах: «Топос», «Хронос», в «Живом журнале», «Проза и Стихи ру» и др..

Администратор форума «Не ЛГ и...».

Автор книг: «Аутодафе», «Путешествие по семейному архиву», «Детские странички», «О, сердце... От начала до конца», и др.

Главный редактор журнала «На русских просторах», член редколлегии «Журнал Аврора».

Литературные иллюзии: написать роман, издать очередную (девятую) книгу.

## РЕКВИЕМ

Запой продолжался четвёртый день.

В четверг вечером он позвонил ей:

– Приду попозже. Сегодня внеочередная секция. Потом поздравим юбиляра, в начале девятого буду.

Часов в десять, волнуясь, она набрала его мобильник. Шли звонки, но никто не отвечал. Наконец, сквозь гул пьяных голосов услышала с трудом произнесённое нетвёрдое:

– У те -ле- фона.

– Так Вас не ждать? Вы не придёте?

– Куууда?

– Это Александра. Мы договаривались о встрече сегодня.

– Какой встрече? С кем? Никкуда не пойду!

Раздались короткие гудки. Она вздохнула. «Опять! – с горечью подумала Александра. – Нет. Он законченный алкоголик. Но что я могу сделать?»

С этим писателем она познакомилась на дне рождения подруги, переехавшей жить в Москву, – мужа перевели на работу в министерство. Было около девяти часов вечера, незаметно за разговорами пролетело около шести часов, допивали чай с торгом и пирожными, несколько человек из пригородов Москвы уже ушли, когда раздался звонок. Вошёл мужчина в сером твидовом пиджаке с расстёгнутым воротом рубашки, без галстука. Он был уже слегка навеселе. В прихожей он поцеловал её в щеку, протянув имениннице букет лиловых ирисов с жёлтыми хризантемами.

– Спасибо, Андрей, мои любимые ирисы... Судя по твоему виду, – она не удержалась всё же от ехидства, – подписание договора состоялось.

– Состоялось, состоялось. Ну, отметили немножко. Ты уж прости за опоздание, никак не мог вырваться пораньше.

Подруга представила его гостям, сказав, что это Андрей – друг детства её мужа, ленинградский писатель. Был он чуть выше среднего роста, широкоплечий, плотный, но ещё весьма спортивный по виду, с аккуратной короткой стрижкой тёмно-русых волос и ослепительно синими глазами, цвет которых не затеняли даже стёкла очков в узкой золотистой оправе.

Застолье началось по новой, она помогла подруге выставить на стол закуски, салаты, уже убранные в холодильник. Гости разъехались, остались они втроём – муж подруги был в загранкомандировке. Разговоры продолжались часов до трёх ночи. На кухне, когда они убирали посуду, подруга сказала, что он разведён, живёт в Петербурге, очень талантлив, но... Вот это «но» волнует всех, но никто ничего поделать не может, лечиться он не хочет, а одинокая жизнь творческой природы весьма и весьма способствует...

Александра же ещё раньше поделилась с ней, что настали трудные времена. Институт, в редакционном отделе которого она работала, на грани

издыхания, работы нет, зарплата – разве это зарплата?! Она подрабатывает машинисткой – набирает тексты на компьютере, электронную версию отдаёт авторам. Вот на этом они и сошлись. Андрей, как оказалось, компьютером не владел, печатал тексты на машинке с большим количеством опечаток, потом редактировал их, и всё повторялось. Они обменялись координатами, и после взаимодействия в Петербург началась работа после работы.

Сначала он приносил напечатанные тексты, потом стал их диктовать:

– Вы, Сашенька, для меня как Анна Григорьевна для Достоевского.

– Но обручальное кольцо, надеюсь, мне не придётся закладывать?

Она улыбнулась, но Андрей сразу отреагировал, почувствовав намёк.

– Сашенька, ну, потерпите ещё немного. Издательство задерживает гонорар.

– Не волнуйтесь, я шучу. Конечно, подожду. Нам зарплату пока не задерживают. На такой мизер деньги находятся.

Когда же он не появился четвёртый день подряд, она подумала, что дела в издательстве поправились, и гонорар, наверное, Андрей получил. Иначе с чего бы?

Было очень грустно, она уже привыкла к этим вечерним визитам, работе, втянулась в набор текстов и с ходу по многолетней привычке их уже корректировала, обращая его внимание на повторы или неудачные обороты, но особенно её привлекали разговоры за ужином. После технических текстов, которые она редактировала в институте, всё было ново и любопытно, тем более, что он оказался очень интересным собеседником и часто рассказывал ей о литературных новинках или книгах, ускользнувших от её внимания. А уж о перипетиях своей жизни, встречах... Здесь ему не было равных. Юмор искрился в каждой истории, рассказывал он очень артистично...

Тоска заполняла всё её существо, она сидела у телефона и тупо ждала звонка. Хотелось позвонить, но решила выдержать характер – пусть звонит сам. Прошёл ещё один скучный и бесцветный день на работе, бесплодный вечер. Звонка не было.

В одиннадцатом часу, заглянув в секретер, увидела билеты в театр. Они с Андреем собирались посмотреть, именно посмотреть, а не только послушать «Реквием» Верди в Малом оперном. Она улыбнулась, вспомнив этот разговор. Да! Тогда этот представитель «интеллигенции высокого полёта», как о нём отозвалась московская подруга, просто потряс её. За ужином говорили о музыке; Андрей рассказывал о своих любимых композиторах. Ей imponировало, что во многом их музыкальные пристрастия были схожими – неповторимый Вагнер, ранний Стравинский, драматический Бетховен с его «Фиделио». Заговорили о Верди. И Александра с восторгом рассказала о театральной постановке «Реквиема» в Малом оперном театре, которую она видела прошлым летом.

– Это потрясающе! Открывается занавес, во всю высоту сцены медленно поднимается крест. На нём распятый Христос, хористы в балахонах со свечами... Впрочем, не буду рассказывать. Иначе вам будет неинтересно, если захотите сходить. Я с удовольствием послушаю ещё раз. Хотите?

– Давайте сходим. А что это за Малый оперный? Где он?

От изумления Александра чуть не поперхнулась.

– Вы шутите? Так это же второй Императорский оперный театр, на площади Искусств, рядом с Русским музеем.

– Первый раз слышу, – безапелляционно заявил он. – Ни разу не был. – Говорил он искренне, серьёзно.

– Не может быть! Знаете, это был любимый театр Лемешева, он, говорят, недолго любил Мариинку, а любил петь в Малом. Сейчас это Михайловский.

– Михайловский? Честное слово, никогда не слышал! Давайте сходим. Знаете, Сашенька, сам Муссолини называл Верди величайшим итальянским композитором. Это важное свидетельство. Вы решите с билетами, а расходы я беру на себя.

– Хорошо, загляну в театральную кассу. Правда, они очень редко его ставят. Не знаю, почему. Но постановка великолепная – первое место в Милане, на юбилее Верди.

Александра посмотрела на билеты, до спектакля оставалось три дня. «Надо будет позвонить ему завтра, напомнить», – подумала она. Но минут через двадцать, уже в двенадцатом часу, раздался звонок. Звонил Андрей.

– Не разбудил? Сашенька, простите. Я тут немножко приболел. С дверью не разошёлся. А она металлическая. На затылке рана, вся комната залита кровью... Голова кружилась...

– Боже! – вскрикнула Александра. – Срочно скорую – и в травму! Вдруг сотрясение мозга!

– Не волнуйтесь, всё нормально! Это было четыре дня назад. Заживёт!

– Нет, Андрей, так нельзя к себе относиться, надо сходить к невропатологу, это не шутки...

– Бросьте, Сашенька, перестаньте. Пустяки всё это, не впервой. Завтра, как штык из носа у вас. Продолжим. Время – деньги. Поработаем.

– А я как раз хотела Вам позвонить, напомнить про «Реквием».

– Как же, как же. Обязательно сходим. Да и театр посмотрю. Я, честное слово, тридцать лет живу здесь, но ни разу там не был...

На следующий день он пришёл вечером, похудевший, осунувшийся, волосы не скрывали довольно длинную – сантиметра четыре – рану на затылке. Они немного поработали, но без обычного вдохновения. Андрей явно был не в форме. Уходя, он сказал, что завтра занят, и они встретятся только в театре. Долго расспрашивал, где же находится Малый оперный. Снова покачал головой:

– Нет, не представляю. Это не мюзикомедия? Там я бывал раньше.

– Да нет же, это с другой стороны площади, между Европейской гостиницей и Русским музеем.

– Ну, ладно, найду.

Она поднялась на третий ярус – специально взяла билеты повыше, чтобы видеть всё действие. Андрей, уже сидевший на своём месте в центре первого ряда, радостно улыбнулся ей и весело рассказал, как искал театр: два раза обошёл площадь – не нашёл, увидел открытые ворота Русского Музея, пошёл

туда. Охранница не пустила его дальше, а показала ему вход в театр. Он был слегка возбуждён и пьян. «Не просыхает», – с грустью подумала Александра. В эту минуту стройная женщина лет двадцати двух, в узких джинсах и короткой майке, обнажавшей пупок с блестящей в нём бусинкой, направилась к своему месту в первых рядах, протискиваясь в узком пространстве между сидящими зрителями и барьером. Когда она добралась до Андрея, тот вытянул указательный палец, покрутил его, как бы рисуя спираль и пытаясь потрогать привлекающую его внимание жемчужную бусинку.

– Вы с ума сошли, – не выдержала Александра. – Так ведь можно и пощёчину заработать.

– Я? Я ничего, просто показал, где оркестр, – попытался он скрасить свой поступок.

Раздался третий звонок, подняли занавес. На сцену выходили оркестранты, на подиум поднимался хор.

– Что это? – удивилась Александра, заглянув в программку. – Концертное исполнение! Не повезло нам. Даже не предполагала...

– Не расстраивайтесь. С удовольствием послушаю. Я так давно не был в филармонии. А реквием знаю наизусть ещё с филфака.

Зазвучала музыка, хор, солисты. Александра погрузилась в этот вдохновенный мир грёз и грусти. «Реквием», – эхом звучало в её душе. «Реквием!».

– Сейчас будет самая красивая часть! – чуть ли не во весь голос сказал ей Андрей.

– Тсс! – она прижала палец к его губам, прошептав. – Вы же мешаете...

Он замолчал, но когда она взглянула на Андрея, поняла, что его «развозит»: «Алкоголь что ли начал действовать?». Она отвернулась от него – было неудобно перед зрителями. Воспитанная на филармоническом молчании в зале, она всегда болезненно относилась к разговорам или шёпоту во время исполнения. Это её раздражало. А тут – спутник... Андрей снова попытался что-то сказать. Она жестом показала ему, что нельзя... Настроение падало всё ниже: «Чёрт меня дёрнул, позвать его...», – уже не оборачиваясь в его сторону, подумала Александра. Зазвучало:

Rex tremendae majestatis,  
Qui salvandos salvas gratis,  
Salva me, fons pietatis  
Recordare, Jesu pie,  
Quod sum causa tuae viae,  
Ne me perdas illa die.

– Я больше не могу, – прошептал Андрей, поднялся и стал пробираться к выходу.

Александра покраснела, не отрываясь, смотрела только на сцену, ей было стыдно за Андрея, но и безумно жаль его. Одновременно кипели раздражение и злость. Волнение за него не давало ей покоя: «Где он? В какой рюмочной? Дойдёт ли до дома?». Она вспомнила его слова, как-то сказанные им: «Я не

могу часто ходить в филармонию. Вы что? Послушали музыку, можете поговорить о ней, а завтра снова в оперу или на концерт... А у меня она так и звучит в душе, будто кто-то играет её постоянно... Мне нужно потом неделю приходить в себя, чтобы звуки улетучились, исчезли...». Тогда она подумала, что он красуется, хочет произвести впечатление. А сегодня... «Да просто выпил лишнего, без закуски, как обычно», – подумала она, но волнение не проходило. Да ещё хор сольно и басовито повторял: «Реквием! Реквием!»

Неожиданно ей стало легче, она почувствовала чей-то взгляд и, оторвавшись от сцены, повернулась. У самого выхода около третьего ряда на приставном стуле, на котором обычно сидят билетёрши или их безбилетные знакомые, сидел Андрей. «Слава богу, не ушёл!» – и она сразу успокоилась. Траурная месса близилась к концу. Прозвучало «Requiem aeternam». «Вечный покой» нарушил взрыв аплодисментов. Александра направилась к выходу, где Андрей подал ей руку.

– Вам стало плохо?

– Нет. Я просто не мог там. Было непреодолимое желание броситься вниз.

– Боже, Андрей! – она похолодела, голос дрогнул. – Что с вами?

– Я почувствовал страшную какую-то силу изнутри. Самоубийцы бывают такие, как у Достоевского, по расчёту – Кириллов. А, бывает, растёт изнутри и говорит: «Прыгни, прыгни!». Внизу – страшный вид зала, тёмное пространство, как пропасть. А остатки сознания жалко шепчут: « Уйди отсюда, уйди, не искушай господа бога своего, будет что-то другое, что-то страшное... Оно перевернёт с головы на ноги всю жизнь, всю смерть. Готов ли ты к этому?». И я понял: «Нет, не готов». И отошёл, протискиваясь, соприкасаясь коленками с коленями зрителей. Странная штука эта жизнь. Вроде бы убегают от смерти, а обращают внимание на женские колени... Были и миловидные зрительницы.

Он на минуту замолчал. «Господи! Что это? Литературщина? Или допился до белой горячки?» – Эти вопросы застучали в голове Александры.

– Сел я на свободный стул в заднем ряду. Оттуда ужасный вид зала – чёрного пространства всего этого зала – был уже не виден. Только доносится божественная музыка. Слушаю, и как будто парю над облаками. – Он снова помолчал, потом улыбнулся. – Да, на этот раз ангел-хранитель не опоздал. Во время прилетел.

В последних словах прозвучал обычный для него лёгкий юмор, и Александре показалось, что он нашёл себя, как бы вернулся домой откуда-то издалёка. Она вздохнула с облегчением.

– Как Вы напугали меня Андрей! И часто это с вами бывает?

– Бывает, бывает. Особенно, когда я слушаю музыку.

– Всё, Андрей! Решено. Теперь билеты только в партер! А то представляете: трагическая музыка или ваш любимый «Полёт Валькирий!» И в эту минуту с галёрки летит вниз распятое тело. Овация! Публика в восторге – «Какая постановка!». Артисты в недоумении, что делать? Валькирии уже в зале летают... А тут уже билетёрши, охрана, врач, скорая помощь, носилки... Свет! Мировая премьера!

– А вы, Сашенька, фантазёрка! Хорошо отрежиссировали сценку...

– Да, – развеселилась она, выйдя из стресса, – а вот если бы исполняли «Полёт шмеля», вам надо было бы упасть в оркестровую яму, прямо на дирижёра.

– Ну, хватит, пошутили, – прервал её Андрей, остановив такси.

В машине он погрузился, снова замолчал и за всю дорогу не сказал ни слова. Такси остановилось, он вышел первым, открыл дверцу, подал Александре руку.

– Вы всё шутите, Сашенька. А у меня душа болит... Один... Я не могу сегодня... Можно я останусь у вас?

Александра кивнула головой, подошла к входной двери, поискала ключи. Лифт уже стоял на первом этаже. Они, молча, поднялись на шестой этаж. Александра открыла дверь...

Прошло три года. Александра возвращалась с работы и, чтобы сократить путь, свернула со Звенигородской улицы в сквер. Был тёплый солнечный день, сирень отцветала, но свечи каштанов уже были покрыты распускающимися цветками, откуда-то с другого конца сквера пахло ароматом жасмина. Александра оглянулась. Одиноким куст виднелся вдалеке почти у самого дома, но ветерок разносил его аромат по всему скверу и даже дальше, как будто звал, искал кого-то... Она уже шла по Загородному проспекту, а запах жасмина всё ещё провожал её, иногда перебиваемый дымком, – пряным ароматом дымка шашлыка из летнего кафе на площади перед театром юного зрителя. «Шашлычок сейчас – было бы неплохо», – подумала она, свернув в проход между входом в метро на Пушкинскую и Витебским вокзалом. И вдруг остановилась как вкопанная, интуитивно почувствовав на себе чей-то пронзительный взгляд. Взглянула вперёд и у неё сжалось сердце: «Бог мой! Андрей!». На неё пристально, не отрываясь, смотрел бож, сидящий на углу перед входом в метро. Ярко синие глаза, как у Андрея. Такие больше ей не доводилось встречать. «Не он!» – от сердца отлегло на какое-то мгновение, но в голове зазвучало: «Реквием! Реквием!».

Андрея она не видела уже больше двух лет. После той ночи он почти год жил у неё, то появляясь на пару недель, то пропадая на двое – трое суток. После этих «отгулов», как он однажды назвал эти исчезновения, приходил он бледно-зелёным, с одутловатым лицом, мешками под глазами, жаловался на плохое самочувствие, первый день ничего практически не ел, только пил апельсиновый сок и отсыпался. Однажды она, когда ему было совсем плохо, измерив давление, ужаснулась:

– Да у тебя же просто гипертонический криз, я вызываю неотложку.

– Никаких врачей! Чтобы они ковырялись во мне. Ерунда! Пройдёт, полежу только немного. Не впервой.

Но ей удалось буквально насильно впихнуть в него лекарство.

– Андрей, – сказала она ему на следующий день, – такое давление – это опасно. Прошу тебя... Сходи – закодируйся. Тебя же просто парализует когда-нибудь.

– Ну, не мучай ты меня, не мучай, – в его голосе мольба перемежалась с раздражением. – Ты не представляешь, – у меня душа болит... Я понимаю, что ты права. Во всём права. Но от этого мне ещё хуже.

Когда он приходил в себя, начинался творческий подъём. Возвращаясь с работы, она видела на столе кипу исписанной бумаги с правками и набирала тексты, набирала порой до глубокой ночи.

– Я никогда так много не писал, музончик ты мой, – и он целовал её волосы. – Эта книга... Да, она перевернёт мир. Мы им покажем, как и что нужно писать.

Александра не принимала участия в обсуждении книги, она просто молчала и слушала. Это молчание возбуждало его красноречие и тщеславие.

– Мы им покажем! Кто из них пишет, как я? Только рассовывают старые стишки да рассказы по разным журналам!!

И он начинал диктовать ей текст. Но за подъёмом следовал спад, опять он исчезал на два – три дня, а однажды... Утром в воскресенье её разбудил звонок. Она подошла к домофону.

– Мы внизу, открой...

Рядом с Андреем стоял мужчина помоложе.

– Познакомься, Сашенька. Это Алексей Рахматуллин. Крестник мой... И спонсор! Он только что спонсировал вытрезвитель Невского района, – улыбнулся Андрей.

Алексей поцеловал ей руку, протянул коробку конфет. Мужчины вошли в комнату, и на столе тотчас же появилась бутылка коньяка, шампанское, лимон, нарезка сыра.

– Извините, я на кухню. Андрей, возьми бокалы...

Он вышел вслед за ней.

– Кто это?

– Алексей – мой крестник. Я рекомендовал его в союз. Талант! А вчера... Знаешь, где я ночевал? – он выдержал паузу. – В вытрезвителе!

– В вытрезвителе? Боже!

– Как я попал на Обуховскую оборону, ума не приложу. Заблудился. Правда, журналистское удостоверение с собой было. Утром разбудили, видят – журналист. Культурно так разговаривают, вежливо, говорят – платите! А денег – мелочь какая-то! Обчистили, видно, всё. Что делать? Звоню Алексею. А он в ответ: «Сочту за честь! Мигом буду!» Привёз деньги, заплатил... Ну, мы сразу же к тебе.

– «Сочту за честь!», – не удержалась она, чтобы не съязвить, но он не обратил внимания на её тон.

Завтрак перерос в обед, мужчины ещё пару раз сбежали в магазин... В одиннадцатом часу Алексей собрался уходить.

– Может быть, такси вызвать? Не заблудитесь?

– Не беспокойтесь, Саша, я тут живу неподалёку, дойду. Он, пошатываясь, направился к лифту.

Два года... В вагоне метро было пусто, она села и закрыла глаза. И снова поплыли воспоминания, они роились в её голове, наплывая одно за другим.



Вышла книга. Презентация следовала за презентацией: в Союзе писателей, в Книжной лавке писателей, в Доме книги. Весьма скромные выступления, какие-то незначительные вопросы, на фуршетах традиционные тосты и шушуканье за спиной автора. А критика была ужасающей. Его не поняли, не приняли, пинали все, кому не лень: «Он исписался! Где идеи? Куда зовёт известный в прошлом писатель?». С каждой новой публикацией он мрачнел всё больше. Иногда звонили коллеги: «Не принимай близко к сердцу. Ты просто опередил своё время». Или: «Радуйся! О тебе ещё говорят! Это же пиар!». Но радоваться он не мог. И после каждого звонка мрачнел всё больше и тянулся к спасительной бутылке. За несколько дней в Москве он не позвонил ей ни разу. Подруга сообщила, что заходил, но... Как всегда прозвучало это «но»...

Из Москвы он вернулся в подавленном состоянии и пил больше недели, каждый день... Каждый день! Она возвращалась с работы и выбрасывала пустые бутылки и банки из-под пива в мусоропровод.

– Остановись, Андрей. Я так больше не могу жить. У меня не распивочная, – последние слова она произнесла жёстко, но с надеждой...

– В Библии сказано, – он посмотрел на неё мутным взглядом и произнёс медленно, с трудом выговаривая слова заплетающимся языком. – «Да - да, нет - нет. А всё остальное от лукавого».

– Меня не интересует, что сказано в Библии! Я хочу знать, когда прекратится эта беспробудная пьянка!

Он ничего не ответил, с трудом встал, оделся и, покачиваясь, держась за стенку, открыл дверь. Войдя в лифт, он обернулся и долго смотрел на неё. Наконец, нажал кнопку и уехал. Как оказалось, – навсегда.

Первое время она звонила ему домой, на мобильник, в союз... Телефоны безмолвствовали, в союзе никто о нём ничего не знал. Человек исчез, как сквозь землю провалился...

А сегодня, этот взгляд, пронзительный и просящий взгляд бомжа...

На Чёрной речке она вышла из метро и медленно пошла по набережной домой. Открыла дверь, и вздрогнула от неожиданности: «Реквием! Реквием!» – строго и мрачно несло ей навстречу.

«Ох! – Вздохнула Александра. – Забыла приёмник выключить».

«Dona eis requiem. Amen.» (Дай им покой. Аминь).

*Санкт-Петербург*

## СОИСКАТЕЛЬНИЦА

В пятницу в четыре часа дня у меня зазвонил телефон. Оторвавшись от перечитывания доклада, я сняла трубку. Звонила учёный секретарь совета по докторским диссертациям. Сердце ёкнуло – что-то случилось.

– Калерия Ивановна! Только что сообщили из Новосибирска. Бирюкова сняли с рейса в предынфарктном состоянии, он в больнице, приехать не сможет.

«Так и есть, – подумала я. – Защита срывается!»

– Что же делать, Валентина Степановна? Нужен ещё один оппонент.

– Да я уже подумала, но кто? Пятница, все уже на даче или в дороге. Кому ни позвоню, никто не отвечает. Но нужно найти. Академик прилетит из Берлина в воскресенье. Срочно что-то нужно решать.

– Может быть, Жарикову позвонить? Он работу знает, выступал на предзащите. У вас есть его телефон?

– Телефон-то есть, звонила уже, но у него траурные дни – какая-то годовщина со дня смерти жены, так что неделя отключки гарантирована. Думайте, Калерия Ивановна. Переносить защиту нельзя. Потом академик куда-нибудь уедет, ищите оппонента. Я тоже подумаю.

На всякий случай всё же взяла телефон Петра Петровича Жарикова. Позвонила в Москву сокурснице – Кате Самойловой, но её тоже не было, уехала в командировку в Красноярск. Позвонила Жарикову – никто не ответил. Перебирала в памяти всех докторов, кто знал работу и смог бы выступить с заключением. Бесполезно. Заболела голова, давление что ли прыгнуло? Снова взялась за доклад, но никак не могла сосредоточиться. Что же делать? Кому позвонить? В семь часов Петер Петрович ответил на звонок.

– Пётр Петрович! Я так рада Вас слышать. Вы – моя последняя надежда! Помогите, бога ради.

– Что случилось?

– Бирюков не может прилететь на защиту, он с предынфарктным в больнице.

– Да ну! Ему же ещё пятидесяти нет! Мы почти ровесники.

Говорил он вроде бы нормальным голосом, но чуть медленнее, чем обычно, с паузами между словами.

– Пётр Петрович, вы же работу знаете, автореферат у вас есть, пожалуйста, напишите отзыв.

Академик летит из Берлина, а потом неизвестно, когда всех оппонентов соберёшь.

– Какие разговоры, Калерия Ивановна, завтра утром позвоню, отзыв будет готов.

У меня гора свалилась с плеч. Посмотрела электронную почту, послушала оперу по «Культуре» и сразу уснула. Зазвонил телефон. Вскочила, взглянула на часы. «Неужели Жариков? Так рано!» Нет, не он. Робот оповещал об

изменениях в кабельном телевидении. Не торопясь, приняла душ, позавтракала, ещё раз просмотрела замечания оппонентов. Время тянулось медленно. Пётр Петрович не звонил. Я начала волноваться, опасаясь худших прогнозов Валентины Степановны и не зная, что делать, как поступить. Пошла в кухню, поставила вариться бульон. В два часа, не в силах выдержать неизвестности дольше, набралась решимости и позвонила. К телефону подошёл мужчина.

Услышала шаги, стук в дверь и:

– Петя! К телефону!

Молчание, глухое молчание. Пять минут показались мне целой вечностью и ... короткие гудки в телефонной трубке. «Нет его что ли, вышел?» – подумалось мне. Разнервничалась, всё валилось из рук, никак не могла сосредоточиться. Около пяти часов позвонила ещё раз.

– Сейчас позову, – ответил мне девичий голосок. – Пётр Петрович! Телефон.

Раздались чуть шаркающие шаги.

– А-ллооо! И хто это так раа-но?

– Пётр Петрович! Здравствуйте! Это Лебедева. Вы обещали мне написать отзыв.

– Какая ещё Лебедева? Отзыв? Я обещал? Когда?

У меня что-то оборвалось в душе. «Пьян вдрабадан, ничего не помнит!»

– Пётр Петрович! Это Калерия Ивановна. В понедельник у меня защита, у оппонента – профессора Бирюкова инфаркт, требуется дополнительный отзыв. Вы же знаете работу. Обещали мне вчера написать отзыв. Пожалуйста, помогите.

– А-ааа это вы, Кааа-лерия? Каак же, кааак же, припоминаю. Но чтоооо я могу написать? У меня ничего нет. Не волнуйтесь, я договорюсь с Валентиной Степановной. Какая срочность?

У меня лихорадочно работала мысль, что делать.

– Так давайте я вам привезу диссертацию, автореферат. У меня есть ваш отзыв на предзащите. Вы где живёте? Я сейчас привезу.

– Женщины к мужчинам нееее ходят просто так, – произнёс он нравоучительно, и мне показалось, что он покачнулся у телефона.

– Пётр Петрович, я не женщина, я соискатель!

– Острааа-умно! Ха-ха-ха! – развеселился мой собеседник. Вы – не женщина! Со- искаааатель!

И он засмеялся снова.

– Так куда вам привезти работу? Может быть, к какому-нибудь метро подвезти? Вы в каком районе живёте?– В метро? – Он снова развеселился. – Неее, в метро не пойдёт, не пушают меня в метро. В постельку с бочка на бочок – эт-гааа пожалуста...

«Пи-пи-пи...» – в трубке снова раздались короткие звонки. «Господи! Что же делать? Остаётся один день!» – в голове один за другим звучали эти слова. Я была совершенно разбита, не было ни одного варианта замены. Набирала номера телефона, один за одним, звонила... Вся профессура отдыхала.

Испортилась погода. Западный ветер принёс циклон, морозящий дождь то сменялся кратковременными просветами, то со всей силой стучал по стёклам, порыв ветра открыл окно в спальне, всегда находящееся на микропроветривании. Делать ничего не хотелось. Пересилив себя, всё же пошла в кухню, заправила борщ, поджарила на завтрак куриное филе. Время тянулось нескончаемо медленно. Позвонила самой близкой подруге – Алёне, но она ещё не вернулась из Токсова, поехала к приятельнице за сливами. Поздним вечером Алёна, наконец, появилась. Со слезами на глазах рассказала ей все перипетии последних суток, голова раскалывалась, пульс зашкаливал.

– Выпей капле шестьдесят корвалола, – голос Алёны прозвучал решительно и твёрдо, – и ложись спать. Утром поезжай к нему сама. Надо захватить его ещё тёпленьким, пока не дошёл до какого-нибудь магазина. Ну, а дальше, тащи его к себе, сажай за компьютер, а потом подумаем, как его продержать до понедельника. Держись, подруга. Наше дело правое. Главное – заманить его к тебе, потом уже не вырвется.

Воскресное утро началось для меня рано. Часов в восемь кот замурлыкал у моего уха, намекая, что неплохо бы подкрепиться. Часов в десять рискнула позвонить Петру Петровичу. Подошла девочка, постучала в дверь, вернулась со словами: «Он ещё спит».

– Это ваш папа? – спросила я у неё.

– Нет, сосед. У нас коммунальная квартира.

«Да, – подумала я, – доктор наук, профессор, умница, энциклопедист, а живет в коммуналке». Надо было узнать адрес.

– А вы не подскажете ваш адрес? Мне нужно срочно передать документы Петру Петровичу.

– Пожалуйста, – ответила соседка. – Пятая Красноармейская дом 8 квартира 51, во двор, направо, четвёртый этаж.

Сердце моё забилось часто и радостно. Взглянула на часы – половина одиннадцатого, быстро собралась и вышла на улицу. Всё складывалось удачно: наш друг «левак» нашёлся у самого подъезда, пробок на Московском проспекте в воскресенье не было, в пять минут двенадцатого я набрала в домофоне цифру 51 со словами: «Документы Жарикову. Откройте, пожалуйста». Лифта в шестизэтажном доме не было, поднялась на четвёртый этаж. У приоткрытой двери стоял Пётр Петрович. Но боже! Что у него был за вид? Лицо одутловатое, серо-зелёного цвета, глаза мутные, щёки заросли щетиной, будто он не брился дня три-четыре.

– Чему обязан? – холодно произнёс он.

– Ах, Пётр Петрович! Простите меня, грешную, но у меня просто не было другого выхода. Мне нужен отзыв, иначе защита летит в тартарары. А дальше... Вы же представляете – академик улетит в очередной заграничный вояж, оппоненты иногородние – и всё. Ну, пожалуйста, я вас просто умоляю, не откажите. Коротенький отзыв и ваша подпись.

– Нет, нет, я сразу не могу. Я ещё не завтракал. В магазин нужно сходить, купить что-нибудь на завтрак. И компьютер что-то забарахлил.

У меня лихорадочно заработала мысль.

– Послушайте, поедemте ко мне, это же рядом. Позавтракаем, напою вас кофе с настоящим рижским бальзамом, напишете отзыв, а потом схожу с вами в « - Кей». Мне тоже нужно. И доставку домой с продуктами гарантирую. Только не откажите!

– Отказать таааакой женщине? – Никогда. Ноо... – он помедлил, – я ещё не побрился.

– Я подожду, сколько потребуется, подожду.

– Хорошо, подождите. Проходите, только ... – он выдержал паузу, подбирая слова. – Не судите строго, в моей вороньей слободке... ещё утренний беспорядок.

– Нет проблем, всё понимаю, принимаю, пока будете мыться, могу даже пылесосом пройтись по комнате.

Пылесоса не нашлось, зато на столе ... Что творилось на столе! Грязные тарелки, недопитая бутылка пива, открытая банка с килькой, заветрившийся хлеб, шкурки от ветчины... Но главное – запах! Бррр! Сразу же открыть окно и – в кухню, извинившись перед соседкой, вымыть тарелки.

Душ несколько освежил рецензента, но до Петра Петровича, которого я обычно видела на факультете, было ещё очень далеко. Побрившийся, одетый в джинсы, коричневую рубашку и тёмно-синий свитер с цветными ромбами, он выглядел довольно молодо, если бы не редкие, давно не стриженные волосы, в которых прядями пробивалась седина. На улице было промозгло, его немножко бил колотун.

– Возьмём машину. Что-то холодно, – сказала я.

На Московском проспекте остановилась первая же машина. Пётр Петрович открыл дверцу, пропустил меня и сам сел рядом на заднее сидение. В машине он, придвинувшись поближе, начал гладить мне колени. Я быстренько поставила на них сумку, чуть отвернувшись. Уж больно пахло перегаром. Подъехали к дому, он галантно открыл дверцу, подал мне руку.

– У вас хороший дом и район.

Поднялись на пятый этаж, открыла двери. Вошли в прихожую, я протянула ему тапочки. Он с неудовольствием посмотрел на них:

– Ещё и обувь снимать надо?

– Извините, но надо. У меня коты живут. Спят, где им хочется, поваляются в прихожей, а потом на кровать в спальню. А вот и он. Это мистер Икс. Сокращённо Микс. Самый ласковый кот в мире.

В это время кот потёрся о ноги гостя, мурлыча.

– Какой ты красавец, – Жариков наклонился погладить кота.

– Проходите в комнату, Пётр Петрович, садитесь, вот вам работа и ваш предыдущий отзыв. А я, простите, похлопочу о завтраке.

Быстренько выскочила в кухню, разогрела в микроволновке запечённые куриные грудки, заправила салат из пекинской капусты с ветчиной, сварила кофе.

– Прошу к столу. У меня тут немножко коньяка осталось. Давайте по рюмочке! За начало конца.

Коньяк у меня был, конечно, но я просто не рискнула открыть новую

бутылку до того, как будет написан отзыв. Выпив залпом стопку коньяка, гость мой повеселел. С аппетитом поел мою стряпню. Посетовал, что редко ему приходится побаловать себя изысканной домашней пищей, после смерти жены обедает только в кафе или столовых. Иногда дочь заходит, тогда она готовит что-нибудь домашнее. Во время еды он рассказывал о себе, о том, что он единственный физик в семье, родители были врачами, но он не захотел поступать в мединститут, а окончил физфак, что у него две дочери – одна живёт в Москве, другая отдельно от него в квартире мужа.

– Кофе? – предложила я.

– Нет, спасибо, потом. Пойдёмте, займёмся вашим отзывом. А кофе – попозже. Вы мне, кажется, обещали рижский бальзам. Вот потом и выпьем с кофе.

Полистав работу, Пётр Петрович начал править отзыв. Я включила компьютер.

– Так, может быть, вы сразу внесёте изменения в компьютерный текст.

– Да, да, конечно. Сейчас исправлю. Это будет и быстрее и современнее.

Но быстрее не получалось. Работа над отзывом затягивалась. В мобильнике зазвучал «Марш горного короля Грига», – звонила Алёна. Извинившись, я вышла в кухню, пожаловалась, что шансов на понедельник маловато, боюсь, как бы не сорвался рецензент с крючка.

– Не беспокойся. Я через часок подскочу, и увезу его на дачу, а завтра доставлю прямо на защиту в лучшем виде.

Мы уже заканчивали обед, когда раздался звонок, и в комнату стремительно вошла Алёна. Пётр Петрович, уже приложившийся к бальзаму, знакомаясь, встал и галантно поцеловал ей руку.

– Что это вы пьёте? – спросила она. – К бальзаму нужна водочка.

И она поставила на стол большую бутылку «Дипломата». В глазах Петра Петровича вспыхнули радостные огоньки.

– Как кстати! Не любитель я этих травяных настоек. Лучше чистенькую, беленькую.

И он снова поцеловал руку Алёне. Та любезно принимала эти поцелуи. С каждым тостом рецензент заметно хмелел, выпивал водку, но не торопился закусывать.

– Да вы ничего не едите! Так нельзя, – возмущалась я. – А мы же ещё в магазин должны зайти, я вам обещала.

– Магазины подождут, ооони круглоооо-суточные. А вот выпить за такую прэ-лэ-стную даму, – и он многозначительно взглянул на Алёну – эт-то просто праздник. Девочки! На брудер-шафт!

Алёна засмеялась, и протянула ему руку с бокалом минеральной воды.

– Я за рулём. Могу только целоваться. Но ещё не вечер! – и она кокетливо посмотрела ему в глаза.

– Ты остра-уумная девочка, – произнёс он, снова начиная запинаться.

Алкоголь уже туманил разум.

– А ты, – но продолжить она не успела, так как Жариков прильнул к её губам. – Да, если вы собираетесь в магазин, могу подвезти, – сказала Алёна, освободившись от объятий своего соседа.

– Такси у подъезда, дамы и господа, – при последних словах она мне подмигнула. – До завтра.

Пока рецензент надевал пальто, Алёна шепнула мне, что отвезёт его в Осельки на дачу, а завтра доставит прямо на защиту. Пётр Петрович поцеловал мне руку, покачнувшись, чуть не упал. Алёна махнула мне рукой, и я, наконец, вздохнула спокойно. Как-то незаметно пробежало время, шёл уже седьмой час. Вымыла посуду, сложила все документы. До защиты оставалось двадцать часов.

К двум часам я была уже на факультете. Аспирант настраивал технику, просматривая страницы с формулами и графиками. Заглянула к Валентине Степановне, отдала ей один экземпляр добытого отзыва, второй оставила себе, так как накануне Жариков, уезжая с Алёной, забыл его. Позвонила Алёне. Но мобильник был вне зоны. «Едут что ли? Пора бы». Снова начала волноваться. Мало-помалу зал учёного совета заполнялся, появлялись члены совета, аспиранты. В сопровождении проректора и декана вошёл академик. Я взглянула на часы – без четверти три! Снова позвонила Алёне. «Всё в порядке, мы внизу, сейчас поднимемся». Без пяти минут три в аудиторию вошёл Пётр Петрович с Алёной.

– А вот и мы! – сказал он довольно громко, обращаясь ко мне. – Не опоздали?

– Пётр Петрович! Петя! Проходите сюда, – пригласил его академик, занявший место в первом ряду.

Я глазами показала Алёне, чтобы она села за проходом, но Жариков держал её под руку и вёл в первый ряд. «Да, ситуация», – подумала я, но он уже знакомил Алёну с академиком и проректором.

Впрочем, мне было не до них. Председатель объявил заседание совета открытым и предоставил мне слово. Вышла перед аудиторией, и на какую-то минуту такое волнение и дрожь охватили меня, что показалось, что я не помню ни одного слова, провал в памяти, пустота. Не знаю, сколько длилась эта пауза, но случайно встретилась глазами с Жариковым, он подмигнул мне и демонстративно погладил Алёнину руку. Из вакуума я вернулась на землю, и произнесла первые строки доклада. Всё встало на свои места, появилось спокойствие, я уже не только видела всю аудиторию, но и начала слышать тихие реплики присутствующих.

Река защиты нашла, наконец, своё русло, и медленно покатилась к финалу, как обычно. Нет, пожалуй, не как обычно. После того, как Валентина Степановна прочитала отзыв Бирюкова, слово было предоставлено дополнительному оппоненту – Петру Петровичу Жарикову, кандидатура которого только сегодня была утверждена учёным советом. Из первого ряда поднялся высокий мужчина в тёмно-сером костюме, ослепительно белой рубашке с широким ярким галстуком, в котором угадывались цвета триколора. Алёна знала своё дело, я ни секунды не сомневалась, что этот галстук она выбрала, оглядев ассортимент его галстуков. Мне показалось, что оппонент был слегка возбуждён, возможно, выпил немножко. Когда он заговорил, воцарилась такая же тишина, как и при выступлении академика. Он всегда говорил артистично, образно, с юмором. Иногда юмор переходил в

сарказм, звучали довольно злые афоризмы, которые становились крылатыми фразами. Сегодня он был в ударе.

– Защита докторской диссертации – это праздник науки, почти всегда праздник. А сегодня... Сегодня мы присутствуем на ..., не побоюсь этого слова, бразильском карнавале. Мы увидели все цвета радуги, все нюансы и оттенки в тончайших лессировках, которыми *со-исскаательница* (это слово он произнёс многозначительно и посмотрел на меня) написала живописную, я бы сказал постмодернистскую, несмотря на лессировки, картину, которая прозвучала мощным органам на фоне пастушечьего нестройного ансамбля рогов и рожков.

В зале заулыбались, а он продолжал речь, часто адресуя её одной Алёне, которая, не отрываясь, смотрела на него, гипнотизируя. Да, «рога и рожки» – эта фраза была не в бровь, а в глаз. Основным оппонентом моей работы был именно Рогов со своей армией аспирантов. Последние десятилетия они были ярыми противниками нашего направления, которое практически полностью перекрывало экологические концепции «рожковцев». Вот это и подчеркнул, перейдя на эзоповский язык, Пётр Петрович, вызвав оживление в зале, уже начавшем уставать от защиты. Наконец, был объявлен перерыв – члены совета удалились в деканат для голосования и обсуждения заключения по диссертации. Я стояла в проходе аудитории, когда ко мне подошла Алёна. Она была одна. Жарикова задержал академик. Они оживлённо что-то обсуждали.

– Прекрасная защита, поздравляю, – сказала Алёна.

– Спасибо, Алёна. Я твоя вечная должница. До последних минут сомневалась. Боялась, что не удастся тебе его удержать.

Алёна засмеялась.

– От нас с Боем не уйдёшь!

– Что? Бой был в машине?

– Конечно! И не только! – Алёна снова улыбнулась. – Без него я бы вряд ли справилась. На банкете расскажу подробности.

Перерыв закончился, председатель счётной комиссии объявил результаты голосования: за – 21, против нет, недействительных бюллетеней 2. Рожковцы не рискнули проголосовать против. Началось обсуждение заключения по работе. Я посмотрела на часы. Совет шёл уже три часа сорок минут. Наконец, мне предоставили слово. Поблагодарила оппонентов и особенно Петра Петровича Жарикова, который в лучших традициях выпускников альма-матер в трудную минуту пришёл на помощь, не допустив переноса защиты. Он удовлетворённо наклонил голову, Алёна не сдержалась и широко улыбнулась. Когда же я благодарила всех сотрудников и аспирантов, оказавших содействие в выполнении работы, то произнесла «коллег и друзей», посмотрев именно на Алёну. В эту минуту Жариков шепнул ей что-то на ухо.

Совет закончился. Внизу уже стоял заказанный автобус, поехали отмечать праздник науки в ресторан «Таможня», где обычно и отмечались подобные мероприятия. Банкет начался с традиционных поздравлений и, как обычно, достаточно скучно. Некое подобие продолжения учёного совета. Но по мере



того, как поднимались тосты, в зале началось оживление. Жариков, возбуждённый водкой и соседством с Алёной, – он не оставлял её ни на минуту одну, – просто блистал остроумием. Таким его давно уже не видели. После официальных тостов оппонентов он провозгласил себя самоназначенным тамадой, предложил выпить за него, как за тамаду. Я поддержала этот тост, добавив, что он не только тамада, но и лучший представитель МЧС, спасший сегодня *со-искаательницу* (тут я повторила его интонацию) от неизбежной смерти. Довольный тамада оторвался на минуту от Алёны и галантно поцеловал мне руку. После этого Пётр Петрович тут же предоставил слово, как он сказал, главному оппоненту, онемевшему сегодня от услышанного, – Сергею Кирилловичу Рогову.

Рогов начал традиционно, что сегодня он от всей души поздравляет меня с успешной защитой, хотя не может однозначно согласиться с моей критической оценкой его направления работ, но, поскольку женщина покорила сегодня двадцать одного члена учёного Совета, то он предлагает выпить за победу. «Виват, виктория!» – сказал он, протягивая ко мне руку с рюмкой, чтобы чокнуться. «Виват, виват!» – повторил тамада.

Банкет набирал силу. Уже острила молодёжь, а уставшая профессура помаленьку разъезжалась по домам. В соседнем зале заиграл оркестр, молодёжь вышла потанцевать, тамада пошёл провожать простившегося со мной академика. Наконец, я могла поболтать с Алёной.

– Ты не представляешь, – сказала она, – каких трудов мне стоило удержат его вчера. Садимся в машину, едем. Он в лирическом настроении, то пытается меня по колену погладить, то тянется поцеловать. К счастью, тут вмешивается Бой, и Петруша на некоторое время успокаивается. В пробке на Руставели задремал. Проснулся: «Где я? Куда вы меня везёте? Меееня похиинители?».

И пытается дверь открыть. Я ему песенку, что быстренько заскочим на дачу, закрою дом и окно и отвезу его. Приехали, затопили камин, он совсем разомлел в тепле. Накрыла стол, снова выпил, и начал мне читать стихи. Оказывается, он не только знает поэзию, но и сам пишет стихи. Потом: «Иди ко мне! Попробуем побарахтаться».

Ну, думаю, пора и в постель. Постелила ему в светёлке, говорю: «Ой, я, кажется, машину не закрыла. Пойду посмотрю». А Боя в предбанничек и говорю ему: «Сидеть!». Сама спустилась, хлопнула дверью, как будто вышла. Жду. Слышу – пытается выйти, да Бой как зарычит, он опять в кровать. Через полчаса заснул. Утром часов в девять заглянула – спит. В полдесятого пошла его будить, вхожу, он лежит на боку, а рядом с ним Бой вытянулся во весь рост, и тоже на боку. И он его обнимает! Жаль, фотоаппарата у меня с собой не было! Ты бы видела его физиономию, когда он проснулся! Всё попытывался потом, было ли у нас с ним что-нибудь. А я в ответ молчу и только загадочно улыбаюсь!

Мы дружно расхохотались.

– Ну, а дальше, накормила его завтраком, и поехали сначала к нему, потом ко мне переодеться, оставила дома Боя, взяли машину и на факультет.

Дорогой он мне стихи читает, сонет в мою честь, экспромт собственного сочинения. Дома записал стихи. Для физика неплохо.

Она протянула мне листок, где крупным почерком Петра Петровича было написано:

*"Сонет прекрасной Елене".*  
*Сегодня день стал дольше – больше света,*  
*Наверно, признак доброго начала.*  
*О вешних днях мечтать пора настала:*  
*В них голос чувства ждёт любви привета.*  
*А тёплый зов любви – он ждёт ответа...*  
*Об этом говорить стихами мало.*  
*Любовь и нежность, – нынче ясно стало,*  
*Есть вздох – и бросит в жар пред нею.*  
*Но честь себя с ней близким – это лестно.*  
*Об этом только ей одной известно.*  
*Что скажет новый день – не разумею.*  
*К чему гаданья? Но скажу я честно:*  
*Едва её увидев... тихо млею.*

Я похвалила стихи, сказав, что нужно их вставить в рамку с целующимися ангелочками.

– Каля, надо ему провожатого, мне кажется, что один он не доберётся до дома, а я .... Сегодня уволь!

– Нет проблем! Сергей, его аспирант, не бросит шефа на панели, тем более он с машиной.

– Пойду потанцюю. Может быть, пригласит кто.

Она вышла в соседний зал. Появился Жариков. Его уже пошатывало.

– Пётр Петрович! Кофе гляссе?

– А где прееее-крааасная Елена?

– Мне кажется, она уже уехала, ей надо с собакой погулять.

– Каак? Бросила меня одного! Нееет, не ожидааал такого. Коо-ваар-ная оооб-манщица!

Он сел очень расстроенный, я подошла к Сергею, попросила проводить Петра Петровича до дома.

– Не волнуйтесь, Калерия Ивановна, доставим в лучшем виде, не впервой.

Через день у меня раздался звонок. Пётр Петрович пожаловался, что забыл у Алёны важные документы и спросил, не могу ли я ему дать её телефон.

– Конечно, конечно, Пётр Петрович, нет проблем. Мне кажется, она ждёт звонка, – я не могла не улыбнуться. – Да и Бою, наверное, скучно спать в одиночестве.

– О, женщины! – он засмеялся, но, как мне показалось, несколько смущённо.

Я с радостью сообщила ему все телефоны: и рабочий, и домашний, и мобильник.

Чего не сделаешь для счастья лучшей подруги!

*Санкт-Петербург*

## **Калягин Николай Иванович**



Прозаик, историк русской поэзии. Родился в 1955 году в Ленинграде.

В середине 80-х годов сотрудничал с представителями тогдашней "второй культуры" (К. М. Бутырин, Н. П. Ильин, и др.). Печатался в журнале "Обводный канал".

Впоследствии печатался в журналах и альманахах "Москва", "Нева", "Постскриптум", "Странник", "Нива" (Казахстан) и др.

Главные книги: "Сказки и истории" и "Чтения о русской поэзии" (издана в 2016 году В. И. Чернышевым).

## ***Сказки и истории***

***Апофеоз Гепнера***

***Преложение псалма 145***

***Крещенский вечерок***

## Апофеоз Гепнера

Прошлой осенью, в одну из пятниц возвращался я домой с работы. День был холодный; в особенности ветер, дувший из-за Финляндского вокзала, причинял мне неудобства и лез под пальто.

Знаете, бывает такой ветер, который гадюкой шныряет по асфальту, кусает ваши ноги и шею, а сам раздувается от спеси и только что не шипит вам на ухо членораздельно: «Дрянь твои брюки, и шарф – дрянь, и сам ты – не великая птица».

А я не спорю. Пожалуйста.

Только я сомневаюсь в том, что можно выращивать великих птиц, кусая кого-то за ноги. Будь это так, каждая змея торговала бы на колхозном рынке, однако в жизни мы этого не видим. В жизни мы видим птичник.

Слегка одеревенелый прихожу домой.

– Ну и погодка, – говорю жене. – Знаешь, чего бы я сейчас выпил?

– Умираю от любопытства, – отвечает жена.

– Я бы водки выпил, – говорю.

– Ах, тебе водки захотелось? – говорит жена. – Очень мило. А тебе известно, что Толика Гепнера стихи напечатаны в журнале «Народная тропа»?

Молниеносно я согрелся и начал понемногу расстегивать пуговицы на своем пальто. Жена сзади стоит. Ее, конечно, можно понять: «Народная тропа» – один из лучших в стране литературных журналов. Пожалуй даже самый лучший.

– Нет, – отвечаю. – Мне это неизвестно.

– Вот так, – говорит жена. – А ведь начинал вместе с тобой.

– Я сама его не понимала, – говорит она. – Боже мой! Как вспомнишь все, что было, и все ошибки, так порой делается грустно.

Я снял пальто и повесил его на гвоздь. Мне хотелось напомнить жене, что ее же лучшая подруга Ира Круглова еще на первом курсе имела с Гепнером похожий разговор – про ошибки и про грусть, которую эти ошибки приносят... Разговор, при котором мы оба присутствовали, – я и моя будущая жена.

– Твои родители знают, что у нас будет ребенок? – спросила тогда Круглова. – Ты им, наконец, написал?

– Мы ведь несовершеннолетние, – ответил Гепнер. – Неужели ты не понимаешь, что нам не дадут пожениться?

– Все, хватит! – закричала Круглова. – Я иду к ректору!

– Молодым везде у нас дорога, – отвечал Гепнер. – Конечно, сходи.

– Анатолий, но ты хоть о ребенке подумай, – вступила в разговор моя будущая жена.

– Конечно, если бы это был мой ребенок... – отвечал Гепнер. – Но разве можно быть уверенным? Такой деликатный вопрос. Страшно ошибиться в нем.

Через неделю началась сессия – у него не хватало половины зачетов, а

Круглова скандалила и плакала в деканате. Тогда он в сердцах забрал документы и уехал с археологической партией в Среднюю Азию.

С тех пор я не встречал Гепнера и ничего о нем не слышал, а у Кругловой все утряслось, включая ребенка, и она недавно вышла за Памодова, еще одного нашего сокурсника, оголтелого физкультурника.

– Гепнер своего добился, – говорю я жене. – А мы будем обедать, хорошо?

– Обедай, – отвечает жена. – Пожалуйста. Картошка за окном, сосиски в холодильнике. Вот только водки для тебя я не запасла, ты уж извини. Можешь взять в ванной мой оде...колон, можешь... – тут она заревела, убежала в ванную и там заперлась.

– Как насчет одеколона? – спросил я, покрутив дверную ручку. – Через вентиляцию подашь?

– Яичницу можешь пожарить... – перечисляла жена, сморкаясь и плача. – Картошка за окном... Наконец, сосиски... – она открыла кран. Труба захлебнулась и заухала. Вода полилась.

Я ушел отсюда и лег на диван. Я вздохнул. Начал массировать сердце – в нагрудном кармане зашуршала и смялась какая-то бумага. Тут только я вспомнил, что собирался сегодня на работе потренировать память, именно: выучить наизусть превосходное стихотворение Пушкина «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...»

С утра перед завтраком я выписал его из книги и положил листок в нагрудный карман, но потом, конечно, забыл про него и не выучил. У меня довольно слабая память – иначе бы ее и тренировать не стоило.

«На свете счастья нет», – прочел я, расправив помятый листок, тяжело вздохнул и подумал так:

«Оттого и нет счастья на свете, что наши жены никак не могут понять, что на свете его нет. Читал же я где-то, что даже Денис Давыдов – генерал, герой и порядочный поэт – был совершенно несчастлив в семейной жизни».

Тут я представил себе, как приходит ко мне жена Дениса Давыдова и говорит жалобно: «Мой муж – ничтожество, он не понимает машино-строительного черчения. Он даже не знает допусков и посадок. Спаси меня от этого пустого человека. Давай уедем в Лисий Нос».

А я стою возле своего кульмана и точку карандаш.

«Давай, уедем, – говорю, – конечно. Например, в Лисий Нос».

Не знаю, долго ли так промаялся – час? два? – сквозь сон слышался мне стук и звонки в дверь, а потом разговор в прихожей. Мужской голос спросил про Мишу, то есть про меня: дома ли? – я поднялся и вышел к гостям.

Ира Круглова и моя жена, обе очумелые, с заплаканными глазами, обнимались в прихожей. Памодов стоял в стороне, держа под мышкой, как градусник, бутылку водки. Он был навеселе, но совсем не веселый, напротив.

– Проходите в комнату, – сказал я, и все вошли и сели за стол.

Мы с Памодовым переглянулись.

– Женился, значит? – спросил он, разливая водку.

– Давно уже, – ответил я. – Раньше, чем ты, по крайней мере.

– Вот оно как, – сказал Памодов.

Ира Круглова открыла сумочку и под зачарованным взглядом моей жены достала книжку журнала.

– Здесь, – сказала она, раскрывая журнал сразу на нужном месте.

Жена тихо-тихо отвела от лица волосы и склонилась над мелким шрифтом «Народной тропы».

– Анатолий Гепнер, – прочла она вслух, одновременно приподнимаясь со стула.

Стул упал, но она не замечала этого.

– Ой, Ирка, – ныла она, – ой, милая, как же я рада за тебя, так рада...

Памодов нетвердой рукой налил себе третью стопку, я потянулся через стол и завладел бесхозным журналом.

Целый разворот занят был стихами. Однако большие вещи – «Влюбляйтесь при кострах», «Листая Лао-цзы», «Строителям Комбината» – принадлежали перу маститого Волкомясова, и короткое стихотворение Гепнера, помеченное тремя звездочками, едва виднелось в конце листа.

\*\*\*

*Земную женщину лаская,  
Не думаем про смертный час.  
И за работой забываем  
То, что вчера ласкала нас, –  
И смерти нету. Нету смысла  
Жизнь разменять на пустяки:  
На те предгробовые мысли  
И малахольные стихи.  
Живая жизнь кипит повсюду,  
Спеши за ней, хватай, лови.  
И где была сомнений гряда,  
Сыщи гармонию любви.*

– Ну, это не шедевр, – объявил я, закончив чтение.

– Хотите чаю? – громко спросила моя жена. – Я поставлю.

– Разве что полчашечки, – подхватила Круглова.

– Ты бы сначала прочла, – сказал я жене, начиная раздражаться. – «Земную женщину лаская, сыщи гармонию любви!» Все стихотворение банальное и пошлое. Я даже не понимаю, зачем такое напечатали в серьезном журнале – такую дрянь.

– Ого! – восхитилась Круглова, а ее муж, Памодов, широко раскрыл глаза и поперхнулся водкой.

– Перестань! – крикнула жена, делая ко мне один шаг. – Ну на что ты надеешься? Все равно ты ничего не испортишь – ты самого себя опозоришь, и больше ничего. Слышишь, ни-че-го.

– Ты бы сначала прочла, – повторил я, как попугай. – «Земную женщину лаская...»

– Ну, хватит, – сказала жена. – Какой стыд! Идем, Ирка, чай пить.

Они обнялись и пошли на кухню. В дверях жена обернулась.

– Завистник, – сказала она, пожимая плечами. – Мелкий завистник.

Дверь захлопнулась, я остался один. Голая ветка лезла в окно, за стеной пел и стрелял телевизор, и Памодов лежал на нашем диване, упираясь ботинками в валик. Комната, вся целиком, походила на картину Пластова «Фашист пролетел».

«Ай да Гепнер, – подумал я. – Придется ночевать у мамы. А чтобы не вышло ерунды и звонков в милицию, оставлю записку».

Я взял со стола карандаш, какую-то бумагу – и опять листок с пушкинским стихотворением оказался у меня в руках.

Тут вспомнился мне день, когда мы с женой последний раз ходили в кино, причем попали на фильм, который невозможно было смотреть.

Повальное бегство происходило из зала, картина шла под аккомпанемент откидных кресел: хлоп! хлоп! – а жена наивно так продолжала надеяться и все просила: давай посидим еще немного, вдруг начнется хорошее.

Тогда я взял ее за воротник и потащил к выходу, приговаривая: «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит» – и она, наконец, пошла и засмеялась.

Досада моя поутихла, я перевернул листок и написал на чистой стороне: «Живу у мамы. Захочешь навестить – милости прошу». Потом мимо кухни прокрался в прихожую, надел пальто и вышел на улицу.

Проснулся я поздно. Была суббота, выходной день, но мама моя работает и по субботам (она учительница), и, следовательно, никого в квартире не могло быть, кроме меня.

Кто-то, однако же, стоял за дверью – я слышал дыхание и то позвякиванье, какое бывает от чайной посуды. В дверь постучали.

– Войдите, – сказал я голосом, хриплым от сна.

Моя жена, краснея, вошла в комнату. В руках она держала поднос с завтраком.

– Спасибо, – сказал я. – Спасибо большое.

– Бывало он еще в постеле, ему записочки несут, – добавил я, заметив на подносе между двумя бутербродами четвертушку обычного листа писчей бумаги с машинописным текстом, обведенном от руки розовой каймой. Я потянулся за этим листком. Я его захватил. Так...

«Пора, мой друг, пора!» – о!

«На свете счастья нет, но есть покой и воля...»

Вместо «воля» напечатано было «воря». Совершенно уже растроганный, я принял поднос, поставил его на пол и с головой забрался под одеяло.

Ну-с, стали мы опять жить хорошо, и листок этот с пушкинскими стихами я долго таскал с собой, умилялся на него, а потом куда-то забросил. А вчера я получил письмо. Прочел обратный адрес на конверте и испугался: ну что, скажите, может быть общего у меня с журналом «Народная тропа»? Какие отношения?

Тут же, стоя на лестнице, надорвал я конверт и забегал глазами по ровным, отпечатанным на машинке строкам:

«Уважаемый Михаил!

Извините, что называю Вас просто по имени, но в своем письме вы не указали своего отчества, а также где Вы работаете и сколько Вам лет».

«Что за бред? – подумал я, – Положим, двадцать пять. Какое письмо?»

«Впрочем, должен Вас огорчить. Стихотворение “Пора, мой друг!” не может быть напечатано в нашем журнале.

Вы, конечно, хотите узнать, почему? Постараюсь удовлетворить ваше любопытство.

Начну с того, что даже в орфографии Вы делаете грубые ошибки, например, вместо “воля” пишете “воря”. Нельзя писать стихи без знания элементарных основ родного языка, так же как нельзя управлять космическим кораблем, не зная таблицы умножения.

Далее. Вы рифмуете “просит” и “уносит” – это слабая рифма. Запомните: только *большой* художник, овладевший *всем* арсеналом творческой палитры, имеет право на глагольную рифму. “Неслыханная простота” мастера становится у подражателя-ученика той простотой, про которую говорит народная поговорка: простота хуже воровства. (Вы вполне понимаете, о чем я пишу? А ведь это азы поэтического ремесла.)

Вообще рифмовка у вас слабая. “Вдвоем-умрем”, “доля-воля”... Чтобы обогатить свою рифму, спросите в Публичной библиотеке стихи Валерия Брюсова и внимательно изучите их.

Попытаюсь теперь разобрать Ваши стихи с точки зрения содержания. Представим на минуту, что я и есть тот “друг”, к которому обращено Ваше стихотворение. Что же нового смогу я узнать из него “о времени и о Вас” (Маяковский)?

Вы просите покоя, жалуетесь, что “дни летят” и что сама жизнь устроена как-то неправильно, ибо “мы вдвоем предполагаем жить, а глядь – как раз умрем”. Мало этого. Напоследок вы заявляете: «На свете счастья нет!» Сколько банальностей, практически весь “философский багаж” любителя соленых сухариков и пива, уместилось у вас в неполных пяти строчках! Этим и исчерпывается “содержание” вашего стихотворения, потому что со слов “покой и воля” (у вас, кстати, написано “воря”) начинается бессмысленное нанизывание славянизмов – раб, нега, бытия, обитель дальнюю и т. п. – которых в дальнейшей работе вы должны научиться избегать. Особенное недоумение вызывает задуманный вами “побег” от действительности. Не бегать от жизни, а отображать ее и преобразовывать – вот задача поэта!

Пишете вы бойко и гладко, но на этом фоне особенно отчетливо проступают бессодержательность и вторичность Вашего стихотворения. Примите к сведению прекрасные строки Евгения Евтушенко, как будто специально для Вас написанные:

*Я прошу, как отчаянной смелости,*

*мастерства неумелости!*

*Я прошу, словно подвига,*

*слова подлинного!*

Вот и всё. Надеюсь, что главное Вы уже поняли: только каждодневный упорный труд может сделать из Вас поэта, тем более что начинаете вы практически с нуля.

До свидания. Желаю Вам творческих успехов в этом нелегком труде».



## ***Преложение псалма 145***

Когда объявили подписку на Льва Толстого, я не стал дожидаться особого приглашения, а прямо пришел к книжному магазину.

Нас, желающих подписаться, собралось там с вечера триста человек. Составили список, мне достался номер сто девяносто шестой. Особенной надежды не было, что мне с таким номером достанется подписка, но я решил остаться и досидеть до конца. Тем более что из соседнего гастронома выбросили сколько хочешь пустых ящиков, и мы устроились вполне прилично.

Там еще лежали бетонные плиты, оставшиеся после строительства, и нас вокруг одной плиты собралось пять человек. Начались обычные расспросы, типа: «У вас какой номер?» – «А все-таки?» – «Да, номерок у вас никудышный!» – «Как вы думаете, могу я на что-нибудь рассчитывать со своим номером?» – и тому подобное. Понемногу обвыкли и перезнакомились.

Там был один школьный учитель, были две студентки дневного отделения и была научная сотрудница лет тридцати пяти, но еще довольно веселая и симпатичная, по имени Светлана Борисовна. А всего пять человек.

Посидели мы на этих ящиках, поулыбались друг другу... Потом я говорю:

– Неплохо бы нам винца выпить. Веселее будет, и не так замерзнем ночью.

– Одиннадцатый час, – отвечает учитель. – Где вы сейчас достанете?

– У меня к ноябрьским праздникам, – говорю, – припасены две бутылки. Я бы сбежал, здесь недалеко.

– ...А сбегайте, – говорит учитель. – Деньги мы вам сию минуту соберем.

– Стаканы тащите! – кричит Светлана Борисовна, научный сотрудник.

– Да-да, – кивает учитель, – вы уж там поищите у себя какой-нибудь стаканчик.

Возвратился я к ним с бутылкой, уселся, все разложил. Хлеб порезал на газете.

– Начинайте, – говорю, – и кушайте, пожалуйста. Вот хлеб.

А Светлана Борисовна смеется.

– Вы слышите? – говорит учителю. – Молодой человек советует вам кушать.

– Очень любезно со стороны молодого человека, – трясет головой учитель. – Так-так...

– А в самом деле, что вы будете кушать, если в школах перестанут учить литературе? Вы меня извините, Михаил Иванович, в вашей теории много оригинального, но вовсе отменить преподавание литературы – это абсурд.

– Отменить нельзя, – отвечает ей учитель. – Да только ведь и преподавать нельзя.

Пропустил я поскорее первый стакан, закусил хлебушком.

– Конкретные предложения у вас имеются? – спрашиваю. – Или только так – мечты и звуки?

– Я сам не знаю, имеются ли у меня конкретные предложения, – говорит учитель, а сам разглядывает этикетку у принесенной бутылки.

– Это у вас молдавский? – спрашивает. – Вот не было печали... Вы будете пить молдавский портвейн, Светлана Борисовна?

– К сожалению, не могу. У меня что-то давление подскочило сегодня днем – вы на меня не обращайте внимания, Михаил Иванович.

– Постараюсь не обращать внимания, постараюсь, – отвечает учитель. – Обещать не могу... Ну а вам наливать, барышни?

Те, конечно, переглянулись, прыснули, локтями подтолкнули друг дружку. Заиграли, одним словом. Потом говорят:

– Разве что немножко. Капельку.

Тогда учитель стал разливать на три стакана.

– И правильно, – бормочет себе под нос. – Вышли мы все из народа, как говорится...

Плеснул остатки, грамм сто тридцать, в мой стакан, пустую бутылку убрал в ящик.

– Что я могу предложить? – снова мне говорит. – Чтобы мой ученик Шабуркин не пил после уроков в подъезде вот этот самый портвейн, – можно такую мечту назвать конкретным предложением? Во всяком случае, какой-нибудь специальный курс не повредил бы. Ну, там о тщете пьянства, о вреде абортот – ведь это все довольно актуально... Наши школьники *изучают* литературу, а следовало бы их как-то вовлекать в нее, приобщать, – чтобы кротокок увяз, понимаете? Художественное чтение, может быть? Не знаю. Самое бы лучшее – завести приличный школьный театр.

Тут он выпил, отдышался и сказал злобно:

– Обучать их в мастерской переплетному делу – и всё.

– Не кричите, Михаил Иванович, – попросила одна из подружек.

– Виноват.

– То есть вы хотите, чтобы школьник самостоятельно пришел к серьезному чтению? – спросила Светлана Борисовна. – Чтобы он, научившись, так сказать, точить коньки, сам захотел на них прокатиться?

– Но ведь не каждому дано научиться, – заметил учитель, – захотеть гораздо проще. Тяга к литературе как раз имеется: вы поглядите вокруг – триста человек желают читать Льва Толстого. Это здесь, а сколько таких магазинов в нашем городе? А если принять в расчет, что сочинения Толстого каждый год переиздаются? Ведь тут тысячи и тысячи любителей серьезного чтения налицо. Другой вопрос, насколько они подготовлены к такому чтению.

Мы все задумались и закивали: да, мол, очень много еще у нас людей, неподготовленных к серьезному чтению.

– Вообще же, превосходное сравнение школьной литературы с городским катком следует из ваших слов, Светлана Борисовна, – продолжал учитель. – Именно – каток, и мои ученики скользят по нему с завидной легкостью. Вот вы вообразите себе среднего ученика: безграмотно пишет, с книгами обращается, как обезьяна, – рвет их и пачкает, на слух неспособен отличить Демьяна Бедного от Пушкина – и этот самый ученик преспокойно мне рассказывает по учебнику, что христианская проповедь Достоевского и Толстого является уродливой и постыдной. Это же профанация культуры! Его драть надо, подлеца, а не науськивать на Достоевского.

– Ага, Михаил Иванович! – засмеялась Светлана Борисовна. – Вот в чем дело, оказывается: просто вы не можете примириться с тем, что в советской школе запрещены телесные наказания. Входите в класс – там тридцать человек детей, и никого-то из них нельзя выдрать. Око видит, а зуб, увы... Ведь это танталовы муки у вас – бедный, несчастный Михаил Иванович!

Учитель тоже улыбался.

– А хотите, я вам расскажу одну историю? – предложил он. – Нового ничего не услышите, но, по крайней мере, вам будет понятно, отчего я решил оставить преподавание. Да и ночь короче покажется.

– Давно бы так, – заметила Светлана Борисовна. – А то заладили: профанация, девальвация, гибель культуры...

– Больше не буду про девальвацию, – кротко пообещал учитель, отдал мне свой стакан, устроился поудобнее на ящике и начал так:

– Вы, конечно, знаете, что школьная наша программа держится на немногочисленных классиках, как на китах, и можно десять лет просидеть за партией, ни разу не услышав сладких слов «Баратынский», «Киреевский», «Сухово-Кобылин». Поэтому я завел для своих ребят литературный кружок – факультатив, на котором мы занимаемся писателями, оставшимися за пределами школьной программы.

– Стало быть, ваши поступки лучше ваших убеждений, – вставила Светлана Борисовна. – И на том спасибо, чаще бывает наоборот.

– А в конце занятий, – как ни в чем не бывало продолжал Михаил Иванович, – я им выдаю по такому листочку, а на листочке – стихотворение, обычно малоизвестное, и стандартные вопросы: хорошо это или плохо? почему? – все в таком роде. А в начале следующего занятия собираю их ответы и произвожу разбор. Понимаете? Вы, например, никогда не отважитесь на подобный шаг, а подросток рубит с плеча. Он не знает, кого я ему подсунул: Тютчева или Грибачева, – но он пыгается угадать.

В результате и волки сыты, и овцы целы. Ученики с азартом участвуют в этой викторине, приобретая попутно кое-какие знания, а у меня накапливается интереснейший материал, которого вы у наших методистов не отыщете. Восприятие литературы школьниками – это же огромная тема, очень важная. Игнорируя ее, вы ничего не сможете узнать о воздействии литературы на жизнь, на общество...

– Про общество мы знаем, – заметила Светлана Борисовна. – Вы про себя рассказывайте.

– Вот на прошлой неделе провожу я такое занятие. Говорим о Ломоносове. Хлопает дверь, входит школьное начальство, и ребята мои встают.

Входит директор, входят завуч Углов и Лена Старкова, классный руководитель 9-го «А».

– Распускай кружок, Михаил Иванович, – говорит директор.

И подает мне бумажку, которая... Пойдите, она у меня, кажется, до сих пор.

Учитель порывлся в карманах, отыскал искомую бумажку, расправил ее и положил перед Светланой Борисовной на бетонную плиту.

– Благоволите взглянуть, – сказал он при этом.

«Преложение псалма 145, – прочел я, заглянув через плечо Светланы Борисовны. – Хвалу всевышнему владыке потщися, дух мой, воссылать: я буду петь в гремящем лике о нем, пока могу...»

– Что это за чертовщина, Михаил Иванович? – спросила Светлана Борисовна, поспешно распрямляя свой стан, отчего я вынужден был снова опуститься на ящик.

– Налюбовались? – спокойно спросил Михаил Иванович и забрал листок.

– Подает мне директор эту бумажку, – продолжал он, – и говорит:

«Что за черт? Твоя рука, Михаил Иванович?»

«Моя», – отвечаю.

«Так это ты, значит, вот что, – говорит он. – Так».

А Лена Старкова, добрейшая душа, – я бы ее, впрочем, на пушечный выстрел не подпускал к преподаванию, – подсказывает мне: «Вы, наверно, перепутали, Михаил Иванович, и не тот листок вынули из портфеля. Это бывает, я знаю по своему опыту».

«Значит, так, – говорит директор. – Елена Игоревна проверяла сегодня дневник у члена вашего кружка Сырцова Сергея и обнаружила у него в дневнике эту мерзость...»

«Про какую мерзость вы говорите? – спрашиваю я. – Вот это, что ли, мерзость?»

«Ладно, Михаил Иванович, – говорит завуч Углов, – кончай дурочку ломать. Слышите, Валерий Антонович: они не понимают... Я-то к нему давно присматривался, вы вспомните прошлогодний наш разговор насчет этого типа. Ведь вы обратите внимание, что это не элементарная какая-нибудь поповщина: “Слава тебе, господи, пошли мне корову”, – нет. Это политика. Посмотрите-ка сюда, интереснейшее здесь имеется местечко... Вот: “Никто не уповай веками на тщетну власть князей земных”. А дальше – смотрите, совсем интересно: “И гордость их и власть минет”. Правда, ничего? “Блажен тот, кто себя вручает всевышнему во всех делах...” – интересным вещам учат подрастающее поколение в нашей школе, что и говорить».

«Скажешь ты нам что-нибудь, Михаил Иванович? – спрашивает директор. – По-моему, ты уже не мальчик, чтобы в молчанку играть».

«А мне с Угловым не о чем разговаривать, – отвечаю. – Про его дремучее невежество знает вся школа: пятиклассники анекдоты про него рассказывают, шестиклассники – былины сочиняют. Да и вам, Валерий Антонович, стыдно хрестоматийное стихотворение Ломоносова называть мерзостью. Я на эти занятия трачу свое личное время, и мне неинтересно...»

«Стихотворение Ломоносова?» – переспрашивает директор. И со сладострастным каким-то выражением (мне не передать) глядит на Углова.

«Как это – Ломоносова? – говорит Углов. – Ломоносов заложил материалистические основы. Вы не юлите, Михаил Иванович».

«Вам лучше знать, – говорю, – кто какие заложил основы. Впрочем, я принес на сегодняшнее занятие кружка “Стихотворения” Ломоносова. Пожалуйста, смотрите».

Взял он у меня из рук книгу – вертел ее, листал... Потом говорит:

«Ломоносов по условиям своего времени не мог оставаться на современном уровне научных знаний. И вы сознательно пропагандируете наиболее темные стороны его мировоззрения, прикрываясь этим дорогим именем... Вот я, например, вижу здесь стихотворение “О пользе стекла” – почему же вы не воспользовались этим произведением для иллюстрации естественнонаучных взглядов Михайло Васильевича?»

«Да оно при самом мелком шрифте занимает в книге пятнадцать страниц, – говорю, – неужели вы не видите? Ну хорошо, давайте сюда “О пользе стекла”. Так... Вот, не угодно ли:

*...непостижна сила*

*Единого Творца весь мир сей сотворила».*

«Ну, всё, – говорит директор Углову. – Придется тебе искать другую оказию, чтобы меня угопить. А я на всякий случай буду иметь в виду, кого ты при двух свидетелях не смог отличить от Потемкина и Екатерины».

«Вот и хорошо, – говорит Лена Старкова, – я очень рада, что все разъяснилось. Я пойду, Валерий Антонович, если вы не возражаете».

Остались мы с директором вдвоем, и он мне говорит:

«Ты хочешь, чтобы Углова сделали директором, или чего ты добиваешься, Михаил Иванович? Зачем ты меня под монастырь подводишь, я не пойму? Очень тебя прошу: записан у тебя в программе Пушкин, так ты и давай мне Пушкина, и не лезь ты во всякие дебри... Ты находишься не у себя на даче, а на государственной службе, – уясни эту простую мысль раз и навсегда. Понял ты меня, Михаил Иванович?»

«Вполне тебя понял, – отвечаю. – Следующее занятие прямо начну вот с этого: “Отцы пустынники и жены непорочны...”»

«Это что?» – спрашивает директор.

«Ты что, издаваешься? – говорю. – Это Пушкин».

«И на солнце пятно выискал? – спрашивает директор. – Ясно. Боюсь, что нам с тобой, Михаил Иванович, нелегко будет работать вместе».

Хлопнул дверью и ушел.

Учитель кончил рассказывать. Он замолчал и нахохлился, погрузился в свои мысли. Щеки у него посинели от холода, и он их прятал в воротник.

– Не переживайте, – сказал я ему. – Бросьте думать о неприятностях, у кого их нет? Без работы-то вы не останетесь – ну и всё. Еще и лучше найдете себе местечко...

– Сейчас мы с вами, Михаил Иванович, – сказал я от чистого сердца, – разопьем другую бутылку? Хотите?

– И вот я спрашиваю у вас, – говорит он внезапно, не обращая внимания на это предложение, – как я могу преподавать, когда Сережа Сырцов, самый толковый мой ученик, заявил на зачетном занятии по Достоевскому: «Меня не интересует вопрос, для чего Раскольников с Сонечкой читали *воскресение Лазря*. А для чего пушкинская Татьяна читала Мартына Задеку? Книжек нормальных не было тогда, вот и читали что попало. Меня интересует проблема Бермудского треугольника, а также следы космических пришельцев. Которые после них остались, знаете?»

Сам я неверующий, так уж воспитан, но мне все труднее становится объявлять слабыми сторонами мировоззрения великих наших писателей именно те стороны, которые для них самих составляли цель творчества и, вероятно, оправдание жизни. Это про пьяного грузчика можно сказать: шел домой, но не дошел, попал в вытрезвитель. А мне приходится то же говорить про Достоевского: хотел показать пути, которыми Бог находит человека, а вместо этого обличил социальное зло.

На этот раз я специально подождал, когда учитель запнется, и сразу же заявил:

– Что-то стало холодать. Сбегаю за второй бутылкой.

– Куда вы побежите? Второй час ночи, – говорит Светлана Борисовна. – Только семейство свое взбаламутите.

– Какое у меня семейство, Светлана Борисовна? Живу один.

– А, товарищ по несчастью... – говорит она мне, а сама поглядывает на учителя. – Вообще-то вы чем занимаетесь? Учитесь где-нибудь?

– Зачем? Чтобы потом получать сто двадцать рублей?

– Сто двадцать! Помню, я после института получала семьдесят пять – на жизнь, как говорится, хватало, а на все остальное – на одежду, там, или на книги – приходилось подрабатывать черчением. Почему-то я тогда много успевала, вообще здоровая была... и глупая. Знаете, Михаил Иванович, что я тогда думала о Толстом? Я думала: вот несчастье, всего семь лет не дотянул до революции.

– А как же иначе? Я и теперь так думаю, – говорю я. И встаю с ящика, чтобы идти за бутылкой.

В эту минуту одна из подружек восклицает:

– Вот молодец! Даром, что без образования молодой человек, а в ситуации разобрался четко. Мне-то еще в институте надоела такая вот безоглядная болтовня: Достоевский, бог, космические пришельцы – надоело. Но у нас хоть болтают профессионально, на другом уровне...

– Вы закончили? – говорит ей Светлана Борисовна.

– ...Простите, я как-то не очень поняла ваш вопрос. И этот тон...

– Да какой вам тон, когда вы на людей набрасываетесь.

– Я набрасываюсь?! Извините, но это уже становится забавным.

– Передо мною можете не извиняться. Вы не меня – вы Михаила Ивановича назвали сию минуту болтунишкой. Безоглядным болтуном.

– Я ничего такого не говорю про вашего Михаила Ивановича, – отвечает подружка, – кроме того, что он немного отстал, сидя в своей школе. Возьмите хотя бы роман Зегерс «Мертвые остаются молодыми», там она на уровне XX века пересматривает идеи Достоевского и, я бы сказала, идет дальше в осуждении массовых убийств, чем Раскольников. Я уже не говорю про Габриэля Гарсиа Маркеса, про Воннегута, наконец.

Светлана Борисовна злится, морщится, но я чувствую, что крыть ей нечем. А учитель сидит довольный, рот до ушей.

– Когда я был в вашем возрасте, – говорит, – я считал, что в осуждении массовых убийств, хотя бы и на уровне XX века, дальше всех пошел Конфуций. У него спросили: «Как вы смотрите на убийство людей, лишенных принципов, во имя приближения к этим принципам?» – и он ответил...

– Очень напугали! – обрывает его подружка. – А вам известно, что на Западе существуют *десятки* исследований, посвященных аморализму Федора Достоевского? Конфуций... Я-то всё, что требуется, читала про Конфуция, а читали ли вы...

И тут она такую загнула фамилию, что ушел от греха подальше и забрал вторую бутылку. И так мне сделалось грустно! Я-то думал: почитаю Льва Толстого, расширю кругозор... Оказывается, нет. Нужны еще Конфуций, Зегерс, Габриэль Гарсиа – конца не видно.

Возвратился я на свое место, выставил бутылку.

– Будет кто-нибудь пить? – спрашиваю.

– Ну, как хотите, – говорю.

Проснулся я, когда было уже светло.

– Просыпайтесь, – сказал учитель. – Ничего у нас не вышло.

Проснулся я и вижу, что они стоят надо мной вместе со Светланой Борисовной. Она его держит под руку, и воротник у нее поднят выше головы.

– Что такое? – говорю, сам дрожу от холода. – Чего не получилось? Сколько привезли подписок?

– Двести, – говорит Светлана Борисовна. – У вас какой был номер?

– Сто восемьдесят пятый.

– Ну, идите домой. Вам не досталось.

– Как так? – спрашиваю.

Смотрю, перед магазином собралась большущая толпа – все новые лица. Наши подружки с дневного отделения тоже там стоят.

Те люди, которые ночь просидели на ящиках, бегают вокруг с изыбшими лицами и ругаются, а новые стоят стеной и только заходят по одному в магазин и подписываются на Льва Толстого.

– Приехали за полчаса до открытия, – говорит Светлана Борисовна. – У них, оказывается, свой список, составленный месяц назад. И директор магазина с ними в стачке.

– Интеллектуал со спекулянтom, – говорит учитель, – союз нерушимый. Пойдемте отсюда, Светлана Борисовна.

– Неужели сразу нельзя было предупредить, – говорит Светлана Борисовна. – К чему ломать комедию? Еще сидели с нами...

И как нарочно, в ту же минуту мы видим – бежит к нам подружка с дневного отделения и кричит:

– Два человека! Быстрее!

Оказалось, у них две девочки из группы не явились, и пропадают номера. Я говорю:

– Жребий тянуть некогда, давайте посчитаемся.

– Ну, говорите какую-нибудь считалку, – еле слышно отвечает Светлана.

А учитель говорит: «Шышел, мышел, вышел», – и тянет ее в сторону от магазина.

Тут она разжала пальцы и стоит с поднятым воротником. И он пошел, пошел, а нам уже вся очередь машет руками.

– Идемте, – кричу, – Светлана Борисовна! Такой случай!..

И мы побежали.

## **Крещенский вечерок**

Жена мне говорит девятого января:

- От Алевтины пришла открытка. Ждет нас в гости.
- А что? – говорю, – вроде, идея неплохая. Можно съездить.
- Тогда в следующую субботу.
- Можно в субботу.

– А ты не передумаешь? Не окажется в последнюю минуту, что у тебя снова курсы повышения квалификации?

– Какие еще курсы?

– А я знаю? Всегда ведь в последнюю минуту предупреждаешь, а потом являешься пьяный в два часа ночи.

– Отвяжись, – говорю. – Курсы не бывают в субботу.

На короткое время она успокоилась. Дала мне денег, купил пшеничную с винтовой пробкой и два килограмма яблок. В субботу поехали в гости.

Всю дорогу она ныла: «Не рассчитывай, что я тебе позволю напиться с Николаем, как в прошлый раз. Буду за тобой смотреть, так и знай. Я тебя пьяного не понесу на спине...» – насилиу дотерпел.

Алевтина выскочила в новом платье, причесанная, только почему-то с венником в руках.

– Ах вы мои дорогие, – говорит. – Приехали, наконец. Давайте хоть снег вам стряхну с пальто.

– Убери венник, свояченица, – говорю, – гостей распутаешь.

Правду сказать, пальто у меня не особенно модное, неинтересно его показывать. Сам разделся и повесил.

Алевтина с женой ушли на кухню разговаривать, а меня Николай позвал в комнату. Включил телевизор, вазу поставил с яблоками.

– Что нового? – говорит. – Рассказывай.

– У меня все по-старому, – отвечаю. – У тебя как?

– Аналогично. Как там Вовка?

Вовка – это наш сын с Верой. Сейчас в армии служит.

– Вроде нормально, – говорю.

– Пишет?

– Давно не писал.

– Молодежь никто не пишет, – говорит Николай. – Не жалеют родителей.

– Это больше Вера переживает.

– Ну а вообще как?

– Вообще ничего.

– Чтобы не забыть, – говорит. – Мне тут одну книгу достали, может, тебя заинтересует...

– Ты все с книжечками?

– Естественно. Вот с этого места, – пальцем показывает.

Лично я не возражаю против чтения. Наоборот, я считаю, что в свободное время полезно почитать книгу, но только если хорошую. Читать надо с разбором. А Николай разбирается в этом, как свинья в апельсинах. Его только



интересуют книжки похабного содержания, он их где-то достает через приятелей и засоряет себе мозги.

Из-за этого, я считаю, и с Алевтиной стали хуже жить.

– ... Да тут стихи, – говорю. – Вроде ты раньше не увлекался.

И вот что я прочитал из-под его пальца:

*Сама никуда уйти не вздумай,*

*Но меня поджидай и приготовься*

*Девять кряду со мной сомкнуть объятий.*

*Если так, разреши скорей: нет мочи, –*

*Пообедал я, сыт и, лежа навзничь,*

*И рубаху и плащ проткну, пожалуй.*

– Неплохо, да? – спрашивает Николай. – Нормально? – Пристроился рядом с масляными глазками...

– В мое время, – говорю, – такие стихи писали на заборе.

– Деревня! – это он мне так отвечает. – Ознакомься сначала с предисловием. Почитай, что академики пишут.

Открывает в нужном месте и сует мне предисловие, в котором написано, действительно, академиком. Смотрю, там черным по белому сказано: «Крупнейшее явление, открыло новую эпоху в поэзии». Что тут возразишь? Попробовал еще полистать, открыл первую попавшуюся страницу – там сказано про одного, что у него воняют подмышки. Про другого сказано, сколько раз в году он какает: десять раз.

– Слушай, – говорю, – отстань. Не хочу я эту порнографию читать.

А он:

– Знаешь, я тебя не виню, – тихим таким голоском отвечает и ладонью возит по глазам. – Не ты один. У нас весь народ, если брать в массе, еще не созрел для культуры.

– И хорошо, что не созрел.

– Вот и другие так рассуждают, – говорит Николай. – А потом удивляются, что мы Америку догнать не можем. Никогда мы ее не догоним! Все то, что на Западе существует двести лет, для нашего Обломова до сих пор в новинку.

– Нет, а что ты предлагаешь? – я ему говорю. – Наоткрывать публичных домов? В школе порнографию преподавать вместо черчения?

– Я тебе предлагаю, – отвечает, – во-первых, не хлопать ушами.

– В каком смысле? Не понял.

– Что ты сидишь второй час со стаканом? Войти же могут. Давай, пей быстрее.

И только он успел это сказать – на кухне закончили, и моя жена входит с кастрюлей салата. Я ни пошевелиться не успел, ни убрать стакан. Как занес его надо ртом, так и сижу. И Алевтина заходит с тарелками.

– Нет, я сейчас домой уеду, – говорит жена, – пей тут без меня, сколько влезет. Хоть литр. Смотри, Алевтина: обещал сегодня не пить. Пожалуйста... И зачем обещать, если не собираешься?

Ну, думаю, влип. Спасибо еще, Николай своевременно спрятал предыдущую бутылку, которую мы выпили. Жена дальше говорит:

– Николай, зачем ты его спаиваешь? Ему нельзя.

– Мы тут чисто символически, – отвечает Николай. – Верочка! Ради праздника.

И Алевтина, спасибо ей, поддержала:

– Ну, уж если в праздник мужикам нельзя выпить, то я не знаю. Тем более дома, а не где-нибудь под кустом.

Я вижу, что такое дело, и сам говорю:

– Ладно, Вера, раз в год можно. По случаю праздника.

– Какой же сегодня праздник, интересно? – отвечает жена.

– Ну, этот самый, – говорю. – Как же... Ты куда, Николай?

– Сейчас.

– Здравствуйте! – говорит Алевтина. – А Крещение? Завтра же Крещение, девятнадцатого числа. Забыла?

Все и обошлось. Сели мы за стол, чокнулись. Николай немедленно по второму кругу начал разливать.

– Нет, мне сухого, – жена говорит.

Сидим. Алевтина рассказывает, как они в этот день гадали на женихов в деревне, из которой моя жена родом. Закусываем, смотрим телевизор. Николай своего начальника ругает.

Вдруг я тарелку разбил. Алевтина только улыбнулась, а жена опять завела:

– Не пей больше. Слышишь, не пей. Хватит с тебя.

– Когда же и выпить мужику, если не в гостях? – говорит Алевтина. – Неужели лучше на улице, под кустом?

– Точно! – кричу. – Алевтина, она понимает... Золотые слова!

Уже и сам чувствую, что перебираю, но не могу остановиться.

– Нет, мы сейчас домой поедем, – говорит жена. – Извини, Алевтина, но мне неохота его на спине тащить.

– Посидим, – отвечает Алевтина. – Пусть мужики выпьют, все равно завтра воскресенье, не на работу же... Посиди, Верунчик. Сейчас кино будет хорошее.

– Какое кино? – спрашиваю. – Хорошее?

– Сама-то я не смотрела программу. Николай, какое там кино сегодня, ты говорил?

– Да вот же оно началось, – отвечает Николай. – Только не кино, а телевизионный спектакль. По произведению Достоевского.

– Достоевский? Ну его, – говорит жена. – У него все больно мрачное. Старуху топором убивают, кому это надо?

– Просто так посидим, – говорит Алевтина. – Все равно я тебя не отпущу: что это такое? Родные сестры называется – видимся раз в год по обещанию.

Тогда жена сказала:

– А, делайте, что хотите.

Ладно, я молчу. Отсел на диван, креплюсь, смотрю телевизионный спектакль.

Называется «Идиот». Показывают, как еще до революции приехал к нам в город идиот. У него спрашивают: «Откуда приехали?» – он пальцем в потолок тычет.

«Вы где лечились?» – засмеется тихонько и руками двигает перед лицом. Больной человек.

Появились дружки, повезли его к бабе – я так понял, чтобы над ним посмеяться. У нее отдельная квартира, она там живет одна. Плотная такая женщина и даже симпатичная, но заметно по глазам, что погуливает.

Так этот припадочный со второго слова заявляет ей: «Ваша красота спасет мир! Выходите за меня замуж!» – самое смешное место. Просто нужно было видеть этого жениха: жидкая бороденка, гадкие глаза... И в эту самую минуту ему приносят завещание, в котором родной дядя завещал ему перед смертью два миллиона рублей. Неплохо, да?

Она сгоряча согласилась, но потом бросила в огонь эти деньги и уехала с любовником на дачу. Не захотела.

Я так понял идею произведения, что если человек больной, то настоящего счастья у него не будет. Конечно, деньги – вещь неплохая, но на них все можно купить, кроме здоровья. Тут я согласен.

А в целом – не очень жизненный фильм. Так раньше жили, до революции; теперь другие проблемы.

Проснулся я на диване. Ничего не понимаю, где я нахожусь. Только слышу, как моя жена спрашивает у кого-то:

– Вы здесь?

И сама себе отвечает:

– Д-А. Да! Теперь ты спрашивай, Алевтина.

– Пусть Николай спросит.

В комнате темно, одна только свечка горит на столе. Смотрю на часы – два часа. И Николая голос робко так раздастся из темноты:

– Говорят, что с девятого мая водка подешевеет. Врут, наверное. У вас ничего не слышно насчет этого?

Помолчал и совсем другим голосом:

– Почему это я папуас? Алевтина, Вера, да что он опять ругается?!

– Нашел, у кого спросить, – Алевтина смеется, а моя жена говорит:

– Николай! Кроме водки тебя ничего не интересует? Например, пиво?

Попробуй спросить про пиво.

Слышу, Николай обиделся.

– Своего мужа не забудь спросить, – говорит, – чем он интересуется. Вон он там прикорнул на диванчике.

«Ну, всё, – думаю. – Сейчас я встану...»

– Николай! – Алевтина говорит.

– Мужа моего не трогай, – спокойно так Вера отвечает. – Сам ты натренировался на работе и напоил его, а он не привык к твоим лошадиным дозам.

– Вера! – Алевтина говорит. – Заканчивайте! Знаешь, про что можно у него спросить? Про метро! Скажите пожалуйста, когда к нам метро проруют?

– «В 1-8-6 Е-С-Л-И Н-И-К-А-Л-А-Й Н-Е С-Т-А-Н-Е-Т М-Н-Е М-Е-Ш-А-Т-Ь».

– Во врёт! Во врёт! Николай-то здесь при чем?

– Кто его знает, – Вера моя говорит.

– Сама начинаешь? – спрашивает Николай. – Кончай. Лучше узнай про Вовку, чего он не пишет.

– Ты что? – говорит жена. – Дурак или сроду так? Про Вовку...

– Действительно, – Алевтина с ней соглашается.

А Николай:

– Хватит! – грубо так зарычал. – Ты у меня дома находишься, поняла? У меня в гостях.

– Я в гостях не у тебя. Нужен ты мне очень.

– Вот и помалкивай. Завела, понимаешь, моду... Смотри, мигом вылетишь отсюда вместе со своим деревенским алкоголиком.

Тогда я сел, спустил ноги с дивана. «Ах ты, – думаю, – дрянь...» Думаю: стукну его разок между глаз, а там видно будет. В крайнем случае, на такси доедем до дома. Не разоримся от этого.

– Иди-ка, – говорю, – иди сюда.

Ни один не оглянулся в ответ. Сидят вокруг стола, вытянув свои руки на его середину, – только свечка трещит да занавеска шевелится. А по столу кверху дном ползёт тарелка.

– Да вы что? – я им говорю. – Это вы чем тут занимаетесь?

– Ладно, ладно... – Алевтина от меня, как от мухи, а Николай говорит:

– Выспался? Не мешали тебе эти трещотки? Тут я винца оставил: давай-ка, полечись, – и сует мне стакан.

Что толку с таким разговаривать? Склизкий человек, даром что мой родной свояк. Я его проигнорировал: встал боком и молча выпил стакан. Когда проходил к столу, нарочно наступил ему на ногу.

За столом Вера сидит, делает вид, что не видит меня. Алевтина у тарелки дежурит. Я им опять говорю:

– Да вы что? Вы хоть понимаете, на что вы идете?

Все молчат. Один Николай спросил у меня над ухом:

– Почему про Вовку-то нельзя, я не понял? Правило такое?

Ладно, у меня тоже гордость имеется. Отсел в сторону, включил лампочку-бра. Книгу эту взял, порнографическую.

Листаю ее, а сам думаю: как же так? Нормальные рабочие люди, почему они вступают на этот путь? Крутят блюдец, гадают на картах или на кофейной жиже, изучают так называемый гороскоп, поступающий из-за границы... Спрашиваешь у такого человека: «Скажи пожалуйста, а чем отличаются твои увлечения от самого примитивного религиозного мракобесия?» – и он тебе отвечает: «Ни в какого бога я не верю, конечно. Но существуют природные силы, которые пока еще не объяснены наукой», – и приводит в качестве положительного примера шаровую молнию. Хотя при чем тут шаровая молния? И вот что удивительно – вместо того, чтобы раз в жизни взять в руки и изучить того же самого Пушкина, вызывают его «дух». Спрашивают всякую чепуху, типа: «Будет или не будет война с Америкой?» – как будто это от Пушкина зависит. В гробу не дают человеку покоя.

Например, Алевтина спросила у Пушкина на этот раз:

– Вы теперь встречаетесь со своей женой? Вы ее простили?

«В-С-Ё П-У-Т-Ё-М».

– Умничка! Так держать, – сказала Пушкину Алевтина.

И я снова не выдержал и подошел к столу. Говорю им:

– Приятного аппетита. Что так некультурно ужинаете?

Алевтина отвечает:

– А?

– Я в том смысле, что вы вдвоем из одной тарелки кушаете.

– Да ты посмотри! – Николай чуть не стонет. – Интересно же: сама едит!

Понимаешь, сама!

– Конечно, сама, – говорю. – При помощи твоего пальца.

– При чем тут! – кричит. – Она по кругу едит, а я на нее сверху кладу!

Сверху вниз! Садись сам, если не веришь!

– А знаешь что? – Вера мне говорит. – Ты тут не командуй... Если напился в гостях, набедокурил, то по крайней мере нужно скромнее себя вести. А то раскомандовался... Я бы на месте Алевтины еще не знаю, как бы к тебе относилась после всего этого.

– Да ладно, – Алевтина смеется. – Всё пугём.

– Нет, не ладно!

– Ну вот же, – я говорю Николаю. – Вот же ты пальцем двигаешь.

И сел рядом с ним, чтобы лучше видеть. В самом деле, интересная штука – ползает себе и ползает. Очень заразительно смотреть на нее. И за Николаем не менее интересно следить – как он кипятится.

– А еще я хотела спросить одну вещь, – Алевтина говорит. – Сейчас, только вспомню... Ага! Товарищ Пушкин, если бы вы заранее знали, чем это закончится, вы бы женились?

– Т-Е-П-Е-Р Ж-Е-Н-И-Л-С-Я.

– В каком смысле?

– О-Т-С-Т-А-Н-Ь.

– А все-таки?

– К-О-М-У С-К-А-З-А-Л.

Тогда я говорю:

– Вот оно что! Теперь понял. Оказывается, не в пальце дело.

– А я о чем толкую? – Николай обрадовался. – Давай, подкинь ему вопросик.

– Ну и в чем же дело? – спрашивает Вера.

И я объяснил, что в каждом человеке есть его поле. Пока мы сидим за столом, наши поля (а если говорить точнее, то волны) действуют впереди нас. Но мы ничего не чувствуем, хотя они-то и передвигают тарелку. Например, Вера спросила: «Сколько будет дважды два?» – а Николай про себя думает: «Четыре». Вот и все, этот ответ будет получен. Хотя, конечно, никакого «духа» в природе не существует. Одно только поле.

Это я сейчас изложил вкратце, а тогда для женщин я объяснял подробнее и более простым языком. И в конце сказал:

– Чтобы проверить эту механику, нужно спросить про такую вещь, про которую никто из нас не знает. Какую-нибудь дату. Или так: «В каком городе вы родились?» Потом пойти в библиотеку и проверить. Всего делов. Только для начала, давайте отпустим Пушкина.

– Это почему?  
 – Про него мы всё знаем.  
 – На Крещение Пушкина во многие дома вызывают, – Вера говорит. – От этого он такой дерганый. Конечно, лучше его отпустить.  
 Алевтина пошла, открыла форточку.  
 – Теперь начнем, – говорю. – И даже я могу назвать, кого именно нам надо.  
 – Давай. Назови.  
 – Вот из этой книжки. – И я ее достал и показал женщинам. – Тут есть один, который нам подойдет. Заодно и посмеемся.  
 – А... Сия книжечка мне знакома, – говорит Алевтина.  
 – Я тебя не понимаю, о чем ты говоришь, Алевтина. Тут древний мир, и выдающееся явление в поэзии. Почитай предисловие, если мне не веришь... Вера! Хотя ты ее не слушай. Понимаешь, это такой первобытный поэт, который жил с женщиной и посвящал ей стихи. Короче говоря, она завела себе любовника. И вот автор пишет: «кроличье отродье», «волосатый» – разные такие слова про этого любовника... вот! Он пишет:

*Чем гордишься? – бородой клином?*

*Оскалом челюстей, что ты мочой мочишь?*

– Фу, гадость! – говорит Вера. – Сейчас же спрячь эту книгу, слышишь?  
 – Что же делать, Вера, если был такой обычай? Древние люди... Возьми во Франции – там до сих пор лягушек едят. А что у нас на Кубе творится во время карнавалов? Вот именно... Национальные обычаи, ничего против этого не сделаешь.  
 – Уже можно смеяться? – спрашивает Алевтина.  
 – А по-моему, – говорю, – смешно. Например, он пишет:

*...В Кельтиберии*

*Уж так заведено – мочью собственной*

*Там чистят зубы и полощут рот.*

*И кто из кельтиберов белозубее,*

*Тот, значит, и мочу хлебал прилежнее.*

– Там так написано? – жена спрашивает. – Не верю, покажи...  
 – Ха-ха-ха! – Николай надрывается. – Га-га-га! Мочу хлебал!  
 И стучит лбом по столу – батюшки, совсем пьяный, вдрызг, как только Алевтина не замечает... Я-то поспал, мне-то что.

– Ну, книжечка... – Вера отдувается.

– А кого вы лучше найдете? – говорю. – Жил неизвестно когда, неизвестно где. Ничего мы про него не знаем. А главное – имя указано. Эгнатий, из Кельтиберии. Можно вызывать.

– Сейчас сделаем! – Николай кипит. – Сейчас мы его... Игнатий?

Обхватил тарелку и крутит ее, вертит перед открытой форточкой, как дискбол перед метанием диска.

– Все это вранье! – говорит Алевтина. – Никогда и не было такого обычая. Вранье, типичное... Что я – не знаю, как это делается? Доведут женщину до ручки, а потом про нее же и треплются направо и налево, как бабы. Такую грязь разведут...

– Ладно, вызывай скорее, – я говорю Николаю. – Чего резину тянуть?

А он продолжает свое идиотство: вертит и крутит. И только потом говорит, не оборачиваясь:

– А ты меня не учи.

Грубо так говорит, неприятно. И так мне все надоело в эту минуту! Такое все стало тусклое. И всякая охота пропала изучать тарелку. Господи, думаю, ночь на дворе, добрые люди давно спят, а мы... чем мы занимаемся? Как дети, балуемся с тарелкой, даже хуже детей. И для чего я здесь сижу – в чужом доме? И жену заставляю?

– Тут написано, – жена говорит, – что он не смог пережить ее измену, Алевтина, и умер почти что сразу.

– Допустим, – говорит Алевтина. – И что это доказывает? Ему сколько лет было?

– Сейчас... Тридцать лет.

– Может, он и раньше болел, там не сказано?

– Сейчас.

А Николай трубит:

– Игнатий из Кельтиберии! Ваш папа ждет у вольера со слоном!

И швыряет тарелку на середину стола.

Я думал – всё, дребезги, но она не разбилась и не проскочила дальше, а вдруг поехала назад, прямо на Николая:

«Д-А. Д-А. Я З-Д-Е-С-Ъ».

И так быстро, что едва успеваешь следить: «Д-а. Да. Я здесь».

– Что значит соскучился человек за тысячу-то лет, – Алевтина говорит. – Бедный... А можно, я первая спрошу? Ну тогда поведай нам, Игнатий, одну вещь, только честно. Наклеветал на тебя поэт? Или сказал правду?

«П-и-сал про меня с-тихи».

– Неправду писал или правду?

«Передал потомству».

– Погоди, Игнат, – Николай говорит. – Ты, это самое, зубы чистил?

«Любой культурный человек».

– А ну, не крути! Говори прямо: хлебал мочу?

«Х-лебать бесполезно. Нужно полоскать».

– Тьфу, пакостник! – говорит Алевтина. – Да какая же здоровая женщина могла тебя терпеть после этого?

«Почти что любая женщина».

– А вам не совестно, – вдруг Вера спрашивает, – что он умер из-за вас? Вы поняли, про кого я говорю? Муж вашей приятельницы?

«Он был не муж».

– Все равно.

«Я мог больше д-ать».

– При чем здесь это? Фактически, человек умер по вашей вине. Неужели вас совесть не мучает?

«Точно нет».

– А знаете что? Вы мне совсем не нравитесь.

«При муже. П-понял вас».

Тут даже Николай рассвирепел.

– Прекрати выкатать этому гопнику! – рывкнул на Веру. – Знаете, что я с ним сейчас сделаю? Придавлю его утюгом – и оставлю под тарелкой. А сверху утюг положу. Слышишь, Игнат, ты у меня посидишь – лет восемь, по крайней мере.

– Еще чего выдумал, – Алевтина говорит. – Восемь лет жить без утюга с этой дрянью. Подержим до утра, а там уже его назад не впустят. У них там строго насчет этого.

«ТАК НЕ НАДО ШУТИТЬ. ТАК НЕ НАДО ШУТИТЬ. ТАК НЕ...» – грозно поехало, с широким размахом.

– На испуг хочешь взять? – Николай засмеялся. – Давай-давай.

«Нет», – поползло.

– Только учти, я не из пугливых.

«Ошибочно п-одумали, Николай Витальевич, будто я вас п-пугаю».

– То-то же. А посидишь годик – совсем вежливый станешь. Я из тебя, Игнаш, захотел человека сделать.

«За что?»

– А так. Просто. Настоящий мужчина, Игнаш, – рыцарь, – обязан все вытерпеть ради своей дамы.

«Какая там дама. Д-дешевка. Ради нее не согласен».

– А его кто-нибудь спрашивает, твоего согласия?

«Вы читайте у ц-ц-цицерона защиту ц-целия. Это шлюха самая настоящая. Я не согласен. Я ей говорил».

– Закудахтал-то как, – Николай смеется. – Цы-цы-цыпленочек.

– Давайте спать ложиться, – говорит Вера. – Отпусти его, Николай.

– погоди, – Алевтина говорит. – Мы же хотели его проверить.

– А как ты его проверишь?

– Спросить что-нибудь по древнему миру, а потом проверить. Давай, Игнашка, расскажи нам про свою жизнь. Только по-быстрому.

«В-вы меня отпустите?»

– Зависит, как будешь отвечать.

«Что отвечать?»

– Про первобытную жизнь, дубина, тебе же сказали, – опять Николай не выдержал.

Затаился под тарелкой, молчит. Хоть и неохота, но вижу – надо выручать. Не понимают друг друга. К тому же, как ни крути, это моя была идея: насчет проверки поля. Спрашиваю:

– Как звали вашего царя?

«Никак не звали».

– Имени не было? Царь был без имени?

«Царя у нас не было».

– А кто ж у вас был?

«Сначала республика была...»

– Да, – говорю, – конечно.

«Потом гражданская война...»

– Конечно.



«Потом диктатура».

– А потом полет Гагарина в космос.

– Ты записывай, – Вера говорит. – В понедельник проверишь.

– Что проверять-то? Нечего тут проверять... Нехорошо, Эгнатий. Называешься верующим человеком, а сам нагло врешь в глаза. Хороший бы поп из тебя получился.

«Чем я называюсь?»

– Но ты же верующий?

«Во что?»

– Тебе лучше знать. В какого-нибудь там крокодила священного или в Магомета. Религия-то у вас была?

«Как и у вас».

– Стало быть, верили?

«Отсталые элементы. Старухи».

– А на самом деле, – я объясняю для женщин, – в то время была поголовная религиозность. Сто двадцать процентов. Люди видели свое бессилие перед природой и, например, поклонялись молниям. Скажи нам, Эгнатий, ты перед молнией поклонялся?

«Нет».

– Но ты же боялся ее?

«Конечно, страшная».

– Вот видишь!

«Еще пиратов боялись, к-кровавый понос...»

– Так про это вы могли объяснить, а про молнию не могли! У вас таких знаний не было.

«Было».

– Не смейся людей. Что вы могли знать? Что это Илья-пророк по небесному своду спичками чиркает. Даже вру – у вас и спичек-то еще не было.

«Объясняю. Внутри облаков находятся с-емена жара. Когда дует ветер, облака сталкиваются и выжимают эти семена. Ветер смешивается с огнем...»

Я говорю:

– Николай!

– Ну?

– Не «ну», а брось! Прекращай это дело.

– Какое дело?

– Но это же ты его наводишь – поле. Прекрати.

– Ничего я не наводил. Я спать хочу.

Сидит, глазами хлопает.

– Нет, это не я, – говорит Вера. – Я, конечно, знала, что молния возникает, когда тучи сталкиваются. Но я не знала таких подробностей. Может быть, ты, Алевтина? Ты про что думала?

– Давайте-ка ложиться, – отвечает Алевтина. – Я сейчас буду стелить, хорошо? А этого вы отпустите. Что-то мне не светит с ним ночевать.

– Да-а-а, – я говорю, – заврался напоследок. Гражданская война у него там была, диктатура пролетариата... Может быть, и выборы были?

«Были».

– Голосование?

«Конечно».

– Милиция была, народный суд?

«Был».

– Высшая мера наказания?

«Куда ж без этого».

– Зато у нас, – Вера говорит, – нельзя казнить беременную женщину.

«У нас похожий закон».

– Какой? – Алевтина поинтересовалась.

«Нельзя казнить д-евственницу удавкой».

– Нашел, чем хвастать! А не удавкой, значит, можно?

– Какие у нее могут быть преступления, – спрашивает Вера, – у девушки?

За что ее казнить?

«И-извините, а если у нее отец государственный преступник?»

– Ну и что?

«Думайте, когда г-говорите».

– А тут нечего думать. Бывает, конечно, что у плохих родителей и дети вырастают плохие. Но в пять лет они еще хорошие. И в десять. Вы же не могли их наказывать заранее.

«Могли».

– У вас детей убивали?

«Хороших детей у нас не убивали. Сначала палач с ними занимался, а уже потом... Закон строг, но это закон! Нельзя казнить девственницу удавкой».

– Ты что-нибудь понимаешь? – Вера у меня спрашивает. – Палач с детьми... чем занимался?

– Николай, – говорю, – кончай. Уже не смешно.

Посмотрел на него, а он спит, положив голову на стол.

«Но вы согласны, что после палача это уже были не дети?»

– Об одном я жалею больше всего, – говорит Алевтина, – что нельзя ему рожу расцарапать.

– Ничего же нет, – говорит Вера. – Ты что? Смотри, Алевтина...

И смахнула тарелку со стола. Звякнуло, но не так чтоб очень сильно. Смотрим – лежат две половинки.

Алевтина крикнула: «Дура!» – и побежала форточку открывать. Потом махровое полотенце схватила: «Кыш! Кыш!» – размахивает им в разные стороны. Вера моя извиняется, вынула кошелек. Николай во сне кряхтит. Полный содом.

– А ну вас всех, – говорю, – в одно болото. С вами сам полоумным станешь. Поехали домой, Вера, – шестой час.

С тем и уехали. Глупая история, я же говорю. Предложи мне сто рублей – не стану больше тарелку крутить. И ноги моей больше не будет у Николая в доме.

В понедельник пошел на работе в библиотеку.

– Энциклопедия у вас есть? – спрашиваю. – Дайте на букву «ка».

Половину обеда потратил, но убедился вполне. Я, правда, и не сомневался. Кельтиберия – это вранье. Такой страны просто не было.

1983

[Кельтиберы – древние племена северо-восточной Испании, смесь иберов с кельтами. Ред.]

**IV. ЛИКИ. ЛИЦА. ЛИЧИНЫ**  
(литературная и философская критика)

---

ЛЮДМИЛА БУБНОВА



**Несметное множество картин...**



*В. Голявкин*

«Ленинград – город трёх революций» – не иначе как с восторгом писали газеты и произносили в эфире; теперь такого названия нет, но раньше было: я оттуда. Что за ширмой восторгов – ужас, разруха, смерть, – вспоминать не хотелось: люди живут всегда и везде, если не умирают, жить в приподнятом настроении лучше, чем в унынии.

К концу 80-х в начале 90-х появились в Ленинграде на городских площадях длинные лозунги: «Великая Октябрьская социалистическая революция – самое знаменательное событие XX века в мире!». К чему бы оживились лозунги, ведь и так не забыли, сразу никогда не поймёшь. Оказалось: готовилась ЧЕТВЁРТАЯ революция, в честь того Ленинград скоро исчез, вместо него возникло прежнее название Санкт-Петербург – здравствуйте! Все работы прекратились, производства – заводы, фабрики – остановились, начались людские безумия на площадях – с ума сойдёшь, когда послушаешь, что там говорилось. Кое-где, не у нас, танками наезжали на людей, стреляли из пушек по «белым» домам и превращали их в чёрные; любой кремль могли бы сровнять с землёй; уйма президентов появлялась-исчезала незнамо как. У нас в городе не дошло до танков, и президенты – не самое интересное: с начала 80-х стало вдруг много-много художников, выставки сменяли одна другую, разные художественные галереи открывались, и никто не ставил никаких преград, не то что раньше и всегда. Так проявлялась свобода творчества, небывалая никогда прежде. Именно в то время прозвучал, будто слыше, разумный голос мэра города А. Собчака: создать городской художественный музей. Название «мэр» слишком новое – прежде был председатель горсовета.

Идея городского художественного музея, рождённая ЧЕТВЁРТОЙ революцией, полыхала над городом много лет, пронеслась через миллениум и в декабре 2015 г. жар-птицей села на канале Грибоедова, 103. Возник Музей искусства Санкт-Петербурга XX – XXI веков (МИСП) в качестве филиала Центрального выставочного зала «Манеж».

В нашей квартире раздался звонок. Открываю – трое молодых людей вполне интеллектуального вида:

– Можно? – чуть с акцентом.

– Пожалуйста!

Зашли и пошли по квартире туда и сюда. У нас на стенах висят живописные картины – все стены завешены. Они полоснули по картинам разочарованными взглядами и разговорились между собой «по-американски».

Сын с бабушкой вышли поглядеть, кто к нам пришёл, и начали громко ругать меня по-русски: зачем впускаю неизвестно кого. Хозяин картин в это время лежал у себя на кровати, писал карандашом на листах, уложенных на книжку большого формата с твёрдой, как доска, обложкой – я помню

название: «О Яне, что сапоги тачал собакам», – как всегда, не обращал внимания на разноголосицу за стеной, будто не слышал или не его дело. Он, бывает, ночами лёжа пишет и сбрасывает исписанные листки на пол. Придётся утром – весь пол забросан листами, а писатель спит. Сложишь страницы одну к другой и начинаешь разбираться – такая работа. Иностранцы разочаровались, будто не туда попали или кто-то до них тут успел побывать: они кучкой направились к выходу.

Провожая, я слышала за спиной, как ругают меня родные:

– Впускаешь в квартиру разных гопников!

Я спросила по-американски:

– Ху из ху?

– Мы – мормоны, – сказали они почти по-русски. – Знаете? Не-е-е... – дверь захлопнулась.

Ну как нам не знать мормонов? Мы себя не знаем, а про американских индейцев и мормонов досконально начитаны: что вы хотите – самая читающая страна в мире! Некоторым парням по сорок лет – мужики, – а всё строят вигвамы, играют в индейцев. И про мормонов знаем: любопытная религиозная секта, в Америке они бесплодную пустыню превратили в цветущий сад. К нам, с картинками, они попали будто в готовый цветущий сад, нет тут для них пустыни или, может, подумали, другие мормоны раньше них поработали.

Мормоны могли бы наш нахмуренный в то время Петербург превратить в весёлый Лас-Вегас. А наш спальный район бесспорно под Вегас подошёл бы больше всего...

Что откуда пришло и куда зашло, сразу никогда не поймёшь, что к чему. «Задним умом» в основном кумекаем, правдивой информации никогда не хватает...

Оказалось, «президент на танке», самая яркая фигура революции 90-х годов, и его либералы готовили страну под американское управление, с удовольствием ложились под глобальный американский каток. Нас уже кормили «ножками Буша», поили кока- и пепси-колой. Наши птицефабрики «сдохли» от бескормицы. А мормоны-немормоны засылались к нам в качестве «агентов влияния» для работы с населением на бытовом уровне.

Невероятно, как другому президенту удаюсь поставить перед неумолимым катком жёсткий шлагбаум. Как удалось? Снова «задний ум» придётся включать. Весь мир вместе с нашими либералами после этого нас возненавидели: рвут и мечут, готовы «дураков»-нелибералов разорвать собственными руками, лютой ненавистью нас презирают. На международном уровне разговаривают только «с позиции силы»: сила есть – ума не надо! Обложили нас санкциями.

Всё же здорово: наши «дураки» не сдались, не отдали самостоятельность. Национальная независимость придаёт теперь нам веры в самих себя. Казалось: мы независимы – так приятно! Человек природное существо, чувство личной свободы естественно, как у дерева, травы, у тумана...

Может, и бурный поток художников до сих пор с 80-х неостановим, потому что люди поверили в самих себя, в собственный талант, а побудили их к свободомыслию «шестидесятники». Я вспоминаю 50–60-е гг. XX века: в изобразительном искусстве «ничего было нельзя, кроме того, что можно». Соцарт требовал той же восторженности, что и революционные лозунги. За «сдвиг» в каком-либо направлении из Академии художеств отчисляли. Художников тогда не было так много, как сейчас. Но они упорно отстаивали свою индивидуальность и звание художник заставляли уважать, кое-кому это стоило жизни.

Олег Целков поступил в 1955 году в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина и в том же году исключён за «формализм». Этот «формализм» был тогда главной бедой художников: «кто не с нами, тот против нас» – известное дело. Какое-то время он работал в Театре Комедии в Ленинграде, переехал в Москву, про него уже пишут: «художник-модернист с индивидуальной мифологией»; главное опорное слово во фразе «индивидуальной» – так будет во Франции и везде, куда занесёт его движение жизни. Наше тотально коллективистское общество отказывало человеку в самостоятельности мышления: всегда от художника, писателя требовали опираться на традиции, приписывали учителей, от кого оттолкнулся в своей работе, обязательно с кем-нибудь похожим-непохожим сравнивают – иначе понять не могут. К нам навсегда приклеилась «академическая» практика привлекать высказывания известных людей о чьей-нибудь работе, чтобы не выражать своего мнения и не отвечать за него. Но кто согласился бы быть названным учителем беспощадно злого художника, как Целков? Да и традиции никакой для него не существовало. Да и на определение «злой» он не согласен – он САМЫЙ злой в мире. Целков сам определяет своё творчество красноречиво и неожиданно для всех: «Я написал портрет всеобщий, вселенский – всех вместе в одном облике. Не лицо, не личину – ЛИК, притом до ужаса знакомый».

Самые злые символы о несовершенстве, ничтожестве, злобе, глупости, примитивизме человечества изобразил он и без сомнения уверен в своей правоте. Как никто другой, он заметил отсутствие в людях индивидуальности, неустойчивое, колеблющееся сознание. Люди не знают самих себя, но сосредоточены только на себе всё время. На этом стоит юмористическая или гротесковая мифология, изображённая живописными средствами в ошеломительных холстах. Нет для него ни учителей, ни традиций.

Индивидуалист-шестидесятник, каких никогда не было в России: в 60-е был неповторим, до сих пор таким остался – в искусстве неповторимость самое главное.

Виктор Голявкин в своей книге «Большие скорости» (роман, рассказы. Л.: Сов. писатель, 1988.) написал о своём друге Минасе Аветисяне, армянском живописце – они одновременно учились в академии.

«...В Ереване в мастерской у Минаса было очень много хороших живописных работ. Горячие краски, мощная темпераментность. Если величие художника взвешивать на весах сравнений, то открытости и накалу его красок

трудно найти равный противовес. Он делал самое главное – Живопись. Он вернул живописи цвет. Я видел, как он проработал в себе многие мировые художественные школы, но не стал рабом ни одной традиции... Он стал сам по себе, ни на кого не похож, абсолютен... он писал мать, отца, самого себя, милых родных и знакомых людей – воплощал живописную идею, не слишком абстрагируясь от натуры. Он свободно воплощал яркими чистыми красками в композиции психологические состояния портретируемых, своё настроение и состояние духа. Чисто, пластично и уважительно писал руки».

Казалось, он ладит с окружающим миром. Но в 1972 году кто-то поджёт его мастерскую с отобранными для персональной выставки лучшими работами, пока Минас ездил к родителям в свою деревню Джаджур... Сорокасемилетний художник после гибели своих картин постоянно предчувствовал собственную гибель. Видимо, что-то или кто-то постоянно ему угрожали...

За ним охотилась частная машина, настигла его на пешеходной части тротуара, сбила и беспощадно смяла своими проклятыми колёсами... 26 февраля 1975 года Минас умер. А после смерти был назван «гениальным живописцем – национальным достоянием». Такова судьба другого шестидесятника.

Теперь о художнике, картины которого на стенах спасли нас от неминуемых наставлений мормонов. Учась в Академии, Голявкин понимал безнадежность самовыражения в общепринятой тогда художественной среде. Виктор Голявкин начинает свою ни на что не похожую литературу: «Я пишу странные рассказы», – говорил он молодым интеллектуалам, окружавшим его послушать юмористические рассказы. Позже его рассказы назвали «магическим реализмом» – они задавали новое направление художественной мысли в литературе, принесли юмор, иронию, самоиронию. Голявкин относился к людям бережно, потому юмор у него «мягкий», а смежные персонажи очаровательны как дети. Когда «взрослые» рассказы оказывались слишком острыми для издания, он писал рассказы для детей. Повесть «Мой добрый папа», написанную от лица ребёнка, посвящённую Отцам и Детям Великой Отечественной войны, знает любой первоклассник; роман «Арфа и бокс» о юноше в преддверии взрослости, как ломает его перед тем, как пойдёт «в художники», и многое другое. Но Виктор Голявкин никогда не оставлял живопись: не суетился перед выставками, просто вешал очередную работу на стену у себя дома и спокойно работал дальше.

Я с восторгом восприняла организацию Музея искусства Санкт-Петербурга XX – XXI веков (МИСП) и в 2016 году, когда стало совсем некому ругать меня или одобрять, подарила музею 24 живописных полотна Виктора Голявкина. Там выставки сменяют одна другую, ленинградцы-петербуржцы смогут увидеть и живопись Виктора Голявкина, искусство Санкт-Петербурга не сможет быть верно осмыслено без художника-шестидесятника.

Восторги не унимаются: ЧЕТВЁРТАЯ революция обошла в нашем городе без танков; Ленинград был переименован в Санкт-Петербург и создан городской художественный музей XX – XXI веков; мы остались жить в

независимом государстве. Жаль только: ЧЕТВЁРТАЯ революция успела уничтожить отечественное производство и возродить скоро не получается. Молодые и старые люди носят на теле одежду с надписями и наклейками иностранных корпораций – выглядят нелепо и антихудожественно.

Сама я из 60-х годов, поклонница ярких индивидуальностей художников 60–70-х гг. XX века.

Но теперь есть кому разбираться в искусстве кроме меня – Музей современного искусства на канале Грибоедова, 103, под руководством опытного грамотного искусствоведа-собиранья Марины Джигарханян: она знает художников, любит их профессиональной художественной любовью: о картине, как никто другой, она знает достойные уважительные слова и с художественной индивидуальностью разберётся.

Марина Борисовна говорит:

– Оригинальный, уникальный с точки зрения коллекции музей: представляет только искусство и культуру Петербурга. У нас свои традиции, такой коллекции больше нигде нет. У нас задача отслеживать историю Петербурга с точки зрения XX века.

– Великолепный Музей! У музея большое будущее, для экспозиции у нас – Центральный выставочный зал, – вторит сотрудник музея Станислав.

– Музей только разворачивается, – оптимистично говорят сотрудники музея на канале Грибоедова, 103.

Восторги после ЧЕТВЁРТОЙ революции оказались в городе неожиданнее, интереснее, чем после прежних трёх революций, свободное искусство вышло на первый план интересов.





Александр Медведев

**ЧЕЛОВЕК НА МОСТУ**

*Мысли по прочтении книги Вячеслава Овсянникова «В тени Водолея»*

Водолей – знак гениев.

Водолей – совокупность ангела и дьявола.



## I

**З**нак есть результат своеобразного договора между людьми, когда изображение начинает означать сверх очевидного нечто ещё. Люди видят мир собранием знаков, широко понимаемых и тайных. Одни неизменны, о других время толкует расширенно. Трактовка зависит и от личности, читающей знаки. Греки раскрашивали мраморных богов, любопытство побуждает представить статуи в цвете, но вкус и обаяние тайны возвращают к белизне, уводя от натурализма, – современная палитра не равна древней. Да и греки воспринимаются знаково, в преломлении классических изваяний, поскольку людей безукоризненно сложенных не сыскать и в античности (Плиний Старший извещал о скульпторе, находившем канонические пропорции образа в сумме деталей внешности пяти-шести моделей).

## II

Где нет условности, там нет искусства. Условность – результат усилий. Не многие дерзают стирать случайные черты, желая видеть мир прекрасным, ибо мир и так прельщает неисчислимыми вариациями линий, красок и тонов. К тому же мистик скажет: нет ничего случайного, а прагматик добавит – и запас карман не трёт. Не исключено, что их советы помогут создать гениальное произведение, ведь и бессмыслица бывает гениальна. Однако, если люди (всё ещё!) ищут смысл в безграничной жизни, то почему бы не искать его и в искусстве, продукте ограничений? Ищут – особо тщательно. И чем меньше в произведении детективного, приключенческого, морализаторского и игривого груза прописных истин, тем с большим увлечением в нём отыскивают скрытые смыслы, знаки, созвучные неуловимому времени, а то и опережающие его. Вспомним, чьи пьесы не сходят с европейской сцены, несмотря на отсутствие в них интригующего сюжета и мигающих маячков фрейдистских комплексов? Фрейд не обратил внимания на Чехова, возможно, лишь по причине глубокого погружения в ярко-фабульные истории болезней «стационара Достоевского». Иронией Пушкина по поводу читателя, ждущего определённую рифму, и поэта, всегда готового дарить её, можно объяснить популярность произведений в духе Достоевского – интрига чётко обозначена и разворачивается предсказуемо. Чеховский метод иной. Обычно дело идёт о жизни, как о напрасном ожидании после *мороза роз*, и потому не все читатели охотно принимают *цветы запоздалые* приглушённого колорита лаконичного письма о чём-то несостоявшемся. Впрочем, данный метод не ведёт к снобизму, серьёзный писатель не почтёт зазорным зарифмовать висящее на стене ружьё и последующий выстрел – *на вот, лови его скорей!*..

## III

Писатель Вячеслав Овсянников владеет выразительными средствами, чтобы вызвать и поддержать интерес читателя – *развешенные им ружья в свой час безотказно стреляют*. Структура его рассказов и повестей напоминает взведённую пружину, притворившуюся плоской спиралью. Стилистический завиток вальсирующего письма внезапно возносит читателя в сферы поэзии и также внезапно низвергает в бездну низких истин так называемой правды жизни. «В тени Водолея» (2017) амплитуда колебаний этой пружины сложнее, и прочитывается многослойной каллиграфией пульса человека – в покое, волнении, в боли, тоске и радости. Широко используемый приём «рассказа в рассказе» у Овсянникова получает форму сюиты – концентрированных эскизов состояний природы и души лирического героя с неизбывными мечтами о загадках Слова и Звука и покорностью закону «довлеет дневи злоба его» (довольно для каждого дня своей заботы). Эскизов пёстрых, но связанных общей художественной мыслью. Автор переносит центр тяжести повествования с развития события на бессобытийное течение жизни. Начинаясь действия не получают ожидаемого завершения, картины жизни пишутся словно по логике сновидения, то есть в отсутствии таковой. Однако произведение держит довольно прочное связующее, пространство и время «В тени Водолея» связаны орнаментально. Так человек, глядя на реку с моста, в какой-то момент начнёт ощущать себя в движении; течением мысли он уносится то в прошлое, то в будущее, и едва не растворившись в их соединении – в открытом Овсянникове Никогдавле – вдруг очнётся стоящим на мосту, но совершенно не той реки и в ином году. В этот орнамент тонко вплетены узелки Достоевского, те леденящие душу его героев ощущения двойничества, которое исходит от города, расцепляя божественное равновесие светотени, когда уже пугает не только тень, но и свет блазнится люциферовым маревом.

«Медный Всадник – мы все находимся в вибрации его меди. Петербург лежит почти на 60 параллели. Эта параллель – критичная для самого существования человека. У живущих на ней состояние психики всё время напряжённое, тревожное, сон сбивается. Границы реального и погустороннего размыты. Невротическое состояние, напряжённое ожидание неизвестного, неопределённость границ возможного и невозможного порождает пограничные феномены психики, близкие к галлюцинациям».

Внимание с внешних коллизий – *висящего ружья* – перенесено автором на психологию героев, на их настроение, чувства и переживания эмоционального напряжения от аритмии – *беззвучных выстрелов* – реального и воображаемого. О характере, образе мыслей героев сообщается опосредованно: в письме Овсянникова получает калейдоскопическое отражение *блеск осколка*, вместившего лунную ночь, набирает обертоны *звук лопнувшей струны*, вестник скорых перемен. О героях рассказывает отражённый в реке или в окне электрички или в бокале вина мир

бессмысленных, случайных форм, близких к натурализму, если бы не намеченные писателем пути к обобщениям, то есть к знакам. Внутренний монолог произведения дан через деталь. Повседневность фиксируется как сложная композиция безграничности внешнего мира, видимая реакция на его проявления, и безграничности «Я» в мировом культурном расширении. Композиция динамична, неохватное «Я» в потоке быстротечного времени – не яркий ли это знак одиночества? Каким бы путём ни шёл писатель, наследуя тому ли, другому гению, ему не миновать темы состояния *один в ночи*. Бесконечные проявления одиночества – основной художественный конфликт «В тени Водолея» Вячеслава Овсянникова.

«Вижу перед собой образ другого себя. Этот другой стоит на последней, седьмой ступени; он смотрит на меня с высоты лестницы грустным взглядом. Он прощается. Он говорит: книга написана. Книга для всех и ни для кого. Твоя и моя, наша с тобой книга. Поворачивается спиной и уходит в неё, в книгу, в её призрачную, мглистую даль, и там исчезает».

#### IV

Рваная, шероховатая, гибкая и звенящая – линия, которую своими произведениями ведут авторы, в итоге спрессуется в короткую горизонталь – тире в датах жизни. Читатель увидит её олицетворением реки времени. В её воды входит он вслед автору и пересекает её. Возникает вертикальная линия – «стоящий человечек» – мост между верхним и нижним миром. В целом же получается крест, знак материального мира, вещиности, четырёх стихий. Но и не только. Крест – животворящий – возвещает, что страдание предваряет воскресение. А это уже вопрос веры. И писательской – надежды.



# **Геннадий Муриков**

## **ДНЕВНИК КРИТИКА. 2014**

### **Мир иллюзорный и реальный**

Владимира Сорокина «Теллурия» (М., 2013)!

Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников» (СПб, 201

Лилии Абдрахмановой «Биография табуретки» (СПб, 2014),

## **ДНЕВНИК КРИТИКА. 2016, №4**

### **История с точки зрения современности**

Сергей Шаповалов «И умереть мы обещали» (СПб, 2015 г.).

М. Н. Колотило «Азбука "Алконоста"» (СПб, 2015 г.).

«Любовь как всемирное притяжение» (СПб, 2016 г.).



## ДНЕВНИК КРИТИКА 2014

### Мир иллюзорный и реальный

Чего только нет в новом романе Владимира Сорокина «Теллурия» (М., 2013)! Здесь и люди с песьими головами, и кентавры, и великаны на службе у карликов и невиданные существа вроде «фаллических организмов», разного рода зооморфы и даже оживший во плоти уроборос: vbelomvenchikeizgrozperediuorobos (последний персонаж – пародия на личность и творчество В. Пелевина), и многое, многое другое... Всё это существует в особом мире бытия – небытия, то есть сказки, смешанной с футуристической социальной фантастикой. По всем правилам пост-модернизма – окрошка из скрытых цитат, двусмысленных намёков, едкой сатиры по поводу советской и постсоветской реальности и откровенного хохмачества, которого у В. Сорокина всегда хватало.

Порезать содержание этого остроумно-издевательского романа-памфлета или даже как-то намекнуть на его смысл совершенно невозможно, да и не нужно, так как автор постоянно подсмеивается над любым возможным «серьёзным» толкованием и над самим читателем, всё время оставаясь в рамках знаменитой со времён М. Бахтина «смеховой культуры». Но читать роман необычайно интересно и, начав, уже не оторвёшься. В карнавальном мире В. Сорокина, кажется, возможно даже невозможное, настолько свободны и раскованны мысль и слово писателя. Понимать смысл произведения можно самым различным, даже противоположным образом, но одно ясно вполне – перед нами ёрническая, фантазийная, грустная и смешная одновременно, но всё же притча о житье-бытье человеческом.

Условное действие романа разворачивается в таком же условном 2049 году, когда после ряда войн, мусульманских нашествий, ваххабитских революций и салафитских переворотов распалась традиционная европейская цивилизация. Распалась на полтора десятка полунезависимых княжеств, ханств, республик и диктатур также и Россия. «Имперское сердце её остановилось». Произошло это усилиями новой «Троицы», Трёх Великих Лысых – «Володеньки, Мишеньки и Вовочки»: «Первый из них ..., лукавый такой, с бородкой, разрушил Российскую империю, второй, в очках и с пятном на лысине, развалил СССР, а этот, с маленьким подбородком, угробил страшную страну по имени Российская Федерация» (с. 369).

И вот в новом, «свободном» мире – почти по М. Булгакову, но с должной поправкой на историческую перспективу – свободно развивается всякая чертовщина, а основные усилия общество направляет на воплощение в реальность вековой мечты о всемирном и всеобщем счастье. Достигается оно, правда, теперь уже не общественным строем «социальной справедливости» и не мистическими поисками Беловодья и Шамбалы, а обладанием неким новым супер-наркотиком, – теллуrom, – который и приносит это желанное счастье жаждущим и страждущим: «Он возбуждает в мозгу нашем самые сокровенные желания, самые лелеемые мечты... Божественный теллуr даёт не эйфорию, не спазм удовольствия,

не кайф и не банальный радужный торч. Теллур дарует вам целый мир» (с. 409-410).

Добывают этот теллур в одном из построссийских «государств» – Теллурии – и распространяют его в форме гвоздей особые, строго замкнутые общества – касты, названные в романе «плотниками» и имеющие право вбивать эти гвозди в головы искателей счастья. Чтобы было яснее, кто эти «плотники», автор подчёркивает, что они обряжены в ритуальные фартуки. Да! Много интересного случилось в Московии с тех пор, как «Трёхпалый Вор на танке в Москву въехал» (с. 321). Это потом уже там образовалось новое царство с опричниками, власть в котором принадлежит «православным коммунистам», а где-то в Приуралье образовалась Сталинская Советская Социалистическая Республика – СССР, созданная усилиями не кого-нибудь, а московских олигархов – сталинистов. Там с помощью мастеров – теллуристов можно стало даже «встретиться» с вождём, разумеется, в особом «теллурическом» (виртуальном) мире...

Роман состоит из 50 самостоятельных рассказов-новелл, в которых В. Сорокин даёт волю своему виртуозному стилистическому мастерству и насмешке, так же, как и воображению. Интересное произведение, может, даже лучшее из всего, написанного этим автором, кстати, тоже членом Союза писателей России.

\* \* \*

Книга Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников» (СПб, 2014), вышедшая в серии «Санкт-Петербург. Тайны, мифы, легенды», была так масштабно и всесторонне разрекламирована в петербургских СМИ и даже на рекламных придорожных щитах, что сразу стало ясно, – даже не очень подготовленному читателю: автор с властями нашего города в самых, что ни на есть прекрасных отношениях, что человек он исключительно «свой» или, как говорят в таких кругах, «наш». В общем, по гоголевскому определению, человек не просто «приятный», но «приятный во всех отношениях».

Иные скептики скажут: может это и хорошо, что у нас как бы свой Демьян Бедный появился (не совсем, но всё-таки Придворов). Тем более, что С.Носов прозаик, а не какой-то фигляр, пишет хорошо и популярен, да и был финалистом Российского Букера в 2001 году. Сразу видно – человек «успешный», а это дорогого стоит. К тому же и реклама для города не то, что какие-то Веллеры со своими «легендами». Дескать, мы тоже не лыком шиты, и у нас есть свои «тайновидцы», да и материал собран большой и необычный. С этим предполагаемым возражением я заранее согласен на сто процентов.

Перед нами сугубо пиаровская рекламная книга – нечто вроде сборника анекдотов на исторические темы, большей частью сочинённых самим автором, с явной целью покрасоваться и подурочить читателя.

Например, скажем, почему на памятнике Г.В.Плеханову у Техноложки скульптор изваял две фигуры? С. Носов даёт такой «ироничный» ответ: нижняя фигура, изображающая рабочего, – это и есть Плеханов в молодости, а та, что наверху, за кафедрой, – обобщённый символ марксизма. Так-то! Смешно? По-моему, не очень, зато заковыристо придумано!

Или такое тонкое наблюдение: фигура Тургенева (памятник писателю в Старо-Манежном сквере) обращена лицом к киоску, в котором продают блины. Автор глубокомысленно заключает: «Оба они, киоск и памятник, представляют своего рода ансамбль» (стр. 52), смысл которого по гипотезе Носова в том, что Тургенев как бы хочет крикнуть: «Блин!». Тоже весьма остроумно.

А вот почему взгляд Грибоедова на памятнике у ТЮЗа задумчиво устремлён вдоль Гороховой улицы куда-то к Адмиралтейству? Оказывается потому, что «левая нога у него немного подвёрнута...», это не что иное, как судорога. Судорогой сводит левую ногу Грибоедова» (стр. 134). Этот очерк так и назван: «Ногу свело». По-видимому, писатель часто слушает песни одноимённой группы.

И так далее. Рекомендую всем прочитать эту книгу – радикальное средство против судорог. Книга издана при поддержке Комитета по печати Санкт-Петербурга.

\* \* \*

Последней книгой Лилии Абдрахмановой «Биография табуретки» (СПб, 2014), вышедшей на следующий день после её смерти, стали автобиографические заметки о литературном и танцевальном творчестве, как бы подводящие итог её жизни.

Лилия Абдрахманова – человек необычный, даже уникальный. Ей удалось – я ручаюсь за это заявление – сделать саму свою жизнь формой искусства. Вот такой своеобразный жанр – жизнь.

Часто говорят, что талантливый человек талантлив во всём, но, тем не менее, далеко не часто встретишь артиста, танцовщика, поэта и музыканта в одном лице. А Лилия (буду так её попросту называть в знак давней дружбы) именно такова. Ей удалось почти невозможное – создать настолько цельный образ своего «я», что в нём как бы и нет ничего «лишнего». Всё складывается в единое творческое целое, а потому словно просвечивается каким-то таинственным светом. Не знаю, дано ли это удивительное качество от природы или выработано внутренней работой на протяжении многих лет (скорее всего, и то, и другое), но факт остаётся фактом.

Перед нами не просто Лилия Абдрахманова, но ЛИЛИЯ в каком-то особом смысле – как цветок искусства и жизни и одновременно – некий «душой исполненный полёт», потому что крылённость – это самое главное качество Лилии, без которого, конечно же, и её стихи, и проза немислимы.

Такой стиль жизни (а, как известно, «человек – это стиль») сам собой предполагает предельную самоотдачу. Автор смотрит на жизнь глазами, полными радости и гордости. Здесь гордость – не какая-то «законная гордость», а высокое чувство самоопределения человека искусства, сделавшего искусством само своё существование.

«В идеале поэт стремится передать свой внутренний мир, своё мироощущение». Конечно, стремится, милая Лилия, но совсем уж в идеале поэт и есть само искусство – и у вас, особенно в этой книге, так и получилось.



Я вылью шумно воду из корыта,  
Скручу в спираль тяжёлый ком белья,  
Пытаясь выжать каплю Бытия  
Из мелкого застиранного быта.

Одна из подглавок книги названа «Космический танец – жизнь». Тут есть о чём подумать.

Проза, стихи, танец – жизнь и судьба Лилии Абдрахмановой, прекрасная и волнующая. Такой она и останется в нашей памяти.

16.11.2014

## **ДНЕВНИК КРИТИКА 2016 №4**

### **История с точки зрения современности**

Сергей Шаповалов «И умереть мы обещали» (СПб, 2015 г.). Талантливый и симпатичный человек, Серёжа Шаповалов решил углубиться в проблемы истории Наполеоновского нашествия и немножко пососедиться со Львом Толстым (скорее всего не поравняться, но подумать на ту же самую тему). Лев Толстой писал как бы для своих знакомых, друзей, людей своего круга. Многие узнавали себя в его образах, что было им иногда приятно, иногда неприятно, порой даже возникали конфликты. Конечно, Лев Толстой не охватил весь масштаб тогдашнего конфликта. В чём-то его подправил историк-писатель Г.П. Данилевский, написавший роман на ту же тему.

С. Шаповалов поступает по-другому. Вот как он пишет: «Вьюга бушевала уже второй день, и мы никак не могли выехать из монастыря. Отец беспокойно мерил шагами тёмную трапезную залу. Мама вверху, в отведённой нам келье читала сёстрам "Житие святых" под мерное гудение пламени в печи. Я умирал от скуки, листая старинную монастырскую книгу в кожаном потёртом переплёте...» (с. 14). Уважаемый читатель, не напоминает ли вам это сочинения несколько подзабытого ныне автора, бывшего декабриста Бестужева-Марлинского, который писал для волнующихся девушек своего времени?

Роман Шаповалова адресован подросткам, которые, то ли читали, то ли не читали «Всадника без головы», «Остров сокровищ», «Пятнадцатилетнего капитана» и т.д. Герой романа С. Шаповалова некий юноша 13-14 –и лет попадает в горнило тогдашней мировой схватки, рубит налево и направо французских гренадёров. Стреляет, как снайпер, участвует в кавалерийских атаках, лично знакомится со всеми героями войны: Багратионом, Милорадовичем... Пару раз выпивает вместе с Кутузовым, причём последний признаётся ему в участии в масонской ложе. Поскольку же главный герой время от времени доставляет ему несколько бутылок вина, то Кутузов и вовсе настолько «рассиропливается» перед этим мальчишкой, что не может скрыть от него разных тайных замыслов.

Впрочем, всё кончается хорошо, и герой, достигший уже четырнадцатилетнего возраста, побеждает всех врагов и остаётся в живых.

Если автор хочет последовать по пути Б. Акунина, поднаторевшего в таких штучках, которые он называет «историческими параллелями», то мы можем ждать продолжения этого «сериала». Это роман-лубок. Такого типа сочинения выходили и раньше, например, разные беллетристические повести о похождениях казака К. Крючкова. Это вовсе не в укор автору. Книги такого рода для детей и подростков будут весьма интересными.

-----

Сменим тему. В серии книг «Толстовский дом» вышла книга М. Н. Колотило «Азбука "Алконоста"» (СПб, 2015 г.).

Эта книга – альбом принадлежит к той замечательной серии публикаций, которые являются великолепными свидетельствами культуры Серебряного века. В качестве эпиграфа к этой книге хочется лишний раз процитировать знаменитые стихи А. Блока, приведённые там:

Предвечным ужасов объят,  
 Прекрасный лик горит любовью,  
 Но вещей правдою звучат  
 Уста, запёкшиеся кровью!..

«Уста запёкшиеся кровью»... Да! Это о судьбе русской культуры времён Серебряного века, Октябрьской революции и последовавших тяжёлых годов.

Автор включила в книгу многочисленные публикации по самым разнообразным темам событий той эпохи. Есть очерки об Андрее Белом, Алянском, журнале «Весь», даже о художнике-мемуаристе Юрии Анненкове, о Фёдоре Сологубе, причём все эти очерки по прихотливому замыслу автора сгруппированы по буквам дореволюционного русского алфавита. Может быть, кому-то из читателей будет интересно узнать, что слово Фёдор писалось через букву ѳ (фита). Автор пишет любопытно. Огромное количество иллюстраций делает книгу крайне привлекательной для широкого круга читателей. Это очень интересное издание с целью привлечь внимание к культуре Петербурга начала XX века, связанной с мемориальными местами нашего города, в частности с Толстовским домом. Многие ли современные петербуржцы знают историю этого дома? Ответ: это шестиэтажное здание на улице Рубинштейна 15-17, выходящее на набережную Фонтанки. Некоторые вопросы, подчас весьма таинственные, раскрывает М. Н. Колотило. Иными словами, чем дальше в лес, тем больше интересных ситуаций. Рекомендую эту книгу читателям разного возраста.

-----

Последнее, о чем хочу я сказать, – это новая книга Василия Чернышёва «Любовь как всемирное притяжение» (СПб, 2016 г.). Она начинается так: «Посвящается \*\*\*». Вот такая любовь. Василию Ивановичу уже за 60, а он ещё до сих пор скрывает свою любовь под тремя звёздочками. В чём состоит и к кому направлена эта таинственная любовь? Автор отвечает так: «Я пытаюсь понять несколько вещей, от которых зависит моя жизнь: почему человек нуждается в вере и верит до умопомрачения то в Партию, то в Ленина, то в Христа, и бывает счастлив, и те, которые сегодня не представляют своей жизни без церкви, неужели не знают, что уже двадцать пять лет

назад многие не представляли своей жизни без советской власти и комсомола и были счастливы, и в церковь не ходили ни днём, ни ночью» (с. 146).

Здесь я смело могу возразить автору: двадцать пять лет спустя после революции 1917 года, то есть в 1942 году, не только «многие», но вся страна была озабочена другими задачами, чем прежде, пусть даже и симпатичное нам, царское правительство, так что вопрос вовсе не в сроках, а скорее в целях. Я не раз уже говорил, что стиль Василия Чернышёва – это поток сознания, конечно, не в том смысле, как в романе У. Фолкнера «Шум и ярость», а как интеллектуальная раздумчивая беседа то ли с самим собой, то ли с предполагаемым читателем. Этот литературный приём использован и в этой книге. Например: «Первую любовь, которую я помню (по ощущению) испытал я в двенадцать лет, это была девочка у колодца, моя ровесница» (с. 204). А на следующей странице (205) написано: «Мысль о Мире и мысль о Боге. Зачем нужен Бог? Продолжаю читать Розанова "Легенду"». Интересно, как связана любовь к девочке у колодца в 12 лет с «Легендой о Великом инквизиторе» В. Розанова? Никак. Связана только потоком сознания прихотливого автора, в котором объединяются всё и вся.

Автор пишет, как бы вступая в полемику со словами Христа: «Предает же брат брата на смерть, и отец сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Теперь ещё о моих грехах. Ни отца, ни брата, ни сына я не предавал, ни мать, ни сестру, никого из домашних. Но всех любил и о всех заботился. И перед женой, если виноват, то пусть она мне сама о том скажет» (с. 157). А позволим себе напомнить автору известные слова Св. Писания: «И враги человеку – домашние его» Мтф. 10:36. Так что ваша любовь к своему семейству, уважаемый Василий Иванович, далека от евангельских норм. Поэтому нам глубоко понятна богоборческая, а точнее – «христорборческая» направленность этой книги. Разумеется, читатели могут воспринять это по-разному.

Более или менее ясно, что некие церковнослужители осуждаются автором за то, что запрещают плотскую любовь. Но особенно трагично (для автора), что его «миленькая» не может жить «без церкви, и без священника, и без причастия», «и без них пропадёт, и для них меня бросила, и из-за них меня возненавидела» (с.146). Полноте, уважаемый автор! А может, она вас просто не любила, а нашла благовидный предлог или хотела поиздеваться, как Аполлинария Прокофьевна Сулова над В. Розановым. Не случайно же вас потянуло к творчеству этого писателя.

Повинно ли в этом всё христианство, как считал В. Розанов? Отчасти да. Но всё-таки, как нам кажется, вопрос далеко не так прост. Выше был упомянут роман Фолкнера «Шум и ярость». А ведь там тема тоже похожая: сумасшедший насилует женщину, и его убивают, но Фолкнер не ставит в вину христианской церкви ни факт сумасшествия, ни факт убийства. Зачем же обращаться к попам, если чувства важнее? Ромео и Джульетта тоже не ходили в церковь, чтобы освятить свою любовь. А что касается вопроса, греховны дети или нет, то вспомним слова Христа: будьте как дети и внидите в царствие небесное. Так что, уважаемый Василий Иванович, думаю, что вопрос пока остаётся открытым.

*Санкт-Петербург Июль 2016 г.*

# Татьяна Лестева

ДНЕВНИК КРИТИКА, 2017

## Найти и уничтожить

(О романе А. А. Проханова «Востоковед». М., 2016 г.)

---

Новый роман Александра Проханова, как и некоторые его предыдущие, задуман как боевик или, точнее сказать, как шпионский детектив. Читать его необычайно интересно, потому что главный герой – советский разведчик «востоковед» Леонид Васильевич Торобов, полковник будто бы в отставке, но снова призванный на свою разведывательную службу, отправляется на поиски диверсанта Фарука Низара. Последний якобы осуществил диверсию российского самолёта над Синаем, при которой погибли свыше двухсот тридцати пассажиров. Существовал ли такой Фарук Низар, неизвестно, но из текста романа следует, что он один из организаторов Исламского государства ИГИЛ, запрещённого в России. Но главным в сюжете романа является то, что президент России дал личное поручение спецслужбам уничтожить диверсанта. Для выполнения этого спецзадания на службу вызывается вышедший в отставку по возрасту разведчик – спецagent, лично знакомый с Фаруком Низаром по прошлой деятельности: найти и уничтожить. Такие приказы не обсуждаются, а выполняются любой ценой.

В соответствии с жанром экшн в романе одно событие сменяется другим, благо, что многолетний опыт предыдущей жизни разведчика – востоковеда Торобова и многогранная журналистская судьба Александра Проханова, позволяют весьма достоверно описать те страны, города и веси, где побывал в разные годы своей жизни автор. Герой романа – человек, уставший от постоянной смены масок, опаснейших приключений – разведчик в отставке, человек одинокий, у которого умерла жена, а выросшие и обзаведшиеся семьями дети весьма далеки от отца. Проханов не был бы Прохановым, если бы его герой не был бы правоверным христианином, обращавшимся с молитвами к всевышнему в самые опасные минуты его жизни. Простим ему это, свобода совести – это конституционное право каждого россиянина. Возможно, это вклад его личного «я» в душу героя, в котором, исключая остросюжетную фабулу романа, видятся автобиографические события и черты писателя, его личного восприятия природы, обычаев, жителей стран кипящего Ближнего Востока. И это ярко метафорическое описание жизни и быта не менее интересно читателю, чем развитие остросюжетного шпионского романа.

Герой романа – патриот России, человек долга. Какими бы ни были его предвидения об опасности и невыполнимости задания, каковым бы ни было его самочувствие («Я не могу. Я не молод. Не хочу возвращаться к прежнему»), но он через тернии идёт к поставленной цели – найти и уничтожить террориста. В этом помогают ему периодически возникающие в его памяти точно кинематографические кадры падения взорванного над Синаем русского самолёта: *«У самолёта медленно отламывался хвост, и люди сыпались, как семена из головки мака. Девочка вцепилась в мать, ветер рвал на обеих юбки, и казалось, они танцуют. Младенец летел рядом с люлькой, как крохотная личинка, выставив руки с растопыренными тонкими пальчиками. (...) Все они летели, осыпались, ударялись о землю, превращались в мокрые кляксы»*. Образность никогда не покидает прозу А. Проханова, впрочем, как и публицистические страницы, удачно вплетённые в ткань романа. *«Торопов слышал гул громадной воронки, в которой вращались изувеченные страны и обугленные города, регулярные армии и повстанческие отряды. Турецкая артиллерия была по сирийским горам, громя позиции курдов. Курды взрывали в Стамбуле рестораны и рынки. Растерзанная Ливия походила на тушу с окровавленными костями. Ирак озарялся факелами взорванных нефтепроводов. Ливан посылал отряды Хизбаллы под Алеппо, получал назад завернутые в саваны трупы. Русская авиация взлетала из Латакии, взрывала ИГИЛ, и отряды Джабхат-Нусра жгли христианские храмы. Агенты спецслужб сновали по воюющим странам, проводя караваны с оружием, устраняя неудобных правителей. Ближний Восток был похож на огромный котёл, в котором пузырилось жирное варево, всплывали обломки стран, раздробленные кости городов, гибнущие в муке народы»*.

И вот в этот огромный котёл попадает русский полковник Торобов, который должен использовать весь свой опыт, все свои личные связи с самыми различными людьми, весь свой ум, интуицию и предвидение для *победного* решения поставленной президентом задачи. Герой романа идёт к цели вопреки предательству тех лиц, с которыми он раньше сотрудничал. И первым его предаёт профессор Иерусалимского университета Шимон Брауде, курсировавший *«... между Москвой и Иерусалимом, искусно продвигая через еврейские круги политические интересы Израиля»*. Вот почему с первых минут вояжа разведчика по разным странам от Бельгии, Ливана, Египта, Турции до Сирии за ним идёт постоянная слежка. Но о предательстве герой романа узнаёт только на его последних страницах от Фарука Низара, встреча с которым вопреки всем преградам – арестам, тюрьме – всё-таки состоялась: *«Израильская разведка, к которой ты обратился за помощью, очень коварна. Ни один еврейский самолёт не взлетел с аэродрома Хайфы, и ни одна еврейская бомба не упала на еврейское государство. А “Исламское государство” не взорвала ни одной синагоги. (...) Израильская разведка запустила свой корень в разведку НАТО и в спецслужбы Бельгии. Брюссель не то место, где следует обсуждать с аналитиками НАТО местонахождение Фарука Низара»*. Так поучает «дорогого Леонида» «дорогой Фарук» прежде, чем дать приказ его убить.

А. Проханов вкладывает в уста игиловца Низара обвинение против американцев, разрушивших благоденствующий Ирак, и то, что их политика на Ближнем Востоке привела к созданию ИГИЛа. И снова тема предательства: *«Нас погубили предатели в гвардии и разведке. Саддам Хусейн до последнего не верил, что его предадут любимые генералы. Что они пустят американцев в Багдад. Он не верил даже тогда, когда на него надевали петлю. (...) Меня взяли в плен под Киркуком. И я год просидел в Гуантанамо вместе с моими друзьями-офицерами. Нас пытали (...) вкалывали препараты (...) страшнее которых я не знаю. Я согласился сотрудничать с американцами. Как и некоторые мои друзья. Американцы завербовали нас. Создали сеть диверсионно-разведывательных групп и перебросили в Сирию. Они дали нам деньги, оружие, и мы начали войну против Башара Асада. Но очень скоро мы истребили наших американских кураторов и с помощью богословов, историков и гениев разведки создали то, что теперь зовётся “Исламским госудаством”.* (...) Аллах вдохнул в него Свою волю, и оно непобедимо».

Роман-предвидение А. Проханова вышел в свет в 2016 году, но особенно актуально он звучит сегодня, когда по всему христианскому миру идут один за другим теракты, за которыми стоят исламисты «Меча пророка». В этом романе А. Проханов отметил и религиозную вражду исламистов к христианам – разрушение христианского храма, убийство священника, сцены дикого насилия над монашенками, сожжение русского пленного. Всё это описано ярко и красочно в присущем А. Проханову образном метафорическом стиле. И через все эти сцены ада идёт главный герой романа «мужественный человек, Леонид», русский полковник, разведчик Торобов. В ближневосточной эпопее войн и конфликтов, которой посвящён роман, А. Проханов, естественно, не может обойти тему героической борьбы жителей блокированного сектора Газа. Именно здесь «брат Леонид» встречается с «братом» Хабабом Забуrom. Чтобы попасть туда, Торобову приходится воспользоваться туннелем, прорытым в песках под границей между Египтом и сектором Газа, находящимся под контролем ХАМАС. *«Дно колодца было утрамбовано, от него уводил туннель. Лежал пластмассовый короб, похожий на открытый гроб. Стальной трос, привязанный к коробу, уводил в туннель. (...) Трос натянулся, дёрнулся. Узкая щель всосала Торобова. Гроб шелестел, дрожал. (...) В полном мраке, стиснутый со всех сторон, он испытал ужас. Ему показалось, что трос оборвётся, и он застрянет здесь, сдавленный могильной тьмой».* Читаешь – и мурашки по коже. Но ведь это не триллерная фантазия автора, а жизнь палестинцев, борющихся за своё государство.

Автор рассказывает о героических судьбах этих людей, о матери, у которой погибли пять сыновей в боях за возвращение своей родины Палестины, и она привела шестого: *«Вот мой последний сын. Он уже вырос. Забирай его, Хабаб. Пусть он сражается за Палестину».* Трагическая сцена с матерью, сын которой – смертник плывёт на рыбацкой лодке, чтобы взорвать израильский катер, блокирующий подходы к сектору Газа с моря. Погибает в бою с израильтянами и сын Хабаба Забура. Невозможно читать эти страницы

без чисто человеческого сочувствия этим людям. Но ведь за этими действиями стоит ИГИЛ, враг России. И особенно остро понимаешь всю тяжесть и ответственность героя романа, который должен на словах артистически, без капли фальши поддерживать преступные для россиян деяния исламистов, чтобы достичь своей цели – найти и уничтожить главаря «Меча пророка» Фарука Низара.

Предательство, да, оно идёт руку об руку с Торобовым во время его странствий в поисках Низара, путь которого пролегает там, «где гремят взрывы». Но нет, порой военное братство сохраняется. В Бейруте Торобов встречается с Гассаном Абдуллой, руководителем военной разведки Хизбаллы, с которым он сотрудничал в советское время в войне против Израиля. Гассан пошёл вместе с ним на встречу с Фаруком Низаром, первым вошёл в дом и «перехватил летящую в Торобова смерть, принял её удар на себя», тем самым оставив русского разведчика для выполнения задания Кремля.

Трагически звучат последние страницы романа, когда встреча Леонида Торобова с создателем «Меча пророка» всё-таки состоялась. Фарук Низар бросает в лицо обезоруженному Торобову обвинение в предательстве, говорит, что Россия стала «жалким хвостом американской собаки», что над ней занесён меч пророка и что он разработал операцию, когда в Москве на всех одиннадцати вокзалах одновременно прозвучат взрывы.

«– Зачем ты мне об этом сказал, Фарук? Это ставит под угрозу всю операцию. – Нет никакой угрозы. Ты об этом никому не скажешь. Ты будешь сейчас убит».

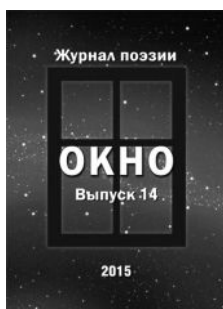
Александр Проханов оказался почти пророком: 3 апреля 2017 года была взорвана бомба в петербургском метро. Но вернёмся к сюжету романа. Торобов выполнил свою миссию, убив Фарука Низара выстрелом из авторучки с символической надписью «70 лет Победы», в которую был вмонтирован пистолет с единственной пулей. Победа? Но герой погибает и сам от выстрела охранника Низара. Типичный финал поединка добра и зла. Вспомним хотя бы Шерлока Холмса и профессора Морриарти. Победителей нет. Терроризм не остановлен. Война продолжается. И, цитируя Забура Хабаба: «Эта война не знает милосердия», что подтверждают сегодняшние ракетные бомбардировки Сирии и Ирака.

*Санкт-Петербург*

## Маргарита Токажевская

*ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА*

**ПРОЗАИЧЕСКИЕ ОТРЫВКИ**



Редакторы-учредители журнала  
Маргарита Токажевская и Мария Амфилохиева



\*\*\*

Колдует над глиной скудельник,  
И крутит пространство, и ждёт,  
Что выпадет тот понедельник,  
С которого время пойдёт.

Душа не боится бесменно  
Над поиском формы радеть,  
Пропорции новой Вселенной  
Уже начинают твердеть.

И нет окончания работе,  
И множится с небом родство,  
Неужто кувшин разобьёте,  
И кончится вдруг колдовство...

\*\*\*

Сквозь иные наважденья  
То дремотней, то ясней  
Слышу лёгкое движенье  
Хрупких солнечных теней.

Это летние узоры –  
Трепетание берёз  
И космические взоры  
Ускользящих стрекоз.

Это ласточкины крылья,  
Мрежи взрезывая дум,  
Предвещают изобилье  
Лилий в маленьком пруду.

Дом ли снится, сад ли, поле,  
Или кажется, что нет  
Ни бесчувствия, ни боли,  
Только падающий свет.

-----

\*\*\*

Висят на деревьях звёзды и окна,  
И ни одного листочка.  
Кажется, если вздохнуть или ойкнуть,  
Выкатится последняя точка  
Рассказа, повести или романа,  
И я достану ключ из потайного кармана  
Своей души, уставшей от чтенья  
Твоей души, к моей прикрепившейся тенью,  
И закрою дверь пустой библиотеки  
Навеки.

*Январь 2017*

### Рисование

Рисуя остриём карандаша  
И красками рисунки поправляя,  
Твоя неисправимая душа  
Не жаждет незаслуженного рая.

Зажжёт костёр и выбросит в огонь  
И кисти, и палитру, и мольберты,  
И чистый холст с шедеврами вдогон.  
И вспомнит чаепитие у Берты

И Бергин садик – яблоки-дички,  
Два кустика крыжовника, планету,  
Где сломанные Бертины очки  
Добавлены к китайскому ранету

И представляют, нет, не натюрморт,  
А целый мир прекраснейшей природы,  
В которой ни один предмет не мёртв –  
Ни Бертины цветы, ни бутерброды,

Ни красота, ни даже пустота,  
В которой все рисунки, неспроста  
Сожжённые – но – чтобы сохраниться  
На дальних несжигаемых страницах...

*Март 2017*

\*\*\*

Канатная фабрика принадлежала России,  
И стране в целом, и одноимённому заводу,  
Куда только ангелы мои меня не носили,  
Чтобы я не потеряла внутреннюю свободу.

Двенадцать лет до двухтысячного года,  
Ещё не разрушился Советский Союз,  
Прочнейшие стены цехов краснели гордо.  
Почему закрыли фабрику... Дай-ка позлюсь

И придумая: не стали нужны канаты,  
Парусные корабли вышли из моды,  
У матросов есть время поиграть в нарды,  
А старик-капитан, морскою болезнью измотан,  
Всё чаще задумывает садик у моря  
И домик, у которого будет сидеть на лодке,  
Выкуривая из трубки своё безмолвие.

О жизни канатной фабрики –  
лет эдак двести стенам и водокачке.  
Я почему-то принята дворником – из пустых цехов  
Выметаю и выношу на мусор  
тонны железяк и канатов, плача,  
Зарабатывая этим железом и верёвками  
на покупку моих стихов,  
На хлеб для сынишек, на их учебники,  
Которые никогда не купятся ни за что иное,  
Даже если скинутся все капитаны и все волшебники  
С ничего за душой не имеющей мною.

*Март 2017*

### Из родословной

Мой двоюродный дед Викентий Якубовский, в 20 лет попавший в сталинский лагерь недалеко от Томска, на вопрос лагерного начальника: «Кто может сделать печь для обжига кирпича?» ответил «Я». Печь сделали по его указаниям (такая была в хозяйстве его отца, мелкопоместного помещика из беловежских краёв, в 1939 году отошедших к Советскому Союзу). Викентию дали день «отпуска» в Томск. Дед был молод и отважен, в товариществе доехал до Рязани, где формировались некоторые части Войска Польского. В одном из первых боёв был ранен в ногу, – хотели ампутировать, но врач-москвич спас её (дед, живший после войны в Бельско-Бяле, курортном городе близ Кракова, до 65 лет катался с гор на лыжах). За Вислой был ранен в голову, один глаз перестал видеть. Когда я познакомилась с Викентием, ему было 70, пуля всё ещё была в его голове, но голова от этого не перестала соображать, он прекрасно знал и стихи Мицкевича на польском, ~~так~~ и стихи Пушкина на русском (в советское время преподавал русскую литературу в медицинском техникуме, изучив русский язык в лагере и на войне). Имел большое хозяйство (в Польше не была отменена собственность селян на землю), выращивал овец, фрукты и овощи, в подвале трёхэтажного австрийского особняка – шампиньоны. Страстью его жизни были кактусы. Когда он попал в больницу (в 65 лет упал с приставной лестницы, собирая фрукты, и стронулась пуля, в результате – поздняя эпилепсия, долгое лежание в больнице), родственники продали усадьбу, купили себе виллу на окраине Бельско-Бялы, а деду с его женой – маленькую квартиру. Дед выжил и простил продажу в общем-то своего имения (где он был и хозяином, и единственным работником, не считая его жены, происходящей из знатного аристократического рода, владеющей в совершенстве тремя языками, кроме родного польского). Но сказал мне: «То, что они поморозили кактусы в оранжерее, я им до сих пор не простил». Будучи ветераном Войска Польского, дед имел льготы, и только это спасло его от суда, когда, продавая собственноручно выращенную клубнику на базаре, он услышал упрёк: «У тебя, дед, весы врут!». Оскорбившим был милиционер, да ещё и в форме. Дед, всю жизнь считавший любой обман смертным грехом, сам от себя этого не ожидая, саданул милиционеру килограммовым лесорубо-крестьянским кулаком в "интеллигентную" физиономию.

Дело замаяли, списали на пулю. Да и весы были правильные!

### Заметки на ходу или в печальный час...

Государство Россия, русская вековая культурная традиция относились к языку, как к высшей святости. Только при таком отношении возможно было накопить драгоценное наследство, нам переданное дедами и отцами. Так что же, как неблагодарные дети, мы не ценим этого богатства?! Риторика, скажете. Что сотрясать воздух общими фразами?!

Хорошо, извольте, приведу пример.

Недавно открыли на шоссе Революции, 33, отделение сетевого магазина «Удачный». Муниципальный округ наш, называемый Большая Охта, не богат большими магазинами, 2-3 пятёрочки и маленькие разносортные магазинчики. Новому магазину обрадовались, тем более, что в нём ещё примостилась «Лавка пекаря» – свежий хлеб, булочки, пирожные, три столика, чтобы чай-кофе попить. Всё вкусно, недорого. Но через пару недель, дверь в дверь с оазисом добра и света (магазин чистый, с милым дизайном) нарисовался новый магазин, как оказалось, серийный, с названием... «Русалка». Не сразу я разглядела, что это магазин алкогольный и что пишется название особо цинично : «Рус Алка». Вот понимаете каждый по-своему: русский алкоголизм, русский алкоголик...или ещё как-то. А ведь под дых удар-то! Мало что с мирной булочной рядом, где ребята молодые, вежливые и опрятные за прилавком, куда дети с бабушками и мамами по пути из музыкальной школы заходят чайку попить. Так ведь по святому удар – по сказке нашей, по светлой вере в сказку. По слову русскому волшебному... Хочется спросить: кто подумал назвать так, кто оказался настолько циничным? Неужто не подумавши? Или они из тех, о коих сказано: «Не ведают, что творят». Больно вдвойне слышать и расспросы внучат: почему так назвали, там же пиво и вино (естественно, во всю витрину эти слова красуются), это же плохо, а русалка-то из сказки... Дети в недоумении. А взрослые дяди и тёти? Вспоминается и «Белый орёл», тоже ведь как прочесть... На гербе ведь красуется...

*Прим. редактора. Вспоминается и „Андроповка” (народное название) и «водка „Жириновский”» ( на этикетке)...*

\*\*\*

*Больше всего люблю читать неизбежные книги. Те, кто знают, о чём речь, улыбнутся и скажут про себя: « Я тоже». А остальные задумаются или чертыхнутся. Но я не сержусь ни на себя, ни на них. В конце концов, и мне тоже приходится читать другие книги: по долгу, работе, учёбе, по причине отсутствия неизбежных. Круг других книг всегда шире и доступней. Но я люблю читать неизбежные книги. Они очень редки.*

-----

## **Мария Амфилохиева**



### *К НЕИЗВЕСТНОМУ ВОДОПТОЮ*



### **ГОРЯЩАЯ БЕЗДНА**

(Размышление над стихами Юрия Санникова)

\* \* \*

Почему, на Земле живущей,  
Представляется мне порою,  
Что иду я в лесную гущу  
К неизвестному водопою?

Гравий звездный чуть серебрится,  
И идут той тропой звери,  
И у них человечьи лица  
И неспешностью шаг отмерен.

Млечный путь увлекает в выси,  
Полускрытые туч преградой,  
И крадусь я походкой рыси,  
Зная только, что так и надо.

Всё мираж – водопой, дорога.  
В колесе мы кружим гигантском.  
Это просто рубанок Бога  
Круглой стружкой завил пространство...

\* \* \*

Лучом зеленым прорастаю  
Из плотной ткани мирозданья,  
И слов трепещущую стаю  
Из лабиринтов размышленья  
По чьей-то воле выпускаю,  
Не осознав ее значенья.

Еще не стало слово знаньем,  
Лишь мимолетным впечатленьем,  
Скользнувшим искрою по краю  
Сознанья, молнией мгновенья...  
Зеленой вспышкой нить вплетаю  
В шпалеру вечного творенья.

-----

\* \* \*

А вселенная – большой жгут.  
Сплетено и свито всё тут.  
И от нити не отвить нить.  
Нам в сплетении дано жить.

Эти волосы – листы трав,  
Руки, ветками сосны став,  
Ветер трогают, ловя вздох,  
Пробивается из пор – мох.

И никто не может быть сир,  
Волоконцем перевит в мир.  
Словно в сплаве с серебром медь,  
Тесно с жизнью сплетена смерть.

\* \* \*

Мы живем не один лишь день,  
Наблюдаем не раз закат.  
Если хлынет ночная тень,  
Знаем – солнце придет назад.

Мы живем не один лишь год,  
Не пугают мороз и снег.  
Если даже трава умрет,  
Корень даст по весне побег.

Мы живем не один лишь день.  
Мы живем не один лишь год.  
Мы живем не один лишь век...

-----



\* \* \*

Не свиданьями, но работой  
Над страницей, готовой вспыхнуть,  
Приближаюсь к тебе я в сотый...  
Нет, в стотысячный!

Как привыкнуть

К разрушенью, смятенью, дрожи  
Стен, сметаемых древним смерчем?  
Но стремления не стреножить:  
Мой полет за тобой доверчив

Беззащитностью отрешенья  
От сегодняшних оболочек  
Тела, разума и моления.  
Наш полет на границе ночи

Той, мерцающей сном бездонным  
Между кратких дней манвантары,  
К рубежу, где стеклом оконным  
Станет тайное зеркало Мары.

Не любовных волнений шоры,  
Сердца, рвущего пути, замять...  
Обрисуют ли строчек хоры

**Роковой наш провал в прапамять?**

\* \* \*

Гляди: и позади, и впереди  
Мерцают две распахнутые вечности,  
Жизнь проводи – короткий миг один –  
С улыбкой небожителей в беспечности.

\* \* \*

Рождение – взросленье – растворенье,  
Смертей и жизней выверен обряд.  
Поэтому смотри без сожаленья  
На свет тех звезд, что больше не горят.

\* \* \*

Привычных дел и будней серых ряд  
Принять с улыбкой – славная задача.  
Вся наша жизнь – таинственный обряд  
Освобожденья радости из плача.

\* \* \*

Творчество – попытка извлечения  
Божьего подобья из природы.  
Мир – лишь фотоснимок отраженья  
Бога, заглядевшегося в воды.

\* \* \*

Ночь крошится, как тушь, об оконную раму  
И течет чернотой до края стола.  
Я тайком от себя перелистывать стану  
Облетевшие мысли, что в книгах нашла.

Лампы греющий круг ограничит опасность  
Растворенья в волне подступающей тьмы,  
Занавеска шуршит, прорицая неясно,  
Как тростник на ветру, как трава у стены.

Проступает на ней иероглифом блеклым  
То ли знак бытия, то ли тень от ветвей.  
Ночи черная тушь все закрасила стекла.  
Ничего не видеть, не понять – хоть убей.

Я беру карандаш, чтоб хотя бы примерно  
Набросать, записать, нанести, уловить...  
Занавеска шуршит, колыхается мерно,  
В складках пряча своих росчерк тонкий, как нить...  
-----

## ТРИ

Три точки – шифр устойчивости прочной,  
Три вещей птицы, розы три в стакане,  
И если вдруг одной из них не станет –  
Вселенной бытие неправомочно.

Но есть законы сопроникновенья,  
Содружества и сопряженья мысли.  
Они сильнее, чем скаредные числа,  
Так алгебры сильнее откровенья.

Там в два вместилось три, и замерцала  
Возможность единенья – не соседства.  
Сердечный резонанс – прямое средство,  
Чтоб тень извлечь из темного зеркала.

И если точкой стану одинокой,  
Заябшей в невесомости пустынной,  
Я знаю, что в печали не застыну –  
Все три души во мне живут глубоко.

Три точки – шифр устойчивости веры,  
Три вещей птицы, розы три в букете...  
Никто не одинок на этом свете.  
Все связано. Слиянно все без меры.

-----

\* \* \*

Боюсь одного, что когда-нибудь мы разминемся,  
Точней, не заметив друг друга, насквозь пролетим,  
Ведь тело – сосуд, лишь скудельная хрупкая емкость,  
В котором клубится мерцающей памяти дым.

Но боль возродится от вязкой томительной тяги  
К тому, кто останется вдруг за прозрачной спиной,  
Взрыдают ручьи, наполняя сухие овраги  
Бурлящую кровью – погопа великой волной.

И новое солнце взорвется, планету сжигая,  
И камни сорвутся со скальных обветренных скал,  
И брызнет осколками брэнная тара пустая –  
И новый гомункул навстречу стихиям шагнул.

Пусть повторится попытка, хоть мало в ней смысла.  
Танатос и Эрос на прочность пытаться не с руки.  
...На кромке сосудов начертаны тайные числа,  
А значит, найдется кому собирать черепки.

\* \* \*

Очертанья гор да потоков с гор  
Распелелись – спелелись, словно мелкий сор,  
Словно мелкий сор – на листе узор –  
Очертанья гор да потоков с гор.

Раздувает вихрь языки огня,  
Еле видные в белом свете дня,  
Но стеной они – да вокруг меня –  
Раздувает вихрь языки огня.

Все горит огнем, все бежит водой,  
Ветер с горных круч мне грозит бедой.  
А смолчать нельзя – не кричи, так пой! –  
Как горишь огнем, как бежишь водой.

-----

\* \* \*

Олимпийские боги в веселье своем  
И нектар, и амброзию пили,  
Окунались в моря, как в простой водоем,  
Веря в то, что бессмертными были.

Виночерпий вино на пирах подавал,  
Чуть держась на ногах в опьяненье,  
Оплетал виноград дверь в прохладный подвал,  
Где как вечность бродило мгновенье.

В упоении вился девический стан,  
Проникаясь магическим ритмом...  
О, аттических мифов пьянящий обман,  
Много ль радости в знанье открытом,

Что обидно бессмертью положен предел:  
Иссякают веселье и песни,  
Рассыпается мрамор, как смоченный мел –  
Олимпийцев пора не воскреснет...

Что осталось у нас? Молодое вино  
И тяжелая гроздь винограда  
На упругой лозе. Это все, что дано.  
А бессмертье?

Не надо...

Не надо...

-----

## ДЕЛЬФИЙСКИЕ МОТИВЫ

## 1.

*«Не должно трогать того,  
о чем нельзя говорить».*

Плутарх

Когда, затаив дыханье,  
Эллада смиренно ждет  
Новейшее предсказанье –  
Оракул к богам идет.  
Как светлый дар Аполлона,  
Представит слова свои,  
А темного храма лоно  
Молчит, словно зев змеи.

– Ах, Клеа, мудрая дева,  
Верховная жрица Дельф,  
Страшись аполлонова гнева,  
Сокройся в храм-цитадель.  
Качается вновь треножник –  
Все ждут, как сыграешь роль...

– Но путь мне двойной положен  
И ведома таинств соль:  
Я пью лозу Диониса,  
Когда Аполлон вдали.  
Без этого компромисса  
Предвиденья на мели!  
Я, Клеа, сказать осмелюсь:  
Пророчества явлен дар  
В той бездне, где вьется мелос,  
Под полночью темных чар.

Плутарх же, с апломбом сноба,  
(Что делать ему, как быть?)  
Пусть пишет: *«Не будем трогать  
О чем нельзя говорить».*

-----

## 2.

Что из того, что запах этилена,  
Прошедший сквозь расщелины земли –  
Причина тёмных слов? Морская пена,  
Из вод морских родившись, постепенно,  
Взбивается, густеет на мели,

Не становясь, однако, облаками,  
Похожими слегка на острова...  
Но всё, что приключиться может с нами,  
Приносят временами, как волнами,  
Оракула священные слова.

Заворожат, неясностью пленяя,  
Ведь тайну только тайной объяснить  
Возможно, вероятность не пугая,  
Не разрывая связей и не зная,  
Как ткётся наша жизненная нить.

Нам сладок душистый запах предсказания,  
Он равно ужасает и пьянит,  
Неся не откровенья – полузнанья.  
Треножника тревожное качанье  
И моря в летней дымке фианит

Рождают смутных образов брожение.  
Так вот чем нас поит парнасский ключ!  
...Земных пластов тяжелое движенье,  
Метафор опьяненное круженье,  
Улыбка Аполлона из-за туч...

-----

\* \* \*

Раз-творение. Два – творенье.  
Но провижу и третий шаг.  
Обезумевшее мгновенье –  
Умудренной вечности знак.

Рас-творение – все смешалось,  
Атом с атомом обнялись.  
Танец Хаоса – Шивы шалость –  
Исключающий словомысль.

Рас-творяюсь в озерных водах,  
В плеске ливня о шифер крыш,  
Чтоб при общеприродных родах  
Соловьем засвистела тишь.

Деух – творение. Dieu – творенье.  
Гармонических сил аккорд  
Первобытных частиц смешенье  
Превратит в живописный фьорд.

В древней мудрости есть отвага  
Знать – за тьмою идет рассвет.  
Но о смысле третьего шага  
Ничего в манускриптах нет.

-----



\* \* \*

Я боюсь за тебя. За себя я уже не боюсь.

Ты летишь в высоту.

Крыльев плеск иль прерывистый пульс?

Инфернален полет, что не может достичь апогея,  
Но печальными ливнями плачет великая Гея,  
Провожая глазами моими тебя в никуда –  
Там пунктирами звезд просверкнут и исчезнут года,  
И откроются вдруг за бесстрастно-безликим простором,  
Миражи предсказаний, лишь нашим понятные взорам.  
Как вернуться на Землю, пока еще ты не забыл,  
Но звенит знойный зов – запредельная музыка крыл,  
И когда-нибудь, знаю, внезапно порвав притяженье,  
Ты продолжишь свое огневое в мирах восхождение...  
Просветленной волною смывается горькая грусть.  
Не боюсь за тебя. За себя я давно не боюсь.

#### РАКУШКА

Эта ракушка прячет в себе переливы прибоя,  
Теплых волн колыханье и всплески на лунной дороге,  
Шевеление краба, что нору придонную роет,  
Суету пестрых рыб и коралловых рифов отроги.

На ладони моей серый свиток морей каменеет,  
Розовея улыбкой, как губ удивленная тайна.  
Позабудусь на миг – и в нее соскользну, как во сне я,  
И она колыбелью для нового странника станет.

По спиральным виткам, оглушен всеобъемлющим эхом,  
Этим гулким настоем на звуках времен безначальных,  
Он пойдет к сердцевине миров по угаданным вехам,  
И границу границ перейдя, растворится в молчанье.

-----

\* \* \*

«Влажная–Сильная–Незапятнанная» –  
Зороастрийская богиня реки

Арэдви – Сура – Анахита –  
Стремительность священной влаги,  
Но цель ее движенья скрыта.  
Отваги нет предать бумаге  
Скольженьем букв по белополюю  
Извивы авестийских гимнов:  
Их смысл размоется дотоле,  
Что утечет с волнами мимо.

Арэдви – Анахита – Сура,  
В моем стремление безграничном  
То разольюсь по травам бурым,  
То жмусь в ущелье...

Безразлично,  
Богам иль ветру я подвластна  
Или сама собой ведома  
Так увлеченно, так бесстрастно  
Туда, где трещина разлома  
Миров зияет раной свежей.  
В нее восторгом водопада  
Сорвусь – и в бездне свет забрезжит  
И запоют аккорды лада.

-----

НЕ ТА

Я вовсе не та, что живет в этой комнате тесной,  
Не та, что спешит на работу в начале восьмого.  
На карте веков и планет не отмечено место,  
Не тратьте минут – будет жалко усилья пустого.

Верблюдом в игольное ухо протиснусь в иные  
Пространства и страны, страннее их вы не найдете.  
На Альфе Центавра набатом мои позывные,  
Блуждают огни – мои знаки – в древнейшем болоте.

Я сгусток эпох, я как свет во вселенной разлита,  
Столетия во мне, словно шарики теплые крови.  
Вот родинка темная – след моего неолита,  
И шрам небольшой на плече – это средневековье.

Я первое слово рассвета в начале творенья,  
Последних распадов космических я многоточье,  
Миллиардная доля застывшего в коме мгновенья  
И свиток пролайи, развернутый в бездне воочью.

А та, что спешит на работу в трамвайной клоаке  
И дни коротает в неприбранной тесной квартире –  
Лишь нотка сюиты, звучащей в мерцающем мраке,  
Лишь точка на крошечной грани в слоящемся мире.

-----

\* \* \*

Как боится котенок, привыкший к картонной коробке,  
 Подойти к приоткрытой, таящей опасности двери,  
 Так и мы в предзакатности лет осторожны и робки,  
 Заглянуть в неизвестность страшимся и рады бы верить,

Что за дверью нас ждет только солнце приветного рая,  
 И родных к нам протянутся пусть и бесплотные руки,  
 Иль хотя бы река там течет, нашу память стирая,  
 И мы всплесков весла уловить сможем в сумраке звуки.

Этот строгий предел – всех привычных нам игр заключение.  
 Но котенок, играя, припустит за бабочкой вскачь – и  
 Перепрыгнет порог, не заметив его назначения.  
 ...Если б кто-нибудь мне

мотылька провожатым назначил...

\* \* \*

На скользкой грани сна и яви,  
 На грани смерти и бессмертья  
 Хрустит хрустально хрупкий гравий –  
 Земных времен тысячелетья.

На грани смерти и бессмертья  
 Я проростаю ослеплено  
 В тот свет, что век искало сердце  
 На ощупь в беге напряженном.

Хрустит хрустально хрупкий гравий,  
 Фотонов крошатся песчинки,  
 Миг пограничный равноправен  
 С той вечностью, что лижет льдинки –

Земных времен тысячелетья,  
 Дыханьем жарким растопляя...  
 Лишь в этот миг могу прозреть я  
 На скользкой грани сна и яви.

-----

\* \* \*

Говорили мне умные люди:  
Человеческий ум ограничен,  
И не может понять он, бескрылый,  
Бесконечность бескрайнего мира,  
Безначальность творящего слова  
И бессчетность космических чисел.

Я поверить усердно пыталась  
Уважаемым авторитетам,  
Что все так, как меня убеждают.

Но глаза мои видели ясно  
В звездном небе сияние бездны,  
И в нее я легко улетала.  
Чуткий слух отзывался на эхо,  
Отраженное в тысячах граней,  
Мне поющее только о вечном.

И тогда я отправилась к умным  
И сказала: Со мною шутили,  
За ребенка, наверно, считали,  
Но я вижу, что мир безграничен,  
Понимаю времен сопряженья  
И в слова облеку эти знанья.

...А они меня дурой назвали...

-----

**Предисловие редактора.** Ничего не хочу пояснять в статье Амфилохиевой или в стихах Санникова, я не свыше ни того ни другого, но только одно замечание, обращенное к читателю: я намеренно помещаю сначала статью о стихах, а затем стихи, я сам так и читал, и одно и другое, то вместе то последовательно, и это мне помогло читать серьезнее стихи, с большим почтением – статью. И, следовательно, оправдывается «философия критики» Иванова-Разумника – это две части одного творческого процесса, необходимы друг другу и не отделимые одно от другого. Критик (глубокий, талантливый, гениальный) нужен значительному автору (как и не существует серьезная критика без значительной литературы).

И все же не читайте до конца, перейдите к стихам (вскоре или сразу), потом вернитесь к статье... потом... Я скажу позже, что этот номер журнала задуман композиционно и по содержанию как **Роман с литературой и философией** (отчасти и с историей), чем и является моя жизнь (и не только моя, как оказывается). (Кстати, и совмещение «окон» и "дверей" тоже не случайно...)

## ГОРЯЩАЯ БЕЗДНА

**П**оэзия Юрия Санникова впечатляет с первого столкновения с нею. Не у всех, надо сказать, это впечатление оказывается положительным, часто оно сродни невольному возмущению, оторопи или даже шоку. Связано это с тем, что Юрий Санников в любое почти свое стихотворение вкладывает заряд такой интеллектуальной мощи, что не слишком подготовленный к этому читатель ощущает себя просто напросто как мирный обыватель, нежданно-негаданно попавший под обстрел тяжелой артиллерии и оставшийся лежать на поле контуженным.

Посудите сами, вот только одна строфа из программного произведения автора:

Что помнит разбойничья кровь киликийских пиратов?  
Походы Норманнов, соленые степи Арала,  
Арийских богов и бездонные очи архатов,  
И Одина голос: «Вальгалла, Вальгалла, Вальгалла!»

Этих четырех строчек достаточно для того, чтобы основательно задуматься об уже сказанном. Надо сообразить и почему пираты – киликийские, и куда Норманны в походы ходили, и отчего внутреннее созвучие увязывает воедино Арал, ариев и архатов, и какое отношение ко всему этому имеет Вальгалла... Но сразу на уже слегка оробевшего читателя обрушиваются еще восемь стрóf не меньшей насыщенности. Virtuозность этого грандиозного построения в том, что оно не разваливается, ибо замешано на крови – и в прямом, сюжетном, и в фигуральном смысле слова. Действительно, у Юрия Санникова все это в кровь и плоть входит, он подругому мир просто не воспринимает. Кому не по силам следование за подобным проводником – лучше сразу сойти с дистанции. Вот иной читатель и отстает, и долго машет кулачками вслед, призывая к порядку. Он-то наивно предполагал слегка развлечься, *стишки почитывая*... Не на того нарвался!

Попытка охватить сознанием мир, втиснутый Создателем в поэта – это главный нерв творчества Санникова. Главный, но не единственный. Поэт словно сам стоит перед феноменом собственной личности, стараясь ее изучить, раскрыть ее тайны, а через нее постигнуть и Бога. В этом поиске он бесстрашен (в отличие от незадачливого читателя) и не склонен останавливаться ни перед чем. Поэтому заносит его в такие бездны, что сердце замирает:

Я содрогнулся, пораженный чудом,  
Я стал на миг тысячелетним дубом...

Вот, кажется, хороший образ найден, опять-таки мощный, смыкающийся с сюжетами древних мифов. Но поэту этого мало – и он начинает, внимательно вглядываясь в себя, снимать слой за слоем, комментируя все, происходящее при этой операции с ним (или в нем). И вот уже корни дуба проникают сквозь «прах праотцов в родные пепелища», а там уже и до «пород кайнозоя» недалеко, а за ними «и небеса, и бездны преисподней», и «тайнопись времен» – с неизбежным выходом во тьму, где витает лишь Дух, еще не начавший проявлять себя в акте сотворения мира. И все это, обратите внимание – за миг один! Перегрузки поистине космические.

Это ведь лишь схема, опять-таки сюжетная канва (если дозволено говорить о наличии сюжета в сугубо философской лирике). Но проследим другой план, психологический. А что в это время происходит с душою? А она «на атомы разъята», причем это мыслится ничтожной платой за освобожденный полет духа. Жутковато, хотя по-другому, наверное, в этих безднах уже не получается.

Да, кстати, а о чьей душе мы ведем здесь речь? О душе поэта? Нет, он здесь, скорее всего, в роли экспериментатора, наблюдающего за происходящим. Лирического героя? Но мы имеем дело не с лирикой, а с эпосом. Причем эпосом изначальным, исконным, мифологическим. В произведениях Санникова мы сталкиваемся даже не с лиро-эпической структурой поэм, традиционных для XIX-XX веков, и не с эпизмом нового философского романа. Эта эпичность сродни эпичности «Старшей Эдды» или «Беовульфа». Но – опять же большая разница – в тех произведениях было несколько, даже много героев, но отсутствовал явный единый автор. У Санникова все наоборот – герой один – это он сам. И автор тоже он.

В этом плане ближайший его литературный родственник – Данте. Тот тоже страдал подобным раздвоением личности: Данте-автор, творец «Божественной Комедии» и Данте-герой этой поэмы, отправленный автором в странствия по кругам мироздания.

И уже неудивительно, что тема странничества – неперемный мотив творчества Санникова: «Я только паломник, я странник, иду и не ведаю цели», «хлопнув дверью, уйду я из отчего дома», «чьей-то воле послушный, лечу вдоль озер и болот», «лечу под откос, согреваясь глотком алкоголя»... Но странничество это – не в хождении с посохом по более-менее обжитой людьми планете, а гораздо масштабнее – в головокружительном полете духа среди звездных и философских систем, причем первые от вторых

неотличимы: в одном стихотворении то «освещает дорогу мне Крест Ориона» и «нисходит София с небес Василида».

Что-то и меня далеко унесло от скромной попытки уточнить терминологию и разобраться в жанровой, точнее даже родовой особенности санниковской поэзии. Попробуем вернуться к исходной точке. Итак, душа или дух (Некая терминологическая подмена встречается у самого поэта) героя странствует непрестанно, подобно Улиссу-Одиссею. Кстати, упомянутый мною Данте к этому гомеровскому персонажу был немилосерд, наказав его полной мерой – за самовольность. Но и герой-странник Санникова тоже на своем пути радостей встречает мало, несмотря на то, что должны приключения отважного путника хотя бы развлекать. Иногда, правда, удается ему на краткий миг попасть в эпоху, где он чувствует себя более-менее безболезненно. Обычно это где-то на заре мира, когда еще

... все впереди, все прекрасно, как замысел Бога,  
как греза его, как надежда, как парус вдали.

В общем, только «пока на груди щебня чертежи», пока Творец «сам не знает, стяхивая пот, чем завершит свой замысел великий», все еще терпимо. Но как только акт творения заканчивается – а закончился он, напомним, сотворением человека по образу и подобию божьему – так начинается сплошная мистерия нескончаемых трагедий.

Здесь очень хочется сползти с философских высот и поговорить о вполне земной исторической конкретике, которой в стихах у Юрия Санникова много. Правда, история у него – всегда ад крошечный, но с этим трудно не согласиться. Чего стоит одна только тема советских репрессий, оснащенная у поэта отсылками к Варламу Шаламову и Солженицыну. «Котлован» Андрея Платонова – тоже предмет для разговора с читателем.

Ау, читатель, ты еще жив, ты еще следуешь за нами? Следуешь, если оказался равным собеседником, способным пройти сквозь мировую историю тропой Данте и остаться в здравом уме и твердой памяти...

Тогда следуем дальше. Любую трагедию поэт воспринимает как свою кровную:

«Дщери Эршалаима, я ваш пепел и дым»,  
«Я – орущий Исая, я – безумный Иов».

А иначе просто нельзя. Не положено иначе поэту: «В муках творишь ты, да зря проживешь, если ты кисточку в кровь не макнешь» и «животворна лишь жгучая боль». И ни капельки нет в этом преувеличения, потому что действительно настоящий поэт и вынужден в себе все боли мира совмещать... Вот только что дальше делать-то?

А дальше – борьба. Может, не совсем уместно, но мне вспоминается чеховская «Чайка», точнее идея из пьесы ее персонажа Кости Треплева. Все живое исчезло, все души слились в одну и маятся эта мировая душа в вечном единоборстве с Дьяволом – не более и не менее.

Вот и еще один главный нерв поэзии Юрия Санникова – борьба Духа с воплощенным мировым Злом. Не боюсь повториться, говоря о том, что он пытается поразить зло и в его конкретно-исторических проявлениях, но часто,



вырываясь из всех рамок, отбросив маски разных времен и народов, выходит на бой с открытым забралом. И борьба продолжается уже в некоем метафизическом пространстве Горящей Бездны, где «Князь мира сего – на горящем во тьме колесе» и где «сходит на Землю святой копыеносец с иконы». Кстати, мне кажется, что в этом стихотворении волей или неволей, но поэтический масштаб нарушен и фигуры оказались неравновеликими, причем не в пользу Святого Георгия... Впрочем, и Давид с Голиафом когда-то справился.

Но при сражениях такого масштаба и «псалом девяностый» – ненадежная защита, и сам Господь не всемогущ, когда все стихии разгулялись:

Не взнудать кобылиц, не стреножить,  
И господь бы хотел – да не может.  
Век за веком у черного брода  
Ждут наездника Смерть и Свобода...

Так что нет и не будет отдыха герою-автору-наезднику-страннику. А вместе с ним и читателю, дерзнувшему за ним следовать. Если и мелькнет порой спокойная картинка с «поэзией пустой мансарды», так и в нее врываются «сплохи грозы», и в конце концов минута гармонии оборачивается «волшебной грезой Чжуан-цзы» и улетает бабочкой в бурную ночь за окошко.

Между прочим, относительно спокойные мотивы у Санникова только в песнях встречаются. Может, гитарный перебор дает небольшую передышку? Но на то она и песня, у нее жанровая специфика иная, здесь можно позволить себе и немного лирики. Но я сейчас не о песнях – о стихах.

Отдохнуть читателю даже в оазисах любовной темы не удастся. Любовная тема у Юрия Санникова произрастает на круто замешанной философской почве с неизбежными безднами в конце.

Дрожала, металась она и струилась,  
И что-то шептала, и вот, содрогаясь,  
В Господнем зеркале она раздвоилась,  
И в ужасе чья-то душа воплощалась.

Увы, «сбежать на мгновение от призраков ночи» не получается. Тем более, что в существовании любви поэт явно сомневается. По крайней мере знает, что слишком хрупкой оказывается она в мировом мраке.

Что с тобоюстряслось? Что случилось со мною?  
Мертвым пеплом любовь обратилась, сгорая...

И потому часто любовная тема переходит в чувство необратимой потери, потому что не в силах человеческих вернуть ушедшее, пересотворить заново. «Теперь тебя нет – опустела земля, даст силы Господь, и верну я тебя», но даже Господь в этом не помощник (стихотворение «Скажи мне, скажи мне, куда ты пропала»).

Или другой исход – чтобы защититься от чувства невольной вины, пока она не пришла и не захлестнула с головой, герой будет утверждать, что ему вообще никто не нужен.

Ничего мне не нужно – ни приязни твоей, ни любви,  
Одиночество – это, быть может, заструга в крови...

И есть еще одно «но», противоречащее лирической теме в творчестве Санникова. Первый шаг к любви – это признание права другой души на существование. Санников же, похоже, слишком глобален, он просто вытесняет из освоенного им пространства все иное, что им самим не является. Отсюда и глобальное одиночество его героя. Но подозреваю, что кроется за этим отказом еще один страх – страх потерять себя, с таким трудом, по капельке крови, по атому собранного во Вселенной. И когда подступает нечто равновеликое:

Из огненной ночи бездонных ночей,  
Сквозь огненный отблеск мильонов свечей  
Глядела чужая душа,

То герой в этот момент испытывает величайшую катастрофу:

Я плавился, словно осколок стекла,  
Меня охватила слоистая мгла,  
Сгорая, увидел я небо иное,  
Я в бездну глядел в предвкушенья покоя,  
И в пламени этом сгорел я дотла.

При таком подходе к теме действительно ужас какой-то вселенский получается. Борьба с Дьяволом и то полегче будет, тем более, что герой (или автор) сомневается, не очередным ли воплощением Дьявола является эта самая «чужая душа». И считает, что лучше не подпускать... «Изыди, Сатана»...

Может быть, что-то в своей концепции мира пересмотреть стоит. А то уж очень тяжело так-то, в одиночку, оставив далеко позади себя и Любовь, и Создателя на дороге «в пространстве семи измерений, где смертны и люди, и боги»...

Странную мысль выскажу напоследок. Слабость Юрия Санникова именно в его силе. Все, в чем мера потеряна, в какой-то момент оборачивается ловушкой. Грандиозно задуманный маршрут приводит в пустоту, глобальность личности вдруг разбивается признанием: «я чужих сновидений пыльца», «тьнь тени и тень отраженья». И остается герой в полном изнеможении после своего плавания, выброшенным на песчаной косе. Правда, он все же жив, хоть и беспомощен в этот миг, он все же находит в себе силы прошептать:

Набегает волна и уходит в прозрачный песок,  
Скоротечное время вдыхаю я жабрами строк.

Так что не думай, полураспластанный накатом волн и строчек Санникова читатель, что автор над тобою собирался издеваться, ему самому не сладко. Тяжелый дар достался – титану лишь по плечу. Но он сейчас встанет – и дальше отправится. А постижение его стихов – понятно – тоже труд титанический. Но оно того стоит!

Юрий Санников  
**БЛУЖДЕНИЕ В БЕЗДНЕ**  
СТИХИ



Юрий Григорьевич Санников родился в 1958 году в Сталинске (ныне Новокузнецк). Жизнь заставила его освоить культурное пространство Грузии и русского Севера, Москвы и Петербурга. Приходилось работать геофизиком и учителем математики. Сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Публикации стихов были в «Неве» и «Невском альманахе», а также в журнале поэзии «Окно». Выпустил две книги стихов: «Всё по воле Господней», СПб, 2006 и «Вселенной живой многогранник», СПб, 2009. Известен также как автор-исполнитель песен под гитару.



\* \* \*

Из огненной ночи бездонных очей,  
Сквозь огненный отблеск миллионов свечей  
Глядела чужая душа. Мирозданье  
Она отражала в волшебном мерцанье  
Несчисленных дней и несчетных ночей.  
Она обращалась как будто ко мне.  
Глядело мне в сердце само бытие,  
И в пламя, пространство и время вбирая,

Оно отражалось, меня отражая  
В чудовищном и непонятном огне.  
Я плавился, словно осколок стекла,  
Меня охватила слоистая мгла,  
Сгорая, увидел я небо иное,

Я в бездну глядел в предвкушенье покоя,  
И в пламени этом сгорел я дотла.

\* \* \*

Вселенной живой многогранник  
И золото звездной купели...  
Я – только паломник, я – странник,  
Иду – и не ведаю цели.

В незримой чреде поколений  
Иду все по той же дороге  
В пространстве семи измерений  
Где смертны и люди, и боги.

Все мнимо и призрачно – даже  
И путь мой, и вечная пристань,  
Вселенской печали миражи  
И листья двоящихся истин.

Я – лишь сновиденье, я – призрак  
В орбите Его притяженья.  
Я – дух бестелесный, я – призвук,  
Тень тени и тень отраженья.

-----

\* \* \*

Что помнит разбойничья кровь киликийских пиратов? –  
Походы Норманнов, соленые степи Арала,  
Арийских богов и бездонные очи архатов,  
И Одина голос: Вальхалла, Вальхалла, Вальхалла!

Руины и руны, магический круг Аркаима,  
И конницу скифов, и камни языческих капищ...  
Пространство и время вбирает в себя – неделима,  
И цвет ее – пламя давно отшумевших пожарищ.

С молитвой я в бездну времен погружаюсь без страха,  
Я помню сады Самарканда, мечети Тебриза,  
За чашей вина прославляю я имя Аллаха,  
И строчки Хайяма, и красные розы Хафиза.

Не разумом – кровью я помню, я знаю, я мыслю –  
Ее письмена – богоданный и тайный апокриф,  
В китайском халате старательно беличьей кистью  
На желтой бумаге я вновь вывожу иероглиф.

На вольном Дону щеголял я в казацкой папахе,  
Я слушал Сократа, внимал Аполлоновой лире,  
При Ши-Хуанди я гадал по костям черепахи,  
Танцующим дервишем был я когда-то в Каире.

Я помню кровавые жертвы и очи Баала,  
Взнуздав свою плоть, я спасался в пещерах Афона,  
В Кадисе мне тайны свои открывала Каббала,  
Скрижали Гермеса и имя Адама-Кадмона.

В Магрибе на звезды глядел я глазами бербера,  
Средь предков моих звездочеты и маги-халдеи,  
Я помню – косили Европу чума и холера,  
Я умер во время резни и пожаров Вандеи.

С молитвой над свитком псалмов я склонился в Кумране,  
В Потале учусь я смирять свои страсти и чувства,  
Я тайное имя Господне читаю в Коране,  
Я с персами лью молоко и молось Заратустре.

Славяне, тибетцы, евреи, арабы и копты,  
Сандал я и ладан в пропорциях равных смешаю...  
И что мне ответить, коль спросят презрительно: – Кто ты?  
Я капельки крови своей по Земле собираю.

-----

\*\*\*\*

Ах, зачем, ах, зачем узелки мы на память завязываем?  
Всё куда-то спешим, и всё время куда-то опаздываем.  
Мы живём как во сне, от которого нам не очнуться,  
И уходим во тьму, чтоб уже никогда не вернуться.

В полутёмном кафе мы сидим над недóпитой кружкой  
Кто с тоской тэт-а-тэт, кто с почти незнакомой подружкой.  
Разошлись музыканты, и нам бы пора, да не хочется, –  
За окном моросит ледяное, как ртуть, одиночество.

Скоро выключат свет, – нас попросят из этого рая.  
И до сумерек синих музыка под крышкой рояля  
Затаится. Мы в утренней мгле, кто куда, разбредёмся,  
Заплатив по счетам, мы с судьбой навсегда разотчёмся.

Сквозь холодную взвесь пробивается солнце неярко  
В коммуналки в бреду разбредутся питомцы Ремарка,  
Беззаботны, а что им все ваши дела и заботы, –  
В сторожах Д'Артаньяны, в психушках сидят Дон-Кихоты!

Бред их солнцем пропах, коноплём и горчайшей полынью,  
Щеголяют они то стихом, то вульгарной латынью,  
И по кухням своим всё читают Сапфо и Катулла,  
Лишь вода и вино... и пирует Лукулл у Лукулла.

Об осколки эпохи их души изрезаны в клочья,  
Не дышать им, не жить – что поделать, повадки – не волчьи.  
Вымирающий вид, в никуда уходящее племя  
Над развёрстою бездной, где щёлкает челюстью Время.

-----

\*\*\*\*

Ничего мне не нужно – ни приязни твоей, ни любви...  
Одиночество – это, быть может, заструга в крови,  
Некий вирус, соблазн, атрибут ремесла и искус...  
Ничего мне не нужно, я уже ничего не боюсь.

Одиночество – нечто, пожалуй, сродни палачу.  
По своим векселям я ему всё сполна заплачу,  
Ничего не хочу – все слова о любви несуразны,  
Я куда-то лечу – не страшны мне ни козни, ни казни.

По воздушным путям, вспоминая о “Рыцаре бедном”,  
Над Дворцовым мостом, Эрмитажем и Всадником медным,  
Сквозь волшебную дымку, сквозь тени богов и весталок,  
Сквозь Синод и Сенат, и дремучие сны коммуналок.

Я лечу в никуда невесомой и призрачной тенью,  
Над дворами, где пахнет весной и махровой сиренью,  
Пьющей соки земли и золу отгоревших пожарищ,  
Где шумят тополя, к пентаграммам заброшенных кладбищ.

Не уйти никуда мне уже от сего окоёма,  
Где без призрака нет ни двора, ни подъезда, ни дома,  
Где безглазая ночь, опускаясь в глухой переулок,  
Нажимает курок, обмусолив и сплюнув окурок.

Я лечу наугад между рёбер заводов и фабрик,  
И Васильевский остров плывёт подо мной, как кораблик,  
Мимо храмов, церквей, мимо строгих имперских соборов,  
Меж барочных оград и кирпичных тюремных заборов.

Петербург, Петербург... Здесь пространство и время слоятся,  
Здесь сквозь поры камней не отмщённые души сочатся,  
Из безмерных пространств, из тоски и печали безмерной,  
Из прогнивших галер, что поныне стоят на Шпалерной.

Здесь и страсть и любовь по традиции с привкусом боли,  
Помолись за меня, дай в дорогу мне хлеба и соли,  
За имперским фасадом хрустят чьи-то судьбы и кости...  
Ну, надень образок, прочитай мне псалом девяностый.

Мой ночной Петербург – жёлтый свиток и тайный апокриф,  
Неразгаданный знак, не прочтённый никем иероглиф,  
Анаграмма бессмыслиц и вымыслов, снов амальгама,  
Колдовство с ворожбою волшебной строки Мандельштама.

Неизбывна печаль, и как терпкая боль расставанья,  
Безымянный причал у реки ледяной без названья.  
Скрип уключин, и вот чёрный чёлн у причала качает,  
И река всё течёт и, увы, никуда не впадает.

\* \* \*

Горящая бездна. Миллионы полуночных звёзд.  
Созвездье Персея, зловещее пламя Алголя.  
Полярное небо. Февральский трескучий мороз.  
Лечу под откос, согреваясь глотком алкоголя.

Как белые совы, слетаются вещие сны,  
Меня обдаёт ледяное дыханье Норд-оста...  
Летит, полыхая в полнеба, звезда сатаны, –  
Крещусь суеверно – читаю псалом девяностый.

Князь мира сего – на горящем во тьме колесе.  
На свастике огненной – бельма Медузы-Горгоны.  
Бежит Ариадна, летит легконогий Персей,  
И сходит на Землю святой копыеносец с иконы.

-----



\* \* \*

Скоротечное время – хрустящий ракушечник снов.  
Ни небес здесь, ни тверди – отсутствие всяких основ  
Нет ни верха, ни низа – игра без начал и конца...  
Сам я грёза и сон, я – чужих сновидений пыльца.

Длится вечная ночь, я один на пустом берегу,  
Длится вечная ночь, я очнуться никак не могу.  
Чей-то голос зовет, проступая из тьмы бытия,  
Чей-то голос зовет, окликает и ищет меня.

По пустым подворотням, по скверам, окрестным дворам,  
Отражаясь от стен, убегая к соседним домам.  
Разбиваясь о чёрные рёбра чердачных стропил,  
Многочисленное эхо, вздохнув, умирает без сил.

Чьей-то воле послушный, лечу вдоль лесов и болот,  
Где, смыкаясь с землёй, догорает во тьме небосвод,  
Вдоль тропинок, берёзовых рощ, мимо сельских кладбищ,  
Вдоль безглазых домов, мимо праха родных пепелищ.

Над рекой, над причалом, над остовом ржавой баржи...  
Где-то там проступают из тьмы города-миражи...  
Я и сам прорастаю из омута русской тоски...  
Словно вздёрнут на дыбе и гвоздь забивают в виски.

Набегает волна, я лежу на песчаной косе,  
Обмывает меня, я беспомощен, словно во сне.  
Набегает волна и уходит в прозрачный песок...  
Скоротечное время вдыхаю я жабрами строк.  
-----

\* \* \*

Куриный божок – талисман на просмоленной нитке.  
Спрессовано время Творцом в золотой оберег:  
Шумит океан, обезумев, как музыка Шнитке,  
И, слушая море, слагает гекзаметры грек.

И так необузданна, так первозданна природа,  
И в торсе античном в избытке вселенская мощь.  
Созвучье, как гейзер, клокочет в гортани рапсода,  
И ветер бушует во тьме среди аргосских рощ.

В новинку еще колесо, Одиссей – у порога.  
Стучат топоры – снаряжают в поход корабли...  
И все впереди, все прекрасно, как замысел Бога,  
Как греза его, как надежда, как парус вдали.

\* \* \*

Миг пробуждения. Усилие, и вот –  
На выдохе предвечного дыханья  
Вверх устремились из начальных вод  
Готические своды мирозданья.

Пока еще не убраны леса,  
И не ушли еще каменотесы,  
И, содрогаясь, держат небеса,  
Пространство сопрягая, контрфорсы.

Вбирая свет, мерцают витражи,  
И каменщик присел на подоконник.  
Еще на груде щебня – чертежи,  
Еще в работе циркуль и угольник.

Последнее усилие, и вот –  
Задумался художник многоликий.  
Он сам не знает, стряхивая пот,  
Чем завершит свой замысел великий.

-----

\* \* \*

Я содрогнулся, поражённый чудом:  
Я стал на миг тысячелетним дубом.  
Чьей волей, властью, силой – неизвестно,  
Но плоть сменилась мякотью древесной.  
Меня преобразили до основы  
И заключили в древние оковы.  
Я оставался, впрочем, сам собою,  
Но в землю врос древесною стопою.  
Ветвились и вращали корневища  
В прах праотцов, в родные пепелища.  
В беспамятстве и чистом, и глубоком  
Я прикасался к ледяным истокам,  
К следам иного времени и зноя,  
К всеведущим породам Кайнозоя,  
К хвощам, окаменевшим трилобитам,  
К костям Земли и явным и сокрытым,  
Зловещий прах причудливых творений  
Смотрел в меня сквозь бездну поколений  
Как некогда гермесовы скрижали  
Их письма меня преображали.  
И врос я сердцем, силою Господней  
И в небеса, и в бездну преисподней,  
И в тайнопись времён, в их отраженье...  
Смешной была цена преображенья,  
Дешевле драхмы оказалась плата...  
Душа была на атомы разъята,  
И в свет я погрузился бестелесный  
И Дух витал над водами и бездной!

-----

\*\* \*\* \*\*

Захолустный трактир. Деревенька. Полуночный ужин.  
И угрюмый трактирщик сидит за столом у окна...  
Собутыльник и тот мне давно уже больше не нужен –  
Беспросветную ночь коротаю за чашей вина.

Что, приятель? Тоска? И тебя одолели печали?  
На душе беспокойно и в сердце осенняя хмарь?  
Где-то лают собаки, матросы кричат на причале,  
И погаснут вот-вот и камин, и бумажный фонарь.

И стреножены кони, и странник прилёт у колодца,  
И "журавль" скрипит, и гремит, опускаясь, ведро.  
В этой чёрной воде отражается древнее солнце,  
По окрестным лесам разливая луны серебро.

Что тебе до красот? Иссекает чудесный источник,  
И звенит тишина – даже слышно, как плещет весло:  
Чёлн плывёт по реке, молчалив и угрюм перевозчик,  
Никогда состраданье не ляжет на это чело.

А немного нужно – краюха сверхсущего хлеба,  
И кизиловый посох... Попробуй ступи за порог –  
Никого, тишина, лишь бездонное звёздное небо,  
Свежий ветер, дорога, созвездья, молитва и Бог.

-----

\* \* \*

Ты стоишь, словно яблоня, полная яблок,  
И ночная прохлада по листьям струится,  
В наступающих сумерках зябнешь, как зяблик...  
Я забуду тебя, только как мне забыть?

Ты, из жизни моей уходя понемногу,  
Как закатное солнце, согрей на прощанье.  
Я любил тебя, верь мне. Не веришь? Ей-богу...  
Мне кричат уже сверху: «На выход, с вещами!»

Что с тобою стряслось? Что случилось со мною?  
Мертвым пеплом любовь обратилась, сгорая...  
Ты уходишь, ты прячешься – солнце чужое,  
Наступающей ночи меня уступая.

\* \* \*

Как будто от пошлого сна пробуждаясь,  
Сбежав на мгновенье от призраков ночи,  
И губ ее нежно и страстно касаясь,  
Глядел в эти странно бездонные очи.

Ее называл я своей Эвридикой,  
В сирень и в крапиву врал подоконник.  
Да, помнится, пахла она ежевикой,  
Так пахнет еще, засыпая, шиповник.

В высокой траве землянику срывая  
Губами, хмелея, кусая сосочек,  
Ей бедра раздвинув и лоно лаская,  
Вдыхал ее – пахла, как клейкий листочек.

Дрожала, металась она и струилась,  
И что-то шептала, и вот, содрогаясь,  
В Господнем зеркале она раздвоилась,  
И в ужасе чья-то душа воплощалась.

-----

\* \* \*

Мелодия для скрипочки и флейты...  
Страшит её святая простота.  
Два голоса, две вещей птицы смерти,  
Два ангела и – райские врата.

Два голоса звенят в ночной тиши...  
Чудесное – обыденно. У чуда  
Два голоса, два сердца, две души,  
Летающие неведомо откуда.

О, как они высоко вознеслись  
Над серыми и будничными днями!  
Душа и сердце в узелок сплелись  
И проросли в грядущее корнями.

Там – ты и я. Мы об руку с судьбой  
Идём. Куда? – Бог весть... не оглянуться.  
Там лунный луч, изжёлта-восковой,  
Нам не даёт никак от сна очнуться.

Два голоса – святая простота,  
Два голоса – две вещей птицы смерти,  
Два ангела и – райские врата:  
Мелодия для скрипочки и флейты.

-----

**Ольга Мальцева**

*«Золото, золото сердце народное...»*



### *«Золото, золото сердце народное...»*

(К 195-летию Николая Алексеевича Некрасова)

В 2016 году в России и во многих странах мира отмечался юбилей Н. А. Некрасова, 195-летие со дня рождения выдающегося народного певца русской поэзии. Николай Алексеевич Некрасов (28.11.1821 – 27.12.1877) – классик русской поэзии, поистине национальный писатель, критик, публицист. На протяжении многих лет Некрасов возглавлял самые передовые русские журналы, был редактором и издателем журнала «Современник» (1847 - 1866) и редактором журнала «Отечественные записки» (1868). Некрасов внёс в русскую поэзию богатство народного языка и фольклора, широко используя в своих произведениях речевые обороты простого народа – от бытового народного просторечия до публицистической и поэтической лексики и пародийно-сатирического стиля. Его поэзия оказала благотворное влияние на последующее развитие русской классической, а позже и советской поэзии. В 60-е годы некрасовский «Современник» становится печатным органом революционного демократизма и сущность поэзии Н. А. Некрасова можно комментировать как «революционный демократизм».

Лучшие его произведения: поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Коробейники», стихотворения «В дороге», «Тройка», «Не сжатая полоса», «Дума», «Похороны», «Страда» были посвящены страданиям народа и трагедии русского крестьянства – это картины русской жизни униженных слоев общества с мечтами о всеобщем народном счастье.

#### **Страда**

В полном разгаре страда деревенская...  
Доля ты! – русская долюшка женская!  
Вряд ли труднее сыскать.  
Немудрено, что ты вянешь до времени,  
Всё-выносящего русского племени  
Многострадальная мать!  
Зной нестерпимый: равнина безлесная,  
Нивы, покосы да ширь поднебесная –  
Солнце нещадно палит.

В ранние годы, наблюдая всю тяжесть крестьянского труда, будущий поэт всей душой проникся к судьбе простого крестьянина. Николай Алексеевич Некрасов родился в украинском местечке 28 ноября (10 декабря) 1821 года, в городке Немирове Подольской губернии в зажиточной семье помещика среднего достатка. Детские годы с трёхлетнего возраста провел в русской глубинке, в родовом имении Ярославской губернии, селе Грешнево.

Семья была многодетной – у будущего поэта было 13 сестер и братьев. В возрасте 11 лет он поступил в гимназию, где учился до 5 класса. Именно в



этот период Некрасов начинает писать свои первые стихотворения сатирического содержания и записывать их в тетрадь, первое стихотворение принесло ему первую славу.

В 17 лет Некрасов приехал в Петербург и поступил вольнослушателем в университет на филологический факультет. Отец поэта проявил жестокость и деспотизм, лишив сына материальной помощи за то, что Николай не захотел поступать на военную службу. Чтобы не умереть от голода, испытывая большую нужду в деньгах, Некрасов искал любой подработок, он дает уроки и пишет стихи на заказ. Накопив достаточно средств, Некрасов издает дебютный сборник своих стихов «Мечты и звуки»(1840), который потерпел неудачу, как подражание А. Пушкину. Почти весь тираж был уничтожен автором. Василий Жуковский посоветовал большинство стихов этого сборника печатать без имени автора. После этого Николай Некрасов решает отойти от стихов и заняться прозой, пишет повести и рассказы, а также занимается изданием некоторых альманахов, наиболее успешным альманахом получился «Петербургский Сборник»(1846).

На страницах журнала «Современник» были открыты такие таланты, как Иван Тургенев, Иван Гончаров, Александр Герцен, Дмитрий Григорович и другие. В нём печатались уже известные писатели: Александр Островский, Михаил Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский. Благодаря Николаю Некрасову и его журналу русская литература узнала имена Фёдора Достоевского и Льва Толстого.

Вспоминая о детстве, поэт всегда говорил о своей матери как о страдальце, жертве грубой и развратной среды в доме жестокого отца. Любимой матери, как олицетворению русской женщины, поэт посвятил целый ряд стихотворений – «Последние песни», поэму «Мать», «Рыцарь на час», в которых он нарисовал светлый образ той, которая своим благородством скрасила непривлекательную обстановку его детства. Тёплые воспоминания о матери сказались в творчестве Некрасова, проявившись в его произведениях о женской доле. Сама идея материнства проявится позже в его хрестоматийных произведениях – глава «Крестьянка» в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Образ матери – главный положительный герой некрасовского поэтического мира (отрывок из поэмы):

Деревни наши бедные,  
А в них крестьяне хворые,  
Да женщины печальницы,  
Кормилицы, поилицы,  
Рабыни, богомолицы  
И труженицы вечные,  
Господь, прибавь им сил!

Русская женщина предстала в произведениях Н. Некрасова во всём разнообразии своих судеб, она главная носительница жизни, как символ национального существования и потому естественно становится героиней эпических поэм Некрасова, таких, как «Мороз, красный нос» (1963) и

«Русские женщины». Не одно поколение читателей восхищается бесхитростными и гениальными строками:

Есть женщины в русских селеньях  
 С спокойною важностью лиц,  
 С красивой силой в движеньях,  
 С походкой, со взглядом цариц, –  
 Их разве слепой не заметит,  
 А зрячий о них говорит:  
 «Пройдёт – словно солнце осветит!  
 Посмотрит – рублём одарит!»

Некрасов воспевает сильный и гордый образ русской женщины, «величавой славянки». Рассказ о крестьянской семье у Некрасова становится художественной летописью целого народа. Даже классический образ Музы под пером поэта предстаёт «сестрой родной» крестьянки, обретая реальные черты русской женщины, чаще плачущей, чем поющей:

Вчерашний день, в часу шестом,  
 Зашёл я на Сенную;  
 Там били женщину кнутом,  
 Крестьянку молодую.  
 Ни звука из её груди,  
 Лишь бич свистал, играя...  
 И Музе я сказал: «Гляди!  
 Сестра твоя родная!»

Многие произведения Некрасова адресованы крестьянскому читателю. «Красные книжки» предназначались для простого народа и распространялись через офеней, бродячих торговцев, коробейников. По словам Чернышевского, в поэме «Коробейники» широко и разносторонне раскрывается богатство и истинная народность творчества Н. Некрасова. Со школьных лет мы помним стихи Некрасова, «Дед Мазай и зайцы», «Топтыгин» и др. Народные песни на стихи Некрасова поются во всех глубинках России:

«Ой, полна, полна коробушка,  
 Есть и ситцы и парча.  
 Пожалей, моя зазнобушка,  
 Молодецкого плеча!  
 Выйди, выйди в рожь высокую!  
 Там до ночки погожу,  
 А завизжу черноокою –  
 Все товары разложу.

Слова застольной песни «Меж высоких хлебов затерялся...» (стихотворение «Похороны») передаётся из поколения поколению и в России, и далеко за её пределы:

Меж высоких хлебов затерялося  
Небогатое наше село.  
Горе горькое по свету шлялося  
И на нас невзначай набрело.

Всем известная песня «Тройка» на стихи Н. А. Некрасова облетела весь мир, продолжая трогать людские сердца русской народностью и болью:

Что ты жадно глядишь на дорогу  
В стороне от весёлых подруг?  
Знать, забило сердечко тревогу –  
Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.  
И зачем ты бежишь торопливо  
За промчавшейся тройкою вслед?..  
На тебя, подбоченься красиво,  
Загляделся проезжий корнет.  
На тебя заглядеться не диво,  
Полюбить тебя всякий не прочь:  
Вьётся алая лента игриво  
В волосах твоих, чёрных как ночь;

У Николая Некрасова в личной жизни было много романов, но главной женщиной в биографии Николая Некрасова была первая красавица Петербурга, Авдотья Яковлевна Панаева, которую он любил всю жизнь. Некрасов сумел добиться её любви. Но всё же они расстались. Высоким аккордом заканчивается сложная история их любви – известным стихотворением «Прости»:

Прости! Не помни дней паденья,  
Тоски, унынья, озлобленья, –  
Не помни бурь, не помни слёз,  
Не помни ревности угроз!  
Но дни, когда любви светило  
Над нами ласково всходило  
И бодро мы всходили путь, –  
Благослови и не забудь!

Расставшись с Панаевой, Н. Некрасов в течение трёх лет с 1864 года был увлечён французской актрисой Селиной Лефрен. У неё был лёгкий характер, но вскоре она покинула Россию. А позже Некрасов познакомился с молодой деревенской девушкой, Фёклой Анисимовной Викторовой, простой и необразованной. Ей было 23 года, а ему уже 48 лет. Он водил её в театры, на концерты и выставки, чтобы восполнить пробелы в воспитании. Николай Алексеевич придумал ей имя Зина. Так Фёкла Анисимовна стала называться Зинаидой Николаевной. Она учила наизусть стихи Некрасова и восхищалась им. Вскоре они обвенчались. Однако Некрасов всё же тосковал по своей прежней любви – Авдотье Панаевой – и одновременно любил и Зинаиду, вспоминая французженку Селину Лефрен, с которой у него был роман за

границей. Одно из самых своих знаменитых стихотворных произведений – «Три элегии» – он посвятил только Панаевой. Всем троем женщинам Некрасов оставил долю в посмертном завещании.

В начале 1860-х годов обострилось противостояние двух течений в журнале. В произошедшем расколе Некрасов поддержал «революционных разночинцев», идеологов «крестьянской демократии». В этот нелёгкий период наивысшего политического подъёма в стране поэт создаёт такие произведения, как «Поэт и гражданин» (1856), «Размышления у парадного подъезда» (1858) и «Железная дорога» (1864).

Надрывается сердце от муки,  
Плохо верится в силу добра,  
Внемля в мире царящие звуки  
Барабанов, цепей, топора.

Через два года после закрытия «Современника», в 1868 году, он арендовал у Краевского «Отечественные записки», сделав их боевым органом революционного народничества. В 1858 году Н. А. Добролюбовым и Н. А. Некрасовым было основано сатирическое приложение к журналу «Современник» – «Свисток». Автором идеи был сам Некрасов, а основным сотрудником «Свистка» стал Добролюбов. Тяга к острокритическому изображению действительности привела Некрасова в 1860–1870-х годах к появлению целой серии сатирических произведений. Поэтом создавались новые жанры, он писал стихотворные памфлеты, поэмы-обозрения, обдумывал цикл «клубных» сатир. Ему удавалось искусство социальных разоблачений, умелое и тонкое описание самых злободневных вопросов. Салтыков-Щедрин положительно отзывался о сатире Некрасова, которая «поразила его своей силой и правдой». Но в начале 1860-х годов произошли тяжёлые перемены, умер Добролюбов, были сосланы в Сибирь Чернышевский и Михайлов. Всё это стало ударом для Некрасова.

Стихотворение «Ночь. Успели мы все насладиться...»:

Пожелаем тому доброй ночи,  
Кто всё терпит во им Христа,  
Чьи не плачут суровые очи,  
Чьи не ропщут немые уста,  
Чьи работают грубые руки,  
Предоставив почтительно нам  
Погружаться в искусства, науки,  
Предаваться мечтам и страстям;  
Кто бредёт по житейской дороге  
В безрассветной глубокой ночи,  
Без понятия о праве, о Боге,  
Как в подземной тюрьме без свечи...

1858

Расцвет поэтического дарования Некрасова проявился в 1860-1870 годы, когда написаны поэмы «Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос», эпическая крестьянская поэма-симфония «Кому на Руси жить хорошо» стала главной работой. В её основе отражена мысль поэта, которая неотступно преследовала его в годы после реформы: «*Народ освобождён, но счастливы ли народ?*» Эта поэма-эпопея вобрала в себя весь его духовный опыт. Это опыт тонкого знатока народной жизни и народной речи. Поэма стала как бы итогом его долгих размышлений о положении и судьбах крестьянства, разорённого этой реформой. Раздумья о судьбе России поэт выразил в стихотворении «Русь» (песня Григория Добросклонова), выражая революционно-демократические взгляды и отражая чаяния простого народа:

Ты и убогая,  
Ты и обильная,  
Ты и забитая,  
Ты и всесильная,  
Матушка-Русь.

В поэмах Некрасова также отражена тема русских женщин – жён декабристов.

В начале 1875 года Некрасов тяжело заболел. В это нелёгкое время он пишет «Последние песни», которые по искренности чувств относят к его лучшим творениям. Алексей Некрасов умер 27 декабря 1877 года в 8 часов вечера. Прощание с поэтом началось в 9 часов утра и сопровождалось литературно-политической демонстрацией. Несмотря на сильный мороз, толпа в несколько тысяч человек, преимущественно молодёжи, провожала тело поэта на петербургском Новодевичьем кладбище. Молодёжь даже не дала говорить выступавшему на похоронах Достоевскому, который отвёл Некрасову третье место в русской поэзии после Пушкина и Лермонтова, речь прерывали криками: «*Да выше, выше Пушкина!*»

Хотя прижизненно удивительная тонкая разработка Некрасовым социальной тематики зачастую воспринималась и истолковывалась вульгарно, но выдающиеся творческие и организаторские способности Н. А. Некрасова в сочетании с огромной трудоспособностью быстро вывели его в круг лидеров русского литературно-общественного движения середины XIX века. В журнале «Современник» сосредоточились лучшие молодые литераторы: Белинский, Герцен, Гончаров, Тургенев, Григорьев, Добролюбов, Чернышевский. Оказавший значительное влияние на творчество многих поэтов, Николай Некрасов вошёл в ряд признанных классиков русской литературы и стал крупнейшим выразителем национального сознания русского народа в одну из трудных эпох его развития, на века оставаясь ярким выразителем чаяний русского народа: «*Сейте разумное, доброе, вечное...*»

*Литература:*

*Поэзия Серебряного века. Антология. Москва. Мир Книги. 2007г.*

*Золотой век русской поэзии. Москва. ООО «Фирма СТД», 2011г..*

**А. В. Осипов**

*Дело Никитенко*

(продолжение)



А. Н. Никитенко,  
Орд. Академикъ Имп. Акад. Наукъ.

*Исполненный ненужных слов  
И мыслей, ставших общим местом,  
Он красноречья пресным тестом  
Всю землю вымазать готов.*

*И.С. Тургенев*

### ***Глава 7. Немного о себе любимом***

*Если б у меня спросили: какой главный и несомненный признак ограниченного ума? – я отвечал бы: высокое мнение о самом себе.*

*А. В. Никитенко. Дневник. 5 июня 1868 года*

*В жизни выдаются особенно трудные и трудовые моменты. Один из таких переживаю я теперь. Вокруг все бурлит и клокочет. Я похож на кормчего, который должен вести свой корабль среди мелей и подводных камней. Неурядицы по изданию газеты, с которыми я должен ежедневно бороться; недостаток в честных сотрудниках, бедность материала, способного оживить газету и придать ей литературное значение; бесконечные стеснения со стороны министерства; взыскательность публики, требующей, чтобы вдруг все было сделано, что делается месяцами и годами; неприязненные крики крайних партий; надломленное здоровье, и посреди всего этого хаоса я один, без всякой другой опоры, кроме чистоты моих намерений... Вот некоторые, но далеко не все прелести моего нынешнего положения.*

*Да, у меня есть враги, которые всячески стараются мне вредить. Лучшие, конечно, если бы этого не было. Однако я надеюсь, что во мне найдется довольно нравственной силы, чтобы побороть это зло, не уступив ни на шаг из того, что я считаю честным и справедливым.*

*А. В. Никитенко. Дневник. 21 января 1862 года*

*28 июля 1841 года*

*Элементами моей силы я считаю мысль и слово, а не эрудицию. Мое естественное влечение – обратить кафедру в трибуну. Я желаю больше действовать на чувство и волю людей, чем развивать перед ними теорию науки. Мне кажется, что я больше оратор, чем профессор. Познания у меня средство, а не цель. Я не «научовой» (зри «Москвитянин») человек, а человек мысли и чувства. Потому мне всего больше нужно для кафедры: 1) ясность, стройность и диалектическая гибкость мысли и 2) мощь слова. Я должен делать доступными моим слушателям такие истины, которые содействуют прямо и непосредственно их внутренней гармонии и ставят их в гармонические отношения с человечеством.*

*17 октября 1865 года*

*Странные противоречия могут уживаться в одном и том же человеке. Вот, например, я так мало доверяю всему человеческому – добродетелям, уму, благу, жребию людей, а между тем у меня сильное влечение ко всему великому и прекрасному, постигать которое и видеть можно только в человечестве же. Я также сильно сомневаюсь в конечных целях творения, а между тем верую, и горячо верую, в высочайший творческий и всевидящий царственный разум, во власть и силу выше природы и вселенной – словом, верую в бога в духе христианских понятий. Я не уважаю людей, а готов служить им верою и правдою, хотя уверен, что они на каждом шагу меня обманут и готовы сделать мне всякое зло.*

Читатель без труда найдет в дневниках Никитенко еще множество зарисовок с зеркала. Ну, а что же здесь удивительного! Мы не устаем повторять: «самосознание», «самопознание», «самоанализ». А когда человек в порыве самопознания выяснил, что он кормчий, начинаем иронизировать. Нехорошо это. Поэтому пусть читатель сам разбирается с автохарактеристиками, а мы кратко опишем то, что было написано о Никитенко другими авторами.

## **Глава 8. Портреты Никитенко**

*А вот это действительно умно! – подумал Варенуха...*

*М. А. Булгаков*

Мы уже упоминали в первой части опубликованные в «Историческом вестнике» комментарии к «Дневнику», написанные Владимиром Рафаиловичем Зотовым, объемом в сотню содержательных страниц. Чуть позже, в 1900 году, появилась статья Сергея Андреевича Столбцова, с которой могли познакомиться читатели «Нового русского журнала». Через два года – к двадцати пятилетию со дня смерти Никитенко – Сергей фон Штейн, тогда еще студент Санкт-Петербургского университета, написал биографический очерк. В Публичной библиотеке хранится экземпляр, подаренный им другу – Борису Владимировичу Никольскому. В этом очерке есть и библиография, достаточно уже обширная к тому времени.

Портрет, представленный молодым литературоведом, покрыт толстым слоем лака, который принято было использовать в те времена.

«Наша повседневная жизнь полна затаенного и глубокого трагизма», «печальная доля досталась», «свободолюбивые мечтания», «человек редкой работоспособности». И, разумеется, «всюду, где человечество делало полезные для своей свободы и своего внутреннего блага завоевания – Никитенко являлся на стороне прогрессистов, а не на стороне угнетателей ретроградов». Тут я хотел бы ненадолго остановиться и поговорить о слове «ретроград».



Есть, конечно, дураки. Если политический деятель попал в какую-то тупиковую ситуацию, что-то у него не получается, он ищет среди оппонентов дурака. Оп! И сразу ему легче. Он сразу становится прогрессистом, а этот оппонент ретроградом. Рунич и Магницкий – недалекие люди. Их история продолжалась недолго. Чего уж из этого делать политику! Но надо же себя представить прогрессистом.

Другая категория – люди типа Уварова. Нет, наверное, другого примера человека, который сделал бы так много для того, чтобы Россия чувствовала себя европейской страной. Причем, уважаемой страной. Но Уваров будет поумнее и менее скандален. И уже ему приходится сдерживать других от совершения глупостей. И чтобы указать на ретроградность Уварова, приходится приписывать ему слова, проверить подлинность которых мы не в состоянии. И поступки, о которых мы можем прочесть только у самого Никитенко.

Если не брать крайности, то вроде бы должна существовать третья категория – обычные люди, которых другие называют ретроgrадами по характеру их высказываний и поступков, которые всем известны. Приведем пример.

*6 марта 1831 года. Читал «Последний день приговоренного к смерти» Гюго. Очень хороший отзыв о произведении.*

*25 февраля 1834 года. Защищает Гюго в споре с друзьями. Чуть позже переживает, что не пропустили «Собор».*

*1 января 1835 года. Целая история с гауптвахтой из-за пропущенного стихотворения Виктора Гюго. Ну, прямо либерал. Очень страдает. Что ему приходится заниматься таким глупым и ретроградным делом, как отказывать в публикации такого невинного стихотворения. Лукавит наш цензор. Или действительно некомпетентен. Не в курсе, что в Париже целый скандал разразился из-за того, что не пропустили пьесу Виктора Гюго «Король забавляется». Известную нам больше по опере «Риголетто» – одному из шедевров Верди. Там король, а здесь герцог. И стихотворение – часть пьесы, речь короля, один из вариантов.*

Но хорошо, либерал. За Гюго горой. И вот проходит несколько лет. Хотя нет, не несколько, почти тридцать.

*14 февраля 1863 года*

*Говорят, Виктор Гюго написал прокламацию к полякам. Что же делать другого, как не возмущать общество этому высокопарному пустомеле, который, проповедуя равенство, так хорошо умеет обделывать свои собственные дела. Вот он и сейчас преподнес Европе, продав его за 400 тыс. франков, новый гениальный продукт [«Отверженные»] своего уродливого воображения.*

Ничего себе! Гюго стал «высокопарным пустомелей»! А кто-то из двоих: либо Гюго, либо Никитенко стал ретроградом.

Но не будем строго судить фон Штейна. Русский человек доброжелателен и обладает «всемирной отзывчивостью». Это он сейчас, обжегшись на молоке, дует на воду, а тогда выискивать в тексте какие-то несообразности не приходило в голову.

Тем более, что очень скоро угнетатели-ретрограды ушли в прошлое, и свобода радостно приняла фон Штейна и его друзей у входа. Сергей фон Штейн эмигрировал, а для Бориса Владимировича Никольского и многих его друзей не нашлось места на пароходе – они были расстреляны.

Поэтому всякие разговоры о «ясном сознании намеченной цели», о «светлой надежде, которая заставляет биться сердце честного человека» кажутся несколько странными и мистическими. Хочется разобраться в этом нагромождении сладостей и прочитать что-нибудь более умное, другого вкуса.

На охотника бежит зверь. Интернет предлагает нам эссе нашего уважаемого современника, уже, к сожалению, умершего – Вячеслава Леонидовича Глазычева «Горчащий привкус ума».

Как и в статьях, которые упоминались раньше, автор доброжелательно относится к своему персонажу, но здесь уже тема сужается и разговор заходит об уме. Действительно, свобода требует ума.

*10 апреля 1858 года*

*Вечером доклад министру по комитету цензурного устава. Мы занимались около двух часов, и оба порядочно устали. Да, трудно, очень трудно обеспечить свободу мысли.*

Но вот некоторые сентенции, выбранные Вячеславом Леонидовичем, действительно задумчивы.

*18 января 1858 года*

*Радикальные реформы редко не вредны.*

*Задуманные с лучшими намерениями, они почти никогда не достигают своей цели, потому что им недостает почвы. Почва будущего, во имя которого они предпринимаются, состоит из настоящего и прошедшего. Вещи, оторванные от того и другого, не идут, а мчатся в беспорядке, волнуются, блуждают, запутываются и производят хаос, из которого трудно бывает выбраться.*

Дело в том, что обращают на себя внимание и чаще называются радикальными именно те реформы, которые были проведены неудачно.

Социология – живая наука. Здесь, как, например, и в медицине, или в биологии очень трудно теоретизировать без примеров. Реформы Столыпина были, безусловно, радикальны. Были ли они не вредными? Наука говорит, вроде бы, что нет, наоборот, полезны. Безусловно полезными, хотя и радикальными, были реформы Уварова в области организации Народного просвещения. И, конечно, его реформа Академии наук была радикальной и полезной. Достаточно радикальными и полезными были реформы Канкрин. Ряд радикальных реформ Александра I в области государственного строительства был полезен.

Про почву Никитенко пишет красиво, но слишком красиво. Нужно, конечно, принимать во внимание, как мы жили и как хотим жить. А как еще? При чем тут почва прошлого и будущего?

Конечно, у нас очень плохо с социологией. Но неужели же читатель действительно думает, что никитенковские тезисы подобного рода способны хоть немного исправить положение?

## **Глава 9. Опять Византия**

*1 октября 1844 года*

*Поутру был у нашего министра. Кажется, на него порядочно подействовал прием лесты, поднесенный ему москвичами: он недавно приехал из Москвы. Слабые нервы этого живого, но нетвердого ума не выносят такого рода цекотания. Он ужасно вооружен против «Отечественных записок», говорит, что у них дурное направление – социализм, коммунизм и т.д. Очевидно, это навеяно московскими патриотами, которым во что бы то ни стало хочется быть вождями времени. Министр желает не щадить «Отечественных записок», между тем давно ли он словом и делом осуждал донос Буларина, составленный совершенно в том же духе?*

«Ум живой, но нетвердый». Такая характеристика была дана дворником Санкт-Петербургского университета профессору Дмитрию Ивановичу Менделееву, когда тот, чтобы развлечься и размяться, попросил у него топор и начал колоть дрова. Но что имел в виду этот дворник, так и осталось загадкой. Как, впрочем, и то, какой смысл вкладывал в эту формулу наш цензор. Что касается «Отечественных записок», то там сотрудничали в то время и Герцен, и Огарев, и многие другие, но журнал не запрещался при Уварове. Судя по нескольким подобным записям, министр просто делится с коллегой, хотя бы и подчиненным, своими впечатлениями, не предполагая, что тот собирается доносить эти впечатления до потомства.

Короче говоря: пока «никакого привкуса ума!» Ни с горечью, ни без горечи. Обычные записи. Но, может быть, чуть дальше зарыта собака?

*20 декабря 1848 года*

*Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское, не исключая науки и искусства, и уверяющий, что Россия столь благословенна Богом, что проживёт одним православием, без науки и искусства. Патриоты этого рода не имеют понятия об истории и полагают, что Франция объявила себя республикой, а Германия бунтует оттого, что есть на свете физика, химия, астрономия, поэзия, живопись и т.д. Они точно не знают, какую вонюю пропахла православная Византия, хотя в ней наука и искусство были в страшном упадке. Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не менее, чем во времена раскольников и стрелецких бунтов. Только прежде они не смели вылезать из своих тёмных нор, куда загнало их правительство, поощрявшее просвещение.*

Этот пассаж вообще загадочен. Россия такая страна, что если шляться по кабакам (см. запись от 25 июля 1864), то многое можно услышать. Но вот в печати, открытой или мемуарной, я такого не помню, чтобы полностью отрицались и науки, и искусства. Придурки есть в любой стране, но, вообще говоря, не принято на них ссылаться, если, конечно, не ставить перед собой специальную цель. Что означает намек на то, что наука и искусство были в упадке, не очень понятно. Особенно если учесть, что цензор, постоянно общаясь с президентом Академии наук, мог бы извлечь из этого общения какую-то для себя пользу. Однако, судя по дневнику, наш персонаж не был в курсе, что физика и химия есть и в России.

К тому времени, как был написан этот отрывок, уже испытывали электродвигатели на лодках и они даже перевозили пассажиров по Неве. Именно в России была изобретена гальванопластика и к тому времени она уже использовалась. Например, для изготовления скульптур Исаакиевского собора. Как раз перед этим коллега Никитенко (профессор Санкт-Петербургского университета и академик) Эмиль Христианович Ленц формулирует закон, который стал называться законом Джоуля–Ленца, а незадолго до этого закон индукции (правило Ленца). Еще десять два русских ученых того времени можно было бы назвать. Например, первым профессором физики в Петербургском университете был М. Ф. Соловьев, который, впрочем, считается скорее химиком. Ни одно из этих имен не упоминается в дневниках Никитенко. Что ему Гекуба?

Что касается химии, то здесь одной страницей мы бы не отделались. Полсотни первоклассных имен можно было бы назвать: Г. И. Гесс, А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров. Впрочем, я советую читателю найти в Интернете обзор Е. Н. Будрейко «Становление и развитие химии в России».

Нужно ли про астрономию? Короче не будет.

Нужно ли про математику? Лобачевский, Чебышев, Остроградский, Буняковский – это все звезды первой величины.

Разумеется, читатель легко дополнит приведенные сведения информацией, полученной в Интернете или многочисленных книгах и статьях, но я завел этот разговор для того, чтобы указать на один социальный феномен, который, как мне представляется, не имеет удовлетворительного объяснения до сих пор.

В тридцатые годы двадцатого века американский математик Джордж Дейвид Биркгоф на одном из съездов делал доклад «Пятьдесят лет американской математике». В те времена, о которых мы говорим, то есть когда было написано замечание Никитенко, математики в США не было. И не только математики. Ну и что? Вы можете указать хоть один пример американской «рефлексии», подобной никитенковской? Но, может быть, это единственный пример? Да нет. Я не говорю про классику русофобии типа де Кюстина или «Россия и русские» Н. И. Тургенева. Возьмите хоть статью Ключевского «Евгений Онегин и его предки». Та же самая закомплексованность, хоть и выраженная более художественно.

Но вернемся к цитате из «Дневника». Какой же *«воню пропахла православная Византия, хотя в ней наука и искусство были в страшном упадке»*? Далась ему эта Гекуба! Что он вместе с де Кюстином пристал к Византии?

Обратимся к Интернету. Беру цитату из Википедии.

*Византия создала блестящую культуру, может быть, самую блестящую, какую только знали средние века, бесспорно единственную, которая до XI в. существовала в христианской Европе. Константинополь оставался в течение многих столетий единственным великим городом христианской Европы, не знавшим себе равных по великолепию. Своей литературой и искусством Византия оказывала значительное влияние на окружавшие её народы. Оставшиеся от неё памятники и величественные произведения искусства показывают нам весь блеск византийской культуры. Поэтому Византия занимала в истории средних веков значительное и, надо сказать, заслуженное место.*

Если вы не доверяете Википедии, обратитесь к трудам С. С. Аверинцева. Есть масса других исследований. Но, может быть, Никитенко просто мало еще знал о Византии? Непонятно. Я мало знаю о какой-то стране. Но я ведь не говорю, что она «воню пропахла». Человек-то культурный. Зря не будет употреблять столь радикальные выражения. В чем же функциональное значение этого «пинакля»?

## **Глава 10. Авария**

У швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта есть небольшая повесть «Авария». Сюжет ее достаточно прост. У главного героя, простого обывателя, коммивояжера заглох мотор автомобиля, и ему пришлось ночевать в небольшой деревушке, жители которой предложили сыграть с ними в забавную игру под названием «суд». При этом герою была предложена роль подсудимого. Тот опрометчиво согласился, не понимая, что был бы подсудимый, а уж проступки найдутся. Кончилась эта игра грустно. Смысл повести прост. Был бы объект, а уж грехи найдутся.

Не думаю, что у Византии грехов больше, чем у любой другой страны. Во всяком случае, она не устраивала крестовые походы в Европу. Но попробуем разобраться, в чем же причина неприязненного отношения нашего подопечного к этой стране. И почему такое отношение считается признаком ума, да еще и с горечью.

Отодвинемся немного назад и вспомним, что восхождению Никитенко помогла его деятельность в библейском обществе. Очень провинциальном филиале, но все-таки. Как, например, и в случае с Михаилом Сперанским. И такой же головокружительный подъем по социальной лестнице, объясняемый незаурядным умом (с горечью) и работоспособностью. Но при этом никаких свидетельств «библейской образованности». За исключением ненависти к Византии, откуда пришли на Русь иконы, троица и многие устои и традиции

православной церкви. С проявлениями неприязненного отношения к иконам мы встречаемся нередко, оно выражается по-разному.

Если бы Гоголь и Белинский образовывали бы партии, то Никитенко, без сомнения, состоял бы в партии Белинского. Ну и что же! Пусть себе. Но в чем же ума горечь?

*По-вашему, русский народ – самый религиозный народ в мире? – Ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об иконе: «Годится – молиться, не годится – горики покрывать». Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ.*

*В.Белинский*

*Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву... как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков – никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копые, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик.*

*Н.В. Гоголь*

Подросток, играя, упал с крыши сарая и прикусил язык. Ничего страшного, но во рту образовалось немного крови, имеющей горьковатый привкус.

Аист, пролетая из Египта в Швецию, уронил ребенка по дороге. Конечно, трагедия. Угораздило ведь родиться с умом и талантом не в той стране. Да еще и ушибся при падении. Отсюда и горьковатый привкус. Драма. Авария.

## **Глава 11. О вкусах не спорят**

*10 апреля 1834 года*

*Зван сегодня к Каратыгину, чтобы выслушать конец трагедии Кукольника «Ляпунов». Но три первые акта этого рабского писания мне слишком опротивели. Я не поехал.*

Разговор ведь о вкусах. У Кукольника есть несколько «патриотических» сочинений, из которых нам более известна «Рука всевышнего». И соответствующая опера Глинки, которая была прекрасно принята публикой. Есть у этой пары замечательный цикл романсов «Прощание с Петербургом» и менее известная опера «Князь Холмский». Мне музыка нравится. И увертюра, и все антракты. Чудесная музыка. Жаль, что почти не исполняется.

Но есть у Кукольника и драма «Ляпунов». Позже стала называться «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский». Эта совсем неизвестна.

«Вообще наивность – одно из главных качеств трагедии г. Кукольника» – сказал кто-то (кажется, И. С. Тургенев) по поводу одного из его произведений. Это же можно отнести и к драме «Ляпунов». Но, тем не менее.

*БОЛОТНИКОВ. Отечество? Теперь  
У нас другой предмет кровавой брани;  
Теперь моя дружина удалая,  
Разгульная веселая толпа,  
Не тем полна.. Жги, режь, опустошай!  
Шар покати, нигде не спотыкнется,  
Все гладь, да гладь! Вот любо, вот война!  
А там, что будет, ведомо не нам,  
Да нам и дела нет...*

*ЛЯПУНОВ (с ужасом). И я в союз  
С бесчестным мужиком!.. О Всемогущий!  
Ему ли быть вождем великой рати?  
В нем сердце крот: и холодно и слепо;  
Он не согрет любовью к отчизне;  
Его душа добычи подлой жаждет,  
Пожаров, смерти, крови, разрушений,  
И он мне равен, Боже, он мне равен!..  
Я Русь люблю, как собственную душу,  
Я к ней горю сыновнею любовью,  
Я за нее продам себя татарам,  
Я за нее пойду в полон турецкий,  
Все за нее, весь за нее готов  
Куда она велит, – и он мне равен!!*

Разные вкусы могут быть у людей. Мне было интересно, моему тезке не понравилась. Да еще и «рабское писание». Зато мне не понравилась поэма Рылеева «Войнаровский», от которой Никитенко был в восторге.

## **Глава 12. Ум живой, но нетвердый**

*С ранних дней  
К презренью приучил он взоры,  
Но сердца пылкого не мог  
Заставить так же охладиться...  
М.Ю. Лермонтов*

«Дело Никитенко» публикуется в юбилейный год – столетия Великой революции. Совпадение чисто случайное. Не стоит здесь притягивать за уши мысли, что варится какой-то бульон, что появляются признаки, призраки или тенденции. В любом живом человеческом организме, вполне здоровом, полно разных микробов, бактерий, вирусов и тому подобных неприятных вещей. Но это не означает, что организм сейчас распадется.

Так и с социальным организмом – люди есть разные, с пылким сердцем, они спорят, ссорятся, но это еще не означает, что грядет свобода. Задача настоящего текста – показать, насколько можно доверять запискам Никитенко при оценке поступков и слов Уварова в то время, когда разгорался скандал вокруг «Оды Лукуллу». Конечно, и сами элементы социальной психологии интересны. Но иногда бывает трудно разобраться в многозначительных пафосных сентенциях. Например:

*29 декабря 1867 года*

*Россия – странное государство: это страна всевозможных экспериментов – общественных, политических и даже нравственных, а между тем ничто не укореняется в ней надолго. Залог ли это будущей самобытности, которая не успела еще отыскать своей точки опоры, или доказательство неспособности установиться на чем-либо определенном или твердом, и судьба ее вечно колебаться и бессознательно переходить от одной формы жизни к другой? Избави Бог!*

Что человек имеет в виду?! Сто лет назад был популярен стишок: «*другие сеют рожь, овес, пшеницу, яровые, а мы решаем все вопросы мировые*». Но во времена Никитенко сеяли и овес и рожь и железные дороги строили. Вот эта неопределенность, связанная с многозначительностью, очень мешает. Вообще нужно сказать, что социология и социальная психология – очень важные науки, очень хочется разобраться во многих вещах, но как только начнешь читать что-нибудь такое, то либо про выборы, либо закатывание глаз – «О, Господи, вот все у нас так!» Иногда, правда, для поддержания духа что-нибудь абстрактно хорошее, этакое былинное добавляется.

*25 июля 1864 года, суббота*

*Удивительный этот русский народ! Ума не приложишь к нему. Ведь вот, например, теперь заворовался, запил, заплутовался так, что, ей-Богу, серьезно говоря, тяжело с ним жить. А между тем чувствуешь, что в нем есть что-то, которое так и тянет к нему, что-то до того доброе, умное, обаятельное, что никакой немец, никакой француз и даже англичанин не могут с ним сравняться. Вот и бьешься с ним, как рыба об лед. Беспреданно он то бесит тебя своими гадостями в кабаках, на улицах, на рынках, в мастерских; то в самые мрачные минуты вырывает у вас улыбку веселья своим простодушным, беззлобным и беззаботным пренебрежением всех житейских невзгод и трудностей; то троеает вас до слез какою-нибудь истинно великодушною геройскою выходкою, вовсе не кокетничая ею и не понимая даже смысла ее.*

Косит под Гоголя. Но Никитенко жалче. Все-таки как рыба об лед. Больно должно быть. Неприятно. Но очень уж всерьез принимать во внимание тезисы мемуариста не стоит. Мало ли что в дневнике напишешь. Даже Византию с иконами можно было бы простить. Тем более, что уже в седые годы он смягчился.



*1 января 1875 года, среда*

*Все ложь, все ложь, все ложь в любезном моем отечестве. У нас есть хорошая восточная православная религия. Но в массе народа господствует грубое суеверие; в высших классах или полный индифферентизм, или неверие под маскою новых идей или научного высокомерия. У нас есть законы; но кто их исполняет из тех, кому выгодно неисполнение их, или кто поставлен блюсти за их исполнением? У нас есть наука; но кого она серьезно занимает и кого она настолько возвышает нравственно, чтобы он не был готов пожертвовать ею для так называемых существенных, материальных целей? В последнее время у нас появились учреждения с либеральной закваскою; но им предоставлено свободы настолько, насколько угодно это произволу какого-нибудь высшего чиновника, который готов доказать, как дважды два четыре, что в этих учреждениях скрывается великое зло для государства и что нужно их так обставить и ограничить, чтобы они сохранили свое имя, но не могли бы делать того, что скрывается под этим именем. У нас множество разных промышленных обществ, ассоциаций, которые обогащают пять или шесть человек, поставленных в их главе, и разоряют тысячи людей. Да можно ли перечесть все противоречия у нас наружного с внутренним? В одном нет лжи – что мы составляем государство сильное, способное сделать отпор какому угодно внешнему врагу, который бы дерзнул на нас напасть.*

*Но есть еще одно, в чем мы не лжем: это состояние наших нравов. Тут мы не обещаем ничего, а прямо заявляем, что у нас нет общественного духа ни на йоту, тут открыто и неллицемерно мы ворует, пьянствуем, мошенничаем взапуски друг перед другом.*

Русофобия, конечно, но уже какая-то более добрая, что ли. И законы есть. И наука появилась. И даже «восточная православная религия» стала хорошей. С иронией, конечно, но все-таки. Замечу кстати, что столица Византии, Константинополь, находится западнее Санкт-Петербурга. А вот Палестина, откуда пришло в мир христианство, много восточнее. Странное это было библейское общество.

Впрочем, если играть в игру под названием «суд», то для тренировки, быть может, начать с какого-нибудь другого народа? Жаль, что мы это не умеем. Ну и ладно, оставим. В этой статье нас интересует другое.

Нас интересуют отношения Никитенко с Уваровым.

Никитенко по просьбе Уварова давал частные уроки его сыну – Алексею. В конце мы печатаем письмо преподавателя своему подопечному. Точнее – черновик письма, оставшийся у Никитенко и сохраненный в его архиве.

Отмечу, что адресату, Алексею Сергеевичу Уварову, сыну Сергия Семеновича, в момент написания письма было шестнадцать лет.

*Окончание следует.*

18.331.1.709

СЕРГѢЙ ФОНЪ ШТЕЙНЪ

А. В. НИКИТЕНКО

1805—1877

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Биографический очерк  
о Сергѣе Владиміровичѣ  
Штейнѣ

Вит.  
Нос.

на основу глас.  
и архивныхъ  
матеріаловъ  
автор.

Сергей фон Штейн

**А. В. Никитенко. Биографический очерк**

С. ПЕТЕРБУРГЪ

1902



## А. В. НИКИТЕНКО.

Къ двадцатипятилѣтїю со дня его смерти.

1877—21 іюля—1902.

«Цѣлую жизнь мою я стремился къ одному, чтобы быть возвыстителемъ и защитникомъ чистой красоты въ жизни и въ искусствѣ... Это было не юношеское одушевленіе, не поэзія возраста—нѣтъ, у меня это была строга, непреложная задача жизни,—знамя, подъ которое я сталъ и спую среди людей, и на которомъ запеклось много крови изъ моего сердца».

А. В. Никитенко. «Дневникъ». 16 января 1884 года.



Ваша повседневная жизнь полна затаеннаго и глубокаго трагизма, но сѣрая дѣйствительность, въ своемъ мертвомъ теченіи, мимолетно скользитъ по гладкой поверхности души человѣческой, не оставляя въ ней замѣтнаго слѣда. Намъ часто случается сблизаться съ окружающими, привыкать къ ихъ лицамъ, рѣчамъ, обычаямъ и оставаться равнодушными къ ихъ внутреннему міру, ссылаясь на пословицу: «чужая душа—потемки», когда винить приходится только себя, да присущее людямъ эгоистическое безразличіе. Проходитъ время, событія смѣняются событіями, и мы неожиданно узнаемъ, что «близкій» человѣкъ, въ недавній минуты пустого и веселаго разговора съ нами, переживалъ мучительную житейскую драму, которая вчера еще была для всѣхъ непроницаемою тайной, а сегодня привела его къ роковому исходу.

То же повторяется въ исторіи.

Минувшему извѣстны мощныя личности, неодолимо притягивающія къ себѣ послушное вниманіе потомства. На разные лады толкуются подробности ихъ жизни, но слова и поступки, пройдя горнило историческаго испытанія, находятъ правдивую оцѣнку. Геній всегда постоитъ за себя, ибо является вѣчнымъ магнитомъ, тая постоянный, непреходящій интересъ. За примѣромъ ходить некогда: въ шестидесятыхъ годахъ, создатель реальной

критики Писаревъ безнадежно жестоко развѣнчалъ Пушкина и современникамъ минутами казалось, что самое имя автора «Евгенія Онѣгина» должно безслѣдно исчезнуть изъ памяти народной,—но поколѣнія шли за поколѣніями и долгіе годы покрыли прахомъ забвенія—не пѣсни славнаго пѣвца Земли Русской, а творенія пылкаго критика эпохи реформъ, и предъ нами, счастливыми свидѣтелями 26 мая 1899 года, вѣявъ сбылось вдохновенное пророчество поэта:

«Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой  
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ»...

Совсѣмъ иначе стоитъ дѣло простыхъ и скромныхъ людей, незамѣтныхъ, но полезныхъ труженниковъ. Въ посмертной жизни своей на землѣ—они беззащитны. Упадеть на нихъ не во-время неблагосклонный взоръ историка и, не входя во всесторонній анализъ ихъ міра душевнаго, онъ осудитъ сплеча, на основаніи бездушной буквы формальныхъ документовъ, дѣла ихъ и стремленія, вынесетъ неумолимо строгій обвинительный вердиктъ и надолго, если не навсегда,—воздвигнетъ имъ незавидный памятникъ «себѣ во славу, людямъ въ поученіе».

Эта печальная доля досталась Никитенкѣ, одному изъ замѣчательныхъ русскихъ людей XIX столѣтія. Судьба, изломавъ его, заставила идти

по тернистому пути, чуждому идеалам эстетика и гуманного человека, прекратив же проникнутую скорбными разочарованиями жизнь, не позабыла своей жертвы за гробом: критика, характеризует посмертные «Дневники» и «Записки», ославила Никитенку самодовольным оппортунистом, всегда развивавшим философию приспособляемости, граничившую с Молчалинским мировоззрением.

Приговор рѣзкий и, на наш взгляд, вѣ основѣ своей несправедливый.

Александръ Васильевичъ Никитенко родился въ мартѣ 1805 года крѣпостнымъ графа Шереметева въ деревнѣ Ударовкѣ, Бирюченскаго уѣзда Воронежской губерніи.

Обладая прекраснымъ голосомъ, Никитенко-отецъ обратилъ на себя вниманіе своего владѣльца и попалъ въ пѣвческую капеллу, предварительно окончивъ существовавшую при ней начальную школу. Полученная имъ познанія были, конечно, не велики, но онъ умѣло пополнялъ ихъ всю жизнь разнообразнымъ чтеніемъ. Съ годами, когда головныя средства измѣнили Василію Никитенкѣ, онъ, сохраняя расположеніе Шереметева, получилъ видное мѣсто старшаго писаря въ вотчинной канторѣ, что сразу выдѣлило его изъ среды многолюдной графской челяди.

«Приступивъ къ отправленію своей должности, онъ скоро убѣдился, что грубая сила и богатство, а не человѣчность и справедливость располагаютъ дѣлами и жребіемъ людей. Тогда онъ вообразилъ себѣ, что избранъ Провидѣніемъ дать своей родинѣ другое устройство, установить равновѣсіе между людьми привилегированными и бѣдными и учредить такой порядокъ, чтобы послѣдніе всегда находили защиту противъ самоуправства и произвола первыхъ, то-есть, онъ предпринялъ дѣло, которое еще никому въ мірѣ не удавалось. Мысль эта до того овладѣла имъ, что онъ забылъ всякую осторожность и скудость средствъ, какими располагалъ для борьбы со зломъ».

Первые шаги на новомъ поприщѣ были очень неудачны для смѣлаго реформатора изъ крѣпостныхъ. Обрушившись на взяточничество, процвѣтавшее въ администраціи имѣніями гр. Шереметева, онъ своею непрошеною проповѣдью возмущилъ сослуживцевъ и послѣ ожесточенныхъ клеветъ и гоненій былъ сосланъ въ дальній уѣздъ Смоленской губерніи. Семья безропотно послѣдовала за изгнанникомъ, дѣля невзгоды его почти нищенской жизни. Перебиваясь грошевыми уроками и случайною работою, доставлявшеюся рѣдкими благодѣ-

телями, онъ не измѣнялъ до конца своимъ убѣжденіямъ, открыто говоря правду въ лицо и равнымъ, и высшимъ.

Нерадостно проходили дѣтскіе годы его сына.

Ранными впечатлѣніями молодого Никитенки были слезы матери и глухая затаенная скорбь отца. Униженное положеніе гонимаго и постоянная лишенія могли бы пагубно отразиться на мировоззреніи ребенка, но, къ счастью, дѣтская безпечность заставляла, въ общеніи съ природою, забывать гнетущія печали. Когда же пора беззаботныхъ игръ и веселыхъ шалостей миновала, мальчикъ сталъ вдумчивѣе вглядываться въ окружающее и отецъ, заботливо слѣдившій за духовнымъ развитіемъ сына, поспѣшилъ открыть предъ нимъ новый міръ, ознакомивъ съ русскою грамотою. Втянувшись въ чтеніе, Никитенко незамѣтно перешелъ къ авторству. «Всѣ клочки бумажки, какіе только мнѣ удавалось добыть», — вспоминалъ онъ много лѣтъ спустя, — «испещрялись изліяніемъ моихъ мыслей и чувствъ. Я давалъ имъ форму писемъ къ пріятелямъ, которые, конечно, никогда не получали ихъ, а получивъ, не могли бы прочесть, такъ какъ плохо, или вовсе не умѣли читать».

Среди случайностей кочевой жизни, которую вела семья будущаго писателя, о систематическихъ занятіяхъ, понятно, не могло быть и рѣчи, но потребность въ нихъ сказалась рано. На одиннадцатомъ году мы видимъ юнаго Никитенку уже на школьной скамьѣ въ Воронежскомъ уѣздномъ училищѣ.

Три года, проведенные среди новыхъ лицъ, въ новой обстановкѣ ребенкомъ, почти предоставленнымъ самому себѣ, развили въ немъ независимую самостоятельность, но въ учебномъ отношеніи дали, вѣроятно, не много. Быстро обогнавъ своихъ товарищей, Никитенко занялъ въ классѣ первое мѣсто, котораго не покидалъ до окончания курса. Среди учителей ему посчастливилось найти людей отзывчивыхъ, обратившихъ вниманіе на даровитаго подростка, который навсегда сохранилъ благодарныя и теплыя воспоминанія о своихъ школьныхъ наставникахъ: кандидатѣ Харьковскаго университета Н. Л. Грабовскомъ и непризнанномъ провинціальномъ поэтѣ А. И. Морозовѣ.

Тринадцати лѣтъ Никитенко блестяще окончилъ училище, получивъ на актѣ аттестатъ свой изъ рукъ епископа Антонія, который обласкалъ его, «погладилъ по головѣ и, вручая документъ, съ улыбкою проговорилъ: «Умный мальчикъ! Продолжай хорошо учиться и благоправно вести себя: будешь человѣкомъ».

Слова владыки пробудили в душѣ «умнаго мальчика» цѣлую бурю горькихъ думъ и безнадежныхъ стремленій. Книга и страсть къ ней были жизнью Никитенки, но двери гимназіи, куда перешли многие изъ его друзей-сверстниковъ, оказались навсегда закрытыми предъ крѣпостнымъ. Всѣ хлопоты, попытки и планы оставались безплодными, разбиваясь о суровую дѣйствительность: приходилось смириться и ждать.

И снова потянулись докучно вереницей дни скитаній изъ-за куска хлѣба полуробенка-полуюноши въ роли «ученаго педагога». Снова мимо него замелькали картины, образы и крутые порядки помѣщичьяго быта «добраго стараго времени». Мало познаній дали эти впечатлѣнія, но многое внесли въ сокровищницу житейскаго опыта, закаливъ неустановившійся характеръ Никитенки въ общеніи съ чуждыми ему по развитію, уму и наклонностямъ людьми. Наконецъ, послѣ долгихъ скитаній, онъ попалъ въ «Воронежскія Авины» — уѣздный городокъ Острогожска.

Жители его въ ту пору «витаѣли въ сферахъ, казалось бы, мало доступныхъ для медвѣжьяго угла, въ который ихъ забросила судьба. Ихъ занимали вопросы литературные, политическіе и общественные. Они препирались не за одни личные интересы, но и за принципы. Въ нихъ проглядывало стремленіе къ свободѣ и сознательный протестъ противъ гнета тогда всемогущаго бюрократизма».

Сравнительно высокий культурный уровень острогожскаго общества неизбѣжно привелъ Никитенку къ мучительному неудовлетворенному чувству тяжелаго разлада между насущными заботами и міромъ идеальныхъ мечтаній. Въ своихъ «Запискахъ» онъ наибѣгаетъ среди мѣстныхъ обывателей типичную галерею развитыхъ судьбою и родственныхъ ему по духу существованій, встрѣтившихъ доброжелательно и радушно бѣдняка — крѣпостного учителя, въ душѣ котораго все съ большою силою возвышала свой настоятельный голосъ мысли о личной свободѣ. Но онѣ были безпочвенны, ибо осуществить ихъ безъ сильной дружеской поддержки, Никитенкѣ было не подъ силу. «Нѣтъ!» — восклицаетъ онъ черезъ тридцать лѣтъ въ своихъ «Запискахъ», — «никто и ничто не можетъ передать тѣхъ нравственныхъ мукъ, путемъ которыхъ шестнадцатилѣтній юноша, полный силъ и, надо сказать, мужества, дошелъ до мысли о самоубійствѣ, и въ ней одной нашелъ успокоеніе. Она свѣтлымъ лучемъ запала мнѣ въ душу и сразу подняла

мой духъ. «Нѣтъ», — сказалъ я себѣ, — «такъ негодится: этому не бывать! Пусть я не самъ себѣ господинъ, пусть я ничто въ глазахъ людей и ихъ законовъ! У меня все же есть одно право, котораго никто не въ силахъ лишить меня: это — право смерти. Въ крайнемъ случаѣ, я не премину воспользоваться имъ. А до тѣхъ поръ — смѣло впередъ!»

«Я добылъ пистолетъ, пороху, двѣ пули: изовсѣхъ родовъ смерти я почему-то предпочелъ смерть отъ пули. Съ этой минуты я успокоился. Въ меня вселилась новая отвага: я былъ подъ защитой смерти, и ничто больше не страшило меня».

Въ эту критическую минуту судьба пришла на помощь Никитенкѣ.

Отшумѣвшая гроза 1812 года и заграничные походы завершились давно желаннымъ миромъ. Наши войска, понемногу покидая чужія страны, возвращались на родину, полныя впечатлѣній ото всего видѣннаго и слышаннаго. Время критическаго отношенія къ пережитому еще не наступило, а «дымъ отечества» послѣ продолжительной съ нимъ разлуки «былъ сладокъ и пріятенъ». «Спасителей родины» встрѣчали повсюду съ горячею радостью: ихъ рассказы являлись живою лѣтописью событій животрепещущаго интереса, едва отошедшихъ въ область преданія. На долю Острогожска, по расквартированію, досталась первая драгунская дивизія и «лучшая часть общества широко раскрыла двери своихъ домовъ на побывку офицерамъ».

Вспоминая это время, Никитенко рисуетъ духовный міръ современной ему военной молодежи чертами, извѣстными по запискамъ декабристовъ. «Сближеніе съ западно европейскою цивилизаціей, личное знакомство съ болѣе счастливымъ общественнымъ строемъ, выработаннымъ мыслителями конца прошлаго вѣка, наконецъ борьба за великіе принципы свободы и отечества, все это наложило на нихъ печать глубокой гуманности и въ этомъ они сходились съ представителями острогожскаго интеллигенціи. Немудрено если между ними и ею завязалось непрерывное общеніе. И я не былъ отринутъ ими, напротивъ, принятъ съ распростертыми объятіями и братскимъ участіемъ. Они видѣли во мнѣ жертву порядка вещей, который ненавидѣли, и, подъ вліяніемъ этой ненависти какъ бы смотрѣли на меня сквозъ увеличительные очки — превеличивали мои дарованія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и трагизмъ моей судьбы. Отсюда отношеніе ихъ къ бѣдному, обездоленному мальчику носило харак-

теперь не одного участия, но и своего рода уважения. Люди вдвое, втрое старше меня и неизмеримо превосходившие меня знанием и опытом водились со мною, какъ съ равнымъ. Я былъ постояннымъ участникомъ ихъ бесѣдъ, вечернихъ собраний и увеселеній.

Для Никитенки не были тайною свободоловбивыя мечтанія, столь развитыя въ военной средѣ первой четверти XIX вѣка и нѣсколько лѣтъ спустя образовавшія Союзъ Благоденствія съ тайными политическими цѣлями: не сочувствовать имъ юноша, понятно, не могъ. Съ другой стороны, развивающее влияние споровъ и бесѣдъ на отвлеченныя темы отразилось вскорѣ на выборѣ его чтеній, которое раньше носило случайный характеръ: теперь оно постепенно приходитъ въ систему. Ознакомившись, подъ руководствомъ новыхъ друзей, съ лучшими представителями русской поэзіи, онъ обращается къ общественнымъ и правовымъ наукамъ.

Представленный командиру первой конногвардейской дивизіи генералу Юзефовичу, Никитенко снискалъ его расположеніе и, по обязанностямъ домашняго секретаря и учителя его племянницы, сопутствовалъ ему въ переездахъ по Украинѣ. Новая служба длилась недолго. Сначала Никитенко, томимый тоскою по родинѣ, подъ впечатлѣніемъ смерти отца, опасно заболѣлъ, а оправившись не могъ продолжать своего дѣла, ибо Юзефовичъ внезапно для близкихъ сошелъ съ ума.

Вернувшись въ Острогжскъ и съ большимъ трудомъ получить право преподаванія въ уѣздномъ училищѣ, Никитенко сталъ изо дня въ день тянуть однообразную и томительную преподавательскую ляжку, когда въ городѣ открылось по инициативѣ окрестныхъ помѣщиковъ «сотоварищество» или отдѣленіе Библейскаго общества. Созданное, какъ извѣстно, подъ влияніемъ Священнаго Союза и мистическихъ вѣяній второй половины царствованія императора Александра I, Библейское общество, имѣя въ виду духовно нравственное просвѣщеніе народа, оставило замѣтный слѣдъ въ культурной исторіи Русскаго государства. Избранный секретаремъ Острогжскаго «сотоварищества», Никитенко быстро выдвинулся своею энергичною дѣятельностью, а блестящая рѣчь его на торжественномъ публичномъ собраніи 27 января 1824 года доставила ему знакомство съ тогдашнимъ министромъ народнаго просвѣщенія княземъ А. Н. Голицынымъ.

Съ того дня надъ головою Никитенки занялась, по собственному его выраженію, — «заря лучшаго».

Цѣлый годъ прошелъ для него въ тревожныхъ смѣнахъ свѣтлыхъ надеждъ и мрачнаго отчаянія. Несмотря на убѣжденія князя Голицына, графъ Шереметевъ долго упорствовалъ и только влияние товарищей кавалергардовъ, подстрекаемыхъ К. Ф. Рылѣвымъ, — да гольсь общественнаго мнѣнія, сказавшійся въ громкихъ толкахъ великосвѣтскихъ гостинныхъ, осилили его настойчивость и 11 октября 1824 года онъ уступивъ подписалъ вольную своему «безпокойному крѣпостному»\*).

«Я отказываюсь», — пишетъ Никитенко, — «говорить о томъ, что я пережилъ и перечувствовалъ въ эти первыя минуты глубокой потрясающей радости... Хвала Всемогущему и вѣчная благодарность тѣмъ, которые помогли мнѣ возродиться къ новой жизни!»

Наступилъ 1825 годъ, наиболее темный въ биографіи Никитенки. Пользуясь покровительствомъ князя Голицына, онъ былъ принятъ въ Петербургскій университетъ безъ вступительнаго экзамена и получилъ отъ министерства народнаго просвѣщенія денежное пособіе, значительно облегчившее крайне стѣсненное матеріальное положеніе и первые самостоятельные шаги юнаго провинціала въ столицѣ. Но окончившись въ академическую жизнь, онъ не забывалъ вопросовъ жизни общественной. Тѣсно сблизившись черезъ Рылѣва съ княземъ Евгениемъ Оболенскимъ, Никитенко переселился къ нему для воспитанія младшаго его брата. За студенческими лекціями и въ бесѣдахъ съ пріятелями Оболенскихъ быстро проходило время, когда неслышно подкрались декабрьскіе дни. Они разметали лучшихъ друзей Никитенки по дальнимъ окраинамъ Россіи, оставивъ его одинокимъ съ неразрѣшенными вопросами, безпокойными думами и лихорадочною тревогою за свою судьбу.

Время это было переломнымъ и жуткимъ для Никитенки. Паденіе крайняго нервнаго напряженія, вызваннаго развязкою, роковою для близкихъ его сердцу участниковъ декабрьскаго возмущенія, — повлекло за собой наступленіе реакціи или, вѣрнѣе, апатичной усталости. Послѣднія событія съ ихъ грустными результатами глубоко запечатались въ душѣ Никитенки. Судьба Рылѣва, которому онъ былъ обязанъ многимъ въ дѣлѣ нравственнаго своего развитія поразила его своимъ потрясающимъ трагизмомъ. Безпощадная буря, заставившая богато одаренную натуру замкнуться, углубившись

\* Семья Никитенки еще пятнадцать лѣтъ оставалась во владѣніи графа Шереметева и была освобождена имъ лишь въ апрѣлѣ 1841 года, благодаря ходатайству В. А. Жуковскаго.

въ себя, убѣдила Никитенку въ безплодности жертвъ и причинила на многіе годы относиться съ грустнымъ недовѣріемъ къ освободительнымъ по-рывамъ. Онъ былъ уже готовъ уйти въ чуждый общественныхъ тревоженій свѣтлый міръ научно-эстетическихъ наслажденій, скрываясь отъ назойливой суеты, но рокъ распорядился съ нимъ иначе. Талантливый юноша—вольноотпущенникъ, умудренный житейскимъ опытомъ,—оказался дорогой находкой для административныхъ плановъ новаго царствованія—и вотъ начинается его многолѣтняя государственная служба. Никитенко не уклонился отъ нея потому лишь, что зналъ изъ личного опыта, какъ благотворно влияние живой личности на мертвящій воздухъ казенной дисциплины и сухого формализма. Поступившись личнымъ счастьемъ, онъ во всю остальную жизнь постоянно стремился смягчать воздѣйствіемъ своихъ гуманныхъ взглядовъ суровый гнетъ тогдашней бюрократической рутины.

Строго говоря, 1825 годъ завершилъ первую «многообѣщавшую» половину жизни Никитенки, вторая—въ извѣстной степени была формальнымъ выполненіемъ прежде обѣщаннаго—и, кто знаетъ, какъ развернулся бы талантъ юнаго студента, попади онъ въ иную обстановку, не будь у него за плечами убившаго столь много силъ и упований прошедшаго. Вглядываясь безпристрастнымъ и спокойнымъ взоромъ въ прошедшее, прослѣдивъ всю многолѣтнюю дѣятельность Никитенки, мы приходимъ къ тому заключенію, что цензоръ Николаевскаго царствованія была такою же жертвой своего времени, какъ Пушкинъ, Полежаевъ, Бѣлинскій, Герценъ и другіе, «имя же имъ—легионъ».

На второй годъ пребыванія въ университетѣ, Никитенко напечаталъ въ «Сынѣ Отечества» разсужденіе «О преодолѣніи несчастій», которому очень посчастливилось. Остановивъ на себѣ вниманіе публики, статья доставила автору нѣкоторую извѣстность въ литературныхъ кружкахъ и благосклонное расположеніе К. М. Бороздина, бывшаго тогда попечителемъ Петербургскаго учебнаго округа. Преподавательская дѣятельность Никитенки ограничивалась уроками въ великосвѣтскомъ семействѣ Штеричей, одного изъ членовъ котораго онъ обучалъ «наукамъ, нужнымъ для дипломатической службы», продолжая свои личныя занятія съ прежнимъ рвеніемъ. Сдавъ отличныя выпускные экзамены, Никитенко, въ февралѣ 1828 года, окончилъ курсъ кандидатомъ правъ.

Несмотря на убѣжденія университетскихъ профессоровъ, Никитенко не пошелъ обычной доро-гою: онъ отвергъ предложенное ему мѣсто профессора исторіи въ Демидовскомъ Ярославскомъ училищѣ и уклонился отъ командировки въ чужіе края для подготовленія къ профессорской кафедрѣ. «По возвращеніи изъ-за границы»,— заноситъ онъ въ свой «Дневникъ» руководившія имъ соображенія,— «придется четырнадцать лѣтъ служить профессоромъ по назначенію правительства. Я люблю науку и жажду познаній, но не въ качествѣ ремесленника, а главное—не могу помириться ни съ чѣмъ, что хоть сколько-нибудь отзываетъ закрѣпощеніемъ себя. Раны отъ неволи еще слишкомъ свѣжи во мнѣ для того, чтобы я добровольно согласился еще разъ испытать ее на себѣ, хотя бы въ смягченномъ и облагороженномъ видѣ. Искушеніе усовершенствоваться въ Германіи, конечно, велико, но я предпочитаю свободно располагать своею будущностью въ Россіи».

Съ первыхъ же шаговъ Никитенки на служебномъ поприщѣ, ему досталась любопытная и важная работа. По предложенію Бороздина, онъ занялъ должность секретаря его канцеляріи и принялся за составленіе примѣчаній къ проекту цензурнаго устава, пересмотръ котораго вызванъ былъ жалобами консервативныхъ администраторовъ на свободомыслие печати. «Послѣ трехнедѣльныхъ занятій»,— замѣчаетъ онъ въ своемъ «Дневникѣ»,— «я кончилъ это трудное дѣло.. Признаюсь, я съ удовольствіемъ думаю объ этомъ трудѣ: это моя первая работа въ законодательномъ смыслѣ и направлена къ тому, что мнѣ всего дороже—къ распространенію просвѣщенія и къ огражденію правъ русскихъ гражданъ на самостоятельную духовную жизнь».

Инспекторскія поѣздки по округу, входившія въ обязанности службы молодого чиновника, не помѣшали ему подготовиться и выставить свою кандидатуру на кафедру естественнаго права. По-терпѣвъ неудачу, Никитенко не палъ духомъ и, продолжая работать, представилъ въ факультетѣ диссертацию по политической экономіи. Утвержденный въ 1832 году адъюнктомъ, онъ открылъ курсъ лекцій, но предметъ мало удовлетворялъ его и онъ вскорѣ перемѣнилъ специальность, перейдя къ исторіи и теоріи русской словесности. Съ теченіемъ времени ему удалось приобрести громкую извѣстность блестящаго преподавателя и, помимо множества частныхъ уроковъ, получить доступъ въ Екатерининскій институтъ и старіе

классы Аудиторского училища, а в 1834 году — назначение на должность экстраординарного профессора Петербургского университета \*).

Одновременно Никитенко, как он сам выражается, — «дѣлает опасный шагъ», принимая мѣсто цензора. «Я осажденъ со всѣхъ сторонъ», — восклицаетъ онъ въ своемъ «Дневникѣ», — «надо соединить три несоединимыя вещи: удовлетворить требованію правительства, требованіямъ писателей и требованіямъ своего собственнаго внутренняго чувства. Цензоръ считается естественнымъ врагомъ писателей, и въ сущности — это не ошибка».

Щекотливая сложность новыхъ обязанностей не замедлила скоро сказаться. Въ XII книжкѣ «Библиотеки для чтенія» за 1834 годъ было напечатано стихотвореніе Виктора Гюго «Enfant, si j'étais roi» («Когда бъ я былъ царемъ всему земному міру») въ переводѣ М. Д. Деларю. Само по себѣ вполнѣ невинное, оно силою и смѣлостью выражений всполошило столичное духовенство, которое просило государя «оградить церковь и вѣру отъ поруганій поэзіи». По приказанію императора Николая, Никитенко, какъ цензоръ, виновный въ недосмотрѣ, высиживалъ восемь дней на Ново-Адмиралтейской гауптвахтѣ. Значительно позднѣе, въ декабрѣ 1842 года, онъ вновь угодили на сутки подъ арестъ, на сей разъ за пропускъ повѣсти Ефимовскаго «Гувернантка», которая, подтрунивая надъ гвардейскими замашками фельдъегерей, мимоходомъ задѣла путейскихъ офицеровъ, чѣмъ вызвала негодование ихъ шефа, тогда уже вошедшаго въ силу гр. П. А. Клейнмихеля.

Впрочемъ, мимолетняя незадачи мало отзывались на общемъ ходѣ учено-служебной карьеры Никитенки. Продолжая университетское преподаваніе, онъ заручился лекціями въ римско-католической духовной академіи, институтѣ корпуса путей сообщения и въ офицерскихъ классахъ артиллерійскаго училища, пользуясь, въ качествѣ тонкаго знатока своего предмета повсюду неизмѣнною любовью многочисленныхъ учениковъ. «При изложеніи теоріи словесности», — отзывается П. А. Плетневъ, — «Никитенко обратился къ основнымъ началамъ природы и человѣческой жизни, извлекая ихъ изъ психологіи и исторіи; для доставленія же общими началамъ несомнѣнной примѣняемости, вводилъ ихъ въ область русской народности, уравнивая

правила мышленія съ требованіями нашего языка и успѣхами литературы».

«Главная моя цѣль», — не разъ говаривалъ Никитенко, — «согрѣвать сердца слушателей любовью къ истинѣ и чистой красотѣ, способствуя благородному употребленію нравственныхъ силъ».

Историкъ Петербургскаго университета В. В. Григорьевъ, говоритъ, характеризуя лекціи Никитенки, что онъ «проводя въ чтеніяхъ своихъ путемъ философіи, исторіи и литературной критики начало эстетическое, и ограждая самостоятельность его въ средѣ другихъ дѣйствующихъ элементовъ человѣческой природы, всегда имѣлъ въ виду глубокое и высшее значеніе этого начала, дающее чувствовать себя въ нравственномъ образованіи и развитіи какъ цѣльныхъ обществъ, такъ и отдѣльнаго человѣка; видѣлъ въ немъ не просто интересъ чувства, улаждающагося красотой, а великую образовательную силу, одного изъ двигателей всякаго развитія и усовершенствованія. Такимъ образомъ, лекціи его «объ изящномъ», сверхъ развитія эстетическаго вкуса въ слушателяхъ, философію стороною своею восполняли еще, насколько это было возможно, тотъ, въ высшей степени важный пробѣлъ, какой оказывался въ университетскомъ преподаваніи въ слѣдствіе исключенія изъ него философіи».

Получивъ за диссертацию «О творческой силѣ въ поэзіи или поэтическомъ гениі» степень доктора философіи, Никитенко заплатилъ дань журналистикѣ, и въ теченіе трехъ лѣтъ (1839 — 1841) велъ журналъ «Сынъ Отечества», а нѣсколько позднѣе (1846 — 1848) «Современникъ», редакцію котораго составляли лучшія литературныя силы того времени\*). Не покидая тяжелой по тогдашнимъ условіямъ службы въ цензурномъ вѣдомствѣ, онъ оставался на прежнемъ посту, пока то было возможно, и только съ осложненіемъ общественно-политическихъ событій, въ апрѣлѣ 1848 г., окончательно сложилъ съ себя цензорскія обязанности.

Человѣкъ рѣдкой работоспособности, Никитенко отдыхалъ недолго. Годъ спустя мы видимъ его чиновникомъ особыхъ порученій сначала при Департаментѣ Внѣшней Торговли, а потомъ — при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія. Заботливо поддерживая свои служебныя, научныя и литературныя отношенія, избранный въ ноябрѣ 1853 года членомъ-корреспондентомъ Императорской Ака-

\* Принимая дѣятельное участіе въ цѣломъ рядѣ комитетовъ, организованныхъ для преобразованія военныхъ и морскихъ учебныхъ заведеній, Никитенко находилъ время давать уроки въ старшихъ классахъ общества благородныхъ дѣвицъ и спеціально педагогическую классъ для образованія наставницъ при С.Петербургскомъ Александровскомъ училищѣ.

\* Много лѣтъ спустя въ 1861 году, Никитенко не долго возвращается къ журнальной работѣ, но уже въ оффиціальномъ изданіи; выполняя обязанности главногo редактора органа Министерства Внутреннихъ Дѣлъ — газеты «Сѣверная Почта».



деям Наук, он выступает в среду «первенствующаго Россійской Имперіи ученаго сословія», а через два года имя его уже значится в спискѣ ординарныхъ академикомъ по отдѣленію русскаго языка и словесности \*).

Особеннаго вниманія заслуживаютъ труды Никитенки на пользу русской печати, отдаваяся которымъ, онъ прошелъ длинную іерархическую лѣстницу: сперва членъ театральнаго комитета, затѣмъ директоръ дѣлопроизводства по дѣламъ книгопечатанія, онъ занимаетъ выдающееся положеніе въ главномъ управленіи цензуры. «Во всѣхъ этихъ должностяхъ»,— пишетъ биографъ Никитенки,— «и при всякомъ представлявшемся случаѣ онъ являлся то ходатаемъ за произведенія литературы, то ихъ оберегателемъ и защитникомъ. Намъ особенно памятны многія прекрасныя, исполненныя ума и теплоты чувства, рѣчи Никитенки въ комиссіи, учрежденной для обработки проекта устава о книгопечатаніи, членомъ которой онъ былъ назначенъ со стороны Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Въ этой комиссіи онъ почти всегда стоялъ на сторонѣ тѣхъ членовъ, которые въ благоразумной свободѣ слова видѣли залогъ будущаго развитія литературы и благосостоянія Россіи». Какъ глубоко просвѣщенный дѣятель, зорко слѣдившій за всякимъ проявленіемъ самобытной русской мысли, онъ нерѣдко оказывалъ цѣнныя услуги родной литературѣ. Изъ длинной вереницы примѣровъ выдѣлимъ два: несмотря на враждебное давленіе «охранителей», онъ дозволилъ печатать поэму Гоголя «Мертвыя души», а позже, побѣдивъ такое же серьезное противодѣйствіе, добился разрѣшенія выпустить отдѣльнымъ изданіемъ стихотворенія Некрасова, считавшагося въ свое время «весьма неблагонадежнымъ». Мы не станемъ распространяться далѣе о незамѣтныхъ и скромныхъ подвигахъ Никитенки, пылко ратовавшаго за интересы русскаго слова и его достойныхъ носителей; замѣтимъ только, что подобно тому, какъ князь П. А. Вяземскій, В. А. Жуковскій и князь В. О. Одоевскій отстаивали въ высшихъ сферахъ нарождающуюся съ неимовѣрными трудами журналистику, причеиъ дѣйствовали при Дворѣ и въ великосвѣтскихъ гостиницахъ,—такъ Никитенко, а равно и близкій ему Плетневъ, отводили цензурныя грозы отъ робкихъ обмолвокъ лучшихъ дѣятелей современной имъ печати, стремясь про-

будить въ ней самобытную мысль и освободить ее отъ путъ Булгариныхъ, Гречей и прочихъ гасителей просвѣщенія.

Между тѣмъ надвигались шестидесятыя годы.

Никитенко сочувственно встрѣтилъ переходъ къ новымъ порядкамъ. Тридцатилѣтнее Николаевское царствованіе казалось ему тяжелымъ кошмаромъ, послѣ котораго близилось радостное пробужденіе. «Для Россіи очевидно наступаетъ новая эпоха»,— говоритъ онъ въ своемъ «Дневникѣ», задушевно привѣтствуя вступленіе на престолъ императора Александра II,— «длинная и надо таки сознаться безотрадная страница въ исторіи русскаго царства дописана до конца. Новая страница перевертывается въ ней рукою времени. Какія событія занесетъ въ нея новая царственная рука, какія надежды осуществить она?»

Законодательныя преобразованія второй половины XIX столѣтія нашли въ Никитенкѣ восторженнаго поклонника, но его осторожный умъ, привыкшій скрывать злободневныя впечатлѣнія и случайныя соображенія, строго критически провѣряя ихъ долгимъ опытомъ, недобровѣриво слѣдитъ за необычной быстротою реформъ. Черта вполне понятная въ человѣкѣ, всю свою сознательную жизнь ожидавшемъ освобожденія родины: пусть оно стало совершившимся фактомъ,— «разсудку вопреки», не вѣря своему счастью, онъ таитъ въ глубинѣ души постоянныя опасенія возможной реакціи.

Никитенко строго и послѣдовательно отличаетъ правительственную реформу съ ея людьми отъ чрезмѣрныхъ требованій и крайней проповѣди юной интеллигенціи. Съ его точки зрѣнія, одно было основано на твердыхъ началахъ выработаннаго годами и жизнью историческаго опыта, другое—безпочвенно, хаотично, и другъ декабристовъ, раздѣлявшій ихъ лучшія стремленія, демократъ двадцатыхъ годовъ сурово осудилъ демократовъ «шестидесятниковъ».

Помимо мотивовъ политическаго свойства, въ томъ же направленіи дѣйствовали чисто индивидуальныя склонности Никитенки.

Боевыя лозунги, создавшие пропасть между поколѣніями «отцовъ и дѣтей», въ корнѣ расходились съ его историко-литературнымъ символомъ вѣры. Неумолимое разрушеніе эстетики и обоготвореніе грубаго матеріализма, задѣвая самыя нѣжныя струны отзывчивой на все прекрасное личности Никитенки, внушали ему инстинктивное отвращеніе. Новая вѣрованія въ своей крайности

\* Въ январѣ 1855 года Никитенко, значительно ранѣе (6 февраля 1850 года) назначенный ординарнымъ профессоромъ, выступилъ депутатомъ отъ С. Петербургскаго университета на торжественномъ празднованіи столѣтняго юбилея Московскаго университета.

казались ему такимъ же близорукимъ и тупымъ фетишизмомъ, какимъ въ свое время были слѣпая тенденція приверженцевъ крѣпостного строя до-реформенной Россіи.

Стойкость всегда была отличительной чертой характера Никитенки: она не изменила ему и на сей разъ. Пока конкретныя проявленія передовыхъ идей пребывали, *in spe*, онъ оставался неизмѣнно вѣренъ любимому дѣлу, но вліяніе радикальныхъ настроеній не замедлило сказаться осязательно: начались студенческія волненія, отношенія между профессорскою корпораціей и учащеюся молодежью запутались и Никитенко вышла въ отставку.

Съ 1864 года жизнь его склоняется къ закату. Правда, его дѣятельная натура и многосторонній умъ по прежнему не знали покоя, но возрастъ властно беретъ свое и въ «Дневникѣ» все чаще и чаще звучатъ безотрадныя нотки старческаго безсилія.

Такъ проходитъ десять долгихъ лѣтъ.

Никитенко продолжаетъ еще преподавать въ римско-католической духовной академіи, но, по общими отзывамъ, то лишь блѣдная тѣнь блестящаго лектора-импровизатора тридцатыхъ годовъ. Здоровье его начинаетъ быстро разрушаться и въ 1876 году онъ, по совѣту врачей, предпринимаетъ путешествіе за границу, но никакія усилія медицины не въ состояніи поддержать одряхлѣвшій организмъ. Почти всю зиму 1877 года Никитенко проводитъ въ постели, а съ переѣздомъ на лѣтнее пребываніе въ Павловскъ силы окончательно измѣняются ему. Ненастные дни и постоянные холода пагубно отражаются на его настроеніи: предчувствія близкой смерти овладѣваютъ его больными, усталыми думами, но измученный острыми припадками грудной жабы, онъ съ лихорадочнымъ участіемъ слѣдитъ за ходомъ русско-турецкой войны и 20 іюля дрожавшимъ измѣнившимся почеркомъ заноситъ на страницы «Дневника» послѣднія строки, свидѣтельствующія, что предсмертныя мысли Никитенки были посвящены Россіи\*).

На утро слѣдующаго дня его не стало.

Литературное наслѣдіе семидесятилѣтней жизни Никитенки весьма обширно. Отмѣчая изъ области русской словесности сначала на лекціяхъ, а затѣмъ въ доступныхъ ему періодическихъ изданіяхъ все достойное вниманія, онъ своими тру-

дами охватываетъ полулѣтнюю періодъ, начавъ характеристикою Елизаветы Кульманъ, а кончивъ разборомъ драмъ Островскаго. Критическія статьи его, неизмѣнно содержательныя, сумѣла оцѣнить по достоинству большая публика, которую привлекало рѣдкое умѣнье автора, овладѣвъ въ совершенствѣ предметомъ, дать ему всестороннюю оцѣнку и оставить цѣльное и удовлетворенное впечатлѣніе.

Но главнымъ вкладомъ, сдѣланнымъ Никитенкой въ сокровищницу русскаго слова, являются его «Записки» и «Дневникъ», извѣстный подъ общимъ заглавіемъ «Моя повѣсть о самомъ себѣ и о томъ, чему свидѣтель въ жизни былъ». Въ нихъ, «не мудрствуя лукаво», Никитенко въ теченіе пятидесяти лѣтъ, почти изо дня въ день, ведетъ самъ съ собою живую бесѣду о современныхъ ему событіяхъ. Принимая во вниманіе, что всѣ выдвигавшіеся на поприщѣ науки, искусства и администраціи дѣятели, проходя мимо Никитенки, были ему лично извѣстны,—легко понять тотъ захватывающій интересъ, которымъ отличается правдивая лѣтопись его жизни. Для историка русской печати въ царствованіе Николая I и Александра II «Моя повѣсть», заботливо слѣдующая за культурнымъ ростомъ русскаго общества, является матеріаломъ, столь же незамѣнимымъ, какъ для литературно-политической жизни Германіи дневники вдумчиваго и объективнаго Варнгагена фонъ-Энзе. Но кромѣ бытового значенія, она прекрасно характеризуетъ самого Никитенку, который во весь ростъ встаетъ въ воображеніи внимательнаго читателя «Дневниковъ», переживая передъ нимъ и пылкіе порывы юности, и труды зрѣлаго возраста, и печальную разочарованія старости.

Одинъ изъ немногихъ критиковъ, правильно понявшихъ личность Никитенки, К. Н. Медвѣдскій, заключая разборъ автобиографическихъ записокъ нашего писателя, даетъ немногословную, но выпуклую его характеристику. «Никитенко»,—пишетъ онъ,—«называетъ себя «умѣреннымъ прогрессистомъ», и это опредѣленіе—самое точное. Но умѣренный прогрессъ Никитенки вытекалъ не изъ боязни новшества, не изъ близорукаго отношенія къ послѣдующему развитію и усовершенствованію человѣчества, а изъ глубокаго пониманія особенностей русской жизни, русской администраціи, русскаго общества. На протяженіи всѣхъ 1.500 страницъ «Дневника» вы не встрѣтите ни одной ретроградной мысли, ни одного

\* «Побѣды за побѣдами при вторженіи въ Турцію: это былъ для насъ медовый мѣсяцъ войны. Теперь—неудача въ Малой Азій, програно сраженіе при Плевнѣ и какое-то мрачное молчаніе, лишающее насъ свѣдений объ арміи»...

порицания нового въ защиту стараго. Всюду, гдѣ челоѣчество дѣлало полезная для своей свободы и своего внутренняго блага завоеванія — Никитенко являлся на сторонѣ прогрессистовъ, а не на сторонѣ угнетателей ретроградовъ. Онъ восхищается Гарибальди, привѣтствуетъ республиканское устройство Франціи. Малѣйшее облегченіе положенія печати въ Россіи или мѣропріятіе на пользу науки заставляеть сердце честнаго гражданина биться свѣтлою надеждою. Крестьянская реформа, введеніе новыхъ судовъ и земствъ, всѣ либеральныя установленія Царя-Освободителя находятъ въ Никитенкѣ живѣйшаго сторонника. Съ однимъ онъ не могъ примириться: съ непоследовательностью и забвѣніемъ впередъ. Когда этимъ порокомъ страдало правительство — Ники-

тенко повѣрялъ своему «Дневнику» горькія думы о несправимо дурной администраціи; когда выступали на сцену «апостолы прогресса сломаголову» — онъ горячо порицалъ и оспаривалъ ихъ.

Философія Никитенки интересна и своеобразна. Она имѣетъ значеніе главнымъ образомъ потому, что это — философія жизни, основанная не только на отвѣченныхъ умозаключеніяхъ, но и на большомъ житейскомъ опытѣ. Слѣдую этой философіи, Никитенко воспиталъ въ себѣ то, что особенно дорого и рѣдко въ русскомъ челоѣкѣ: чувство законности и ясное сознаніе намѣченной цѣли. Чувство же законности и ясное сознаніе намѣченной цѣли сдѣлало изъ него то, чему мы особенно должны удивляться и стремиться подражать — *честнаго гражданина*.

#### Источники статьи объ А. В. Никитенкѣ.

1. А. В. Никитенко. «Моя повѣсть о самомъ себѣ и о томъ, чему свидѣтель въ жизни былъ». Записки и дневникъ (1826—1877). Спб. 1893.
2. Арсеневъ. Поправки къ «Дневнику» Никитенки «Русская Старина» за 1890 годъ № 11 и за 1891 годъ № 1.
3. Изъ архива А. В. Никитенки. Письма къ нему гр. Д. А. Толстаго, кн. Волконскаго, Буягарина, Писемскаго и другихъ. «Русская Старина». Январь 1900 года.
4. Изъ бумагъ А. В. Никитенки. Письма къ нему гр. Хаостова, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, гр. Е. Растворной, И. Лажечникова и Крамскаго съ 5 августа 1835 года по 7 июня 1876 года. «Русская Старина» за 1896 годъ № 12.
5. П. А. Плетневъ и А. В. Никитенко. Переписка (1856—1857). Сообщенія А. В. Плетнева и А. С. Никитенко. «Русская Старина» за 1891 г. № 2.
6. Отчетъ Императорской Академіи Наукъ по отдѣленію русскаго языка и словесности за 1877 годъ, составленный А. Ф. Бычковымъ. Некрологъ А. В. Никитенки. Спб. 1877.
7. В. Чешинскій. (Ч. Вѣтринскій). А. В. Никитенко. Статья въ Энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Эфрона. Спб. 1897.
8. Ч. Вѣтринскій. Два русскихъ общественныхъ типа (А. В. Никитенко и И. С. Аксаковъ). «Новое Слово» за 1894 годъ № 7—8.
9. М. Протопоповъ. Изъ исторіи русской общественности. (Записки и дневникъ Никитенки). «Русская Мысль» за 1893 годъ № 6—7.
10. К. Медвѣдскій. Повѣсть честнаго гражданина. (По поводу дневника Никитенки). «Наблюдатель» за 1894 годъ № 3—4.
11. В. Р. Зотовъ. Либеральный цензоръ и профессоръ пессимистъ. Биографическій очеркъ «Исторической Вѣстникъ» за 1893 годъ № 10—12.
12. Ор. Миллеръ. Памяти А. В. Никитенки. «Новое Время», 27 июля 1877 года.
13. Памяти А. В. Никитенки. Фельетонъ. «Правительственный Вѣстникъ», 20 июля 1902 года № 159.
14. Никитенко и Жуковскій. Записка. «Правительственный Вѣстникъ», 27 июля 1902 года № 164.
15. П. Плетневъ. Первое двадцатипятилѣтіе Императорскаго С. Петербургскаго Университета. Спб. 1844.
16. В. Григорьевъ. С. Петербургскій Университетъ въ перые 50 лѣтъ его существованія. (1819—1869) Спб. 1870.
17. А. Платовъ и Л. Кирличевъ. Историческій очеркъ образованія и развитія артиллерійскаго училища. (1820—1870) Спб. 1870.
18. И. Суворовъ. Къ исторіи Вологды. Прибавленіе къ «Вологодскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ» за 1867 годъ № 17.
19. Ф. Фортунатовъ. Воспоминанія о С. Петербургскомъ Университетѣ, по поводу пятидесятилѣтняго его юбилея «Русскій Архивъ», за 1869 годъ № 2.
20. Критическіе разборы «Записокъ» и «Дневника» А. В. Никитенки въ журналахъ 1893 и 1894 годовъ.
21. Юбилейныя статьи и некрологи, вызванныя кончиною А. В. Никитенки, въ періодической печати за 1877 и 1902 годъ.

Сергій фонъ Штейнъ.



Павловскъ  
Июль 1902.

Александр Казин

## В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

*Об истоках Святой Руси*

*О, светло светлая и красно украшенная земля Русская!  
Многими красотоми дивишь ты: озерами многими, дивишь ты  
реками и источниками местночтимыми, горами крутыми,  
холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными,  
зверьми различными, птицами бесчисленными, городами  
великими, селами дивными, боярами честными, вельможами  
многими – всего ты исполнена, земля Русская, о правоверная  
вера Христианская!*

Слово о гибели Русской земли.

(Перепечатка из журнала Мѣра №3 за 1995 г.)



## 1. Киевская София

Что такое Святая Русь? Как ее отыскать, каковы ее очертания в мировом духовном пространстве?

Прежде всего – это замысел Божий о России. В. С. Соловьев утверждал, что идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. Ф. М. Достоевский призывал судить о русском народе не по тем грехам, которые он часто совершает, а по тому идеалу, который он сохранил в своей душе. Русь Киевская и .Московская суть именно Золотая Русь, воспринявшая благовестие Христа и пытавшаяся осуществить его в своем земном устройении. Насколько эта попытка удалась – об этом человек не может вынести окончательного приговора. Но постараться осмыслить Россию как духовную реальность необходимо, особенно в наше исполненное противоречий переходное время.

Как известно, христианская Русь началась в Киеве, после ее крещения Владимиром Святым в 988 г. Уже в княжение сына Владимира Ярослава Мудрого в Киеве строится величественный Софийский собор – символ утверждения православия на славянской земле. Почти одновременно Софийский собор возводится в северо-западном центре Руси – в Новгороде. И если крест над цареградской (константинопольской) Софией был заменен после 1453 г. мусульманским полумесяцем, то над новгородской и киевской Софией он высится до сих пор...

Не впадая в преувеличения, можно сказать, что все мышление Древней Руси было софийным. Не только храмовая архитектура, иконопись, пение, не только порядок и строй богослужения – софийным был весь круг русской культуры. Это относится к летописям ("Повесть временных лет"), эпическим сказаниям ("Слово полку Игореве"), народным былинам и народным духовным стихам. Для наших же философских целей наиболее важно замечательное произведение первоначальной русской православной мысли – "Слово о Законе и Благодати" митрополита киевского Илариона (середина XI в.) Именно в этом "Слове" яснее всего выражена древнерусская софийность, здесь просияла умственным светом Русь золотая.

О чем или о ком мыслит митрополит Иларион? Центральной категорией его ума является лицо ("ктоиность"), а не какая-либо отвлеченная сущность или закономерность. Началом, серединой и концом духовного кругозора митрополита Илариона выступает Иисус Христос. С первого своего шага русская религиозно-философская мысль оказывается христоцентричной<sup>1</sup>. София – премудрость Божия – раскрывается для русского ума через Христа, в то время как, например, для современника Илариона – знаменитого византийского богослова Михаила Пселла это уже проблематично: "о природе Бога он учит по Орфею, Зороастру, Аммону, Пармениду, Эмпедоклу, Платону"<sup>2</sup>.

"Закон отошел, и благодать и истина всю землю заполонили"<sup>3</sup> – вот источник радости русского митрополита. Закон – Ветхий Завет – исполнил

свою задачу, привел людей к Крещению, и теперь уступает место благодати как единственному ("узкому") пути к вечной жизни. Истина, таким образом, достижима только через благодать, и наоборот, благодать есть истина: это и есть софийное мышление. По сути, в сочинении митрополита Илариона мы впервые на Руси встречаемся с особенным отождествлением истины бытия и бытия истины. Вслед за отцами христианской Церкви Иларион утверждает, что истину нельзя *знать*, в ней можно только *быть* (или не быть). Истина не есть отвлеченное знание (гнозис), истина есть путь и жизнь, она покоится на вере, надежде и любви. Как раз по этой причине истину-благодать нельзя никому "доказать", то есть принудить в нее поверить. Для того, чтобы приблизиться к христианской истине – то есть к самому Христу – нужно уже пребывать в нем, нужно быть окликнутым Им. "Не врагам Божиим пишем, а сынам Христовым, не чужим, а наследникам небесного царства"<sup>4</sup>, – утверждает киевский митрополит, и как православный мыслитель он глубоко прав.

В отличие от древнего Рима, юная христианская Русь восприняла Христа не столько умом, сколько сердцем и душой, всем существом. Точнее, русский ум с самого начала оказался воцерковленным, просвещенным и обоженным христианским светом, что надолго – по сути, навсегда – оградило его от богословского рационализма. Учение митрополита Илариона – это именно богословие, а не теология, таинство, а не наука, трепетная встреча, а не рассудочная схоластика. Конечно, тут сыграла свою роль и стихийность славянского язычества, не способного противопоставить христианству развитой космоцентрической культуры, и вообще мягкость ("женственность") славянской души, резко отличной в этом плане от холодного римского разума. Можно сказать, что в Слове" митрополита Илариона отозвались все эмпирические, земные обстоятельства крещения Руси князем Владимиром – но в нем явно проступает прежде всего *промысел Божий*, определивший небесное призвание Святой Руси...

Другая важнейшая софийная черта мысли киевского первоиерарха – ясное различие закона как способа совершенствования в наличной, посюсторонней жизни – от благодати как обетования и начала жизни будущей. Здесь русская мудрость одинаково противится как Ветхому завету, так и Риму. Если Господь принес благуя весть о том, что царство его не от мира сего, то надо искать этого царства, идти к нему, пусть даже это чревато опасностью для жизни нынешней. Иудаизм ставит Бога в центр земного бытия, ("религиозный материализм"), римско-католическая курия стремится насильно подчинить его Богу, даже православная Византия фактически разделяет человека на ангела (монаха) и мирянина (грешника) – только русский дух стремится, по Христову завету, жить на земле, как на небе. Смысл жизни там, хотя осуществляется он уже здесь, указывает своим современникам – и вместе с тем нам – митрополит Иларион, и русские люди вот уже тысячи лет пытаются осуществить эту правду. Собственно, в иларионовом "Слове" нашла умственное выражение единая древнерусская устремленность к преобразованию земного бытия в Боге, которая первоначально проявилась в самом выборе Православия князем Владимиром, в его

нищелюбии и заботе о ближнем, в его отказе – после Крещения – казнить преступников, ибо это противоречит заповедям Христовым. По слову Илариона, Владимир – "все цесарство (царство) Богу подчинил"<sup>5</sup>, и точно так же поступали вслед за ним сын его Ярослав Мудрый, и правнук его Владимир Мономах. Если говорить о реализации на Руси идеала симфонии (согласия) духовной и светской власти, то она – в отличие от той же Византии константиновского и тем более юстиниановского периодов – началась у нас при явном преобладании духовной власти – не случайно первые русские святые Борис и Глеб предпочли мученическую смерть борьбе за земной престол... В определенном смысле "Слово о законе и благодати" лишь обобщает и возводит к истоку соборную практику Святой Руси, вплоть до будущих побед святого князя Александра Невского и святого князя Дмитрия Донского. "Слово" Илариона – это как бы предвиденное в духе национальное подвижничество, которое в 1380 г. выведет Русь на Куликово поле...

Таким образом, киевская София заложила прочное христианское основание тысячелетней России. По отношению к Богу она осуществила добровольное отдание ему всей жизни, *земное бытие она поняла не как самоцельное, а как тварное и относительное*. Она подтвердила всемирность, а не родовую (языческую) избирательность слова Божия. Ум (логику) русский дух принял только как воцерковленный разум, так что если что-то не вмещается в рассудочные рамки, то *тем хуже для разума*. Наконец, в личности человеческой Русь с самого начала увидела образ Божий – задача человека заключается в том, чтобы восстановить в себе Его подобие. Именно этим "категорическим императивом" обусловлены знаменитые слова Илариона о том, что "не было ни одного, кто воспротивился бы благочестивому его (князя Владимира – А. К.) повелению, а если кто и не по доброй воле крестился, то из-за страха пред повелевшим, поскольку благоверие того было соединено с властью"<sup>6</sup>. Современный индивидуалистический гуманизм видит в этом нарушение "прав человека", или, по меньшей мере, подобие римского насильственного установления христианства среди еретиков. Речь идет, однако, совсем о другом – о Православии, понятом как народная норма существования, а не как логическая сумма или монашеский идеал. Иларион не только указывает в своем "Слове" на происхождение и освящение православного русского государства – он спокойно решает туликовский для гуманистической идеологии вопрос о свободе воли: Истина сильнее сомнения. Мы познали Истину, и Истина сделала нас свободными: мы благочестие соединили с властью, а не наоборот – как бы предвидит будущие вопросы киевский митрополит<sup>7</sup>. Всякая другая свобода иллюзорна.

Сказанное означает, что из трех мировых сил, борющихся друг с другом в истории – Креста, меча и богатства – Русь изначально выбрала для себя Крест. Именно Крестом отмечена Русь золотая, софийная. Новгородская и Киевская Софии суть живые образы древнего русского посвящения, о котором Н. В. Гоголь скажет через много лет: монастырь наш, Россия... Начало русской истории проходит несомненно под знаком Креста, здесь симфония Церкви и Царства осуществляется в общей молитве Господу

Вседержителю. Если римско-католическая церковь впитала в себя мощное языческое рационально-юридическое начало (принизила святыню до мира), а Византия, наоборот, склонна была мир предоставить его грешной судьбе, чтобы не запятнать своей веры, то Русь по промыслу Божию уже с первых веков своей христианской истории пошла, в сущности, на крестный подвиг, попыталась слить воедино святыню и жизнь, небо и землю. Немало, конечно, было грехов на Руси, в том числе и со стороны власти, но они всегда осознавались как грех и искупались страданием и кровью. Полная духовного напряжения жизнь Ярослава Мудрого, воинские и политические вершения Владимира Мономаха и Александра Невского, трагическая гибель (в результате заговора) Андрея Боголюбского – вот лишь некоторые примеры такого соединения в русской душе Священства и Царства. Если и можно предьявить начальной древнерусской державе какие-то упреки, то разве лишь в использовании авторитета власти для обращения к Богу, но никак не в уничтожении Бога до инструмента власти (римский соблазн).

## **2. Москва – Третий Рим или Новый Иерусалим?**

*В шапке золота литого, Старый русский великан  
Подждал к себе другого Из далеких чуждых стран*  
М. Ю. Лермонтов

При всем отличии Московского Царства от великого княжества Киевского, оба они представляют собой моменты единого общерусского богочеловеческого процесса – не в плане его логической предзаданности, а в духе его драматической судьбы. В Киеве зачалась софийность русской истории, возник образ ее как соборного Крестоношения. В последующие века этот замысел захватит собой всю Русь, и петербургскую, отчасти даже советскую. Но остановимся пока в Москве.

Что объединяет прежде всего Киев с Москвой – так это христоцентричная природа государства и культуры. Киевская и Московская Русь – это *теократия*, в которой Бог освящает и ограничивает власть Государя. При рассуждении о христианской симфонии, о церковном помазании на царство часто забывают, что Божье благословение на власть есть именно *ограничение* этой власти, а вовсе не обожествление ее как таковой. Царь (великий князь) отвечают за свой народ перед Богом – вот отличие русской православной державы от восточной деспотии (царь как живой Бог) или западного абсолютизма (король как кажимость Бога, "король-солнце").

Известны внешние условия превращения Москвы в Третий Рим. После захвата Константинополя войсками турецкого султана Магомета II (1453), после гибели последнего византийского императора Константина XI и женитьбы Иоанна III на его племяннице Софье Палеолог к Москве перешел не только герб Восточной Римской империи – двуглавый орел: к Москве перешел статус единственной великой православной державы. Хрестоматийно известны слова псковского инока Филофея, обращенные им к Василию III: "Третьего нового Рима – державного твоего царствования – Святая Соборная Апостольская Церковь – во всей поднебесной паче солнца светится. И да



ведает твоя держава, благочестивый царь, что все царства православной христианской веры сошлись в твое царство. Один ты во всей поднебесной Христианам царь... Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть: уже твое христианское царство иным не достанется"<sup>8</sup>. Инок Филофей прожил около ста лет, он обращался с подобными посланиями и к Иоанну III, и, возможно, к Иоанну IV (Грозному) – но что же они означают, собственно, в историософском смысле?

Святая Русь – это христианская сторона света, в которой власть начинается не "снизу" (демократия) и не "сбоку" (плутократия), а сверху – от Бога. Имя "Святой Руси" и указывает на это обстоятельство, а вовсе не претендует на всеобщую праведность и святость. Первый Рим – языческий – обожествил самого себя в лице кесаря и пал под ударами варваров. Второй Рим – православная Византия – вопреки ей же провозглашенному идеалу симфонии практически развела священство и царство<sup>9</sup>, пошла на соглашение с католиками (Флорентийская уния 1439 г.) и 14 лет спустя тоже пала под ударами мусульман. Москве как Третьему Риму выпала по промыслу Божьему колоссальной трудности задача – жизненно соединить в одно целое Храм и Престол, народ и церковь, святыню и бытие. Если в Киеве произошло, так сказать, первичное усвоение русской властью идеи священного призвания христианской державы (иначе она не заслуживает названия христианской), то в Москве со времен ее первых князей и митрополитов тайна государства была понята именно как тайна *служения*. Конечно, пред Москвой стояла в те времена и другая задача – освободить Русь от татар. Однако по существу руководителями Москвы эта задача всегда трактовалась как двуединая – и если на первых порах, в эпоху Ивана Калиты, идея собирания русских земель под московскую руку рисовалась по преимуществу прагматически, с точки зрения государственной пользы, то уже со времен Дмитрия Донского эта задача становится по сути и прежде всего религиозной – вспомним благословение Сергия Радонежского, вспомним образ Спаса на стягах русского войска. Москву как русский национально-религиозный символ выпестовал не татарский полон, что бы по этому поводу ни говорили такие разные люди, как Герцен и Белинский, Федотов и евразийцы<sup>10</sup>. "Москва, как много в этом звуке..." – это плод молитв и бдений преподобного Сергия, это сознательное, а еще более бессознательное переживание всем народом московским судьбы своей Родины как богоданной и богохранимой<sup>11</sup>. Государственная власть на Москве есть точка приложения Божьего промысла к России – вот что такое онтология Третьего Рима в глазах москвичей. Идея государственной власти в России церковна – и потому Иосиф Волоцкий прямо утверждает, что "неправедный царь – не Божий слуга, но диавол". В отличие от первого Рима, православный московский царь – не кесарь, а христианин, и потому Москва готова отдать ему не только кесарево, но порой и Богово<sup>12</sup>. В этом встречном движении к соединению Бога и человека в истории и состоит замысел Святой Руси, потому и простерт покров Божией Матери над Россией...<sup>13</sup>

Чтобы убедиться в этом, достаточно продумать царствование Иоанна IV

Грозного. Много материала для этого даст, в частности, его переписка с Курбским. Царство Иоанна IV обычно клянут как деспотическое – но какой деспот станет тратить столько времени и чернил для оправдания себя перед своим подданным? Более того, в качестве последнего довода в пользу защищаемых Курбским позиций Иоанн зовет его обратно на Русь – пострадать за правое дело, если тот считает себя правым. Как видим, и меч и золото в руках грозного царя служат Кресту, а не наоборот; что же касается жертв опричнины, то их число не превысило количества убитых одной Варфоломеевской ночью. Жестокость московского самодержавия есть оборотная сторона образа христианского владыки, в котором он предстает как суровый, но справедливый отец своего народа. Несмотря на тяжкие личные грехи, Иоанн находился в непоколебимом убеждении – и в этом его поддерживал весь российский люд – что "Отец и Сын с Святой Дух ниже начала имеет, ниже конца, о Нем же живем и движемся. Им же цари величаются и сильные пишут правду"<sup>14</sup>. Сравните это с открытием героя Достоевского: если Бога нет, то какой же я капитан?

Не менее существенное, хотя и символическое значение имеет в истории иоаннова царствования его встреча с юродивым во время новгородского похода, как она описана современниками. Грозный царь отправился с войском на покорение непослушных псковичей и новгородцев – действие, вытекавшее из общей логики построения централизованного русского государства. На улицах Пскова его встретил местный юродивый и предложил ему кусок мяса, а дело было в великий пост. "Я – христианин и в пост мяса не ем", – ответил юродивому Иоанн. "А кровь христианскую пьешь?" – укорил его человек Божий, и самодержец всероссийский вместе со своей армией повернул назад... Идея Третьего Рима и заповедь "не убий" сошлись в месте этой встречи, и Иоанн IV показал себя православным царем, который строил Святую Русь, при этом тяжело грешил, но когда грешил, то каялся. Таким он и остался в памяти народа, несмотря на все попытки изгнать его имя с русской земли<sup>15</sup>.

Итак, государственно-общественная жизнь золотой Руси отличалась не механически-юридическим совершенством форм, благодаря которым справедливость достигается как бы автоматически (т. е. не по-христиански), а именно нацеленностью всех своих отношений на Истину, которая сама по себе не от мира сего и потому требует если не подвига, то усилия для своего воплощения. Об этой особенности русской "политической этики" хорошо сказал С. А. Аскольдов в 1918 г.: «Русь была до отмены крепостного права, а отчасти и после него страной рабов и рабовладельцев, но это не мешало ей быть "Святой Русью", поскольку крест, несомый одними, был носим со светлой душой и в общем и целом с прощением тех, от кого он зависел, поскольку и те и другие с верою подходили к одной и той же Святой Чаше. Так праведность десятков миллионов очищала и просветляла в единстве народного сознания грех немногих тысяч поработителей, к тому же грех часто ясно не сознаваемый в качестве такового ни той, ни другой стороной»<sup>16</sup>. Добавлю, что дело тут не в "рабах" и "рабовладельцах" (остатки просветительской терминологии у Аскольдова) – дело в сообща несомом Кресте, по отношению к которому и те и другие равно грешны и равно святы.

По меньшей мере искусственным кажется противопоставление Третьего Рима и Нового Иерусалима как образов Москвы, возникшее в XVII столетии. XVII век, как известно – это реформы патриарха Никона, его разрыв с царем Алексеем Михайловичем, осуждение Никона на соборе 1666 г. (666! – А. К), последующая ссылка патриарха и его возвращение в Москву. Известно, что Алексей Михайлович на смертном одре просил прощения у опального патриарха, а новый государь Федор Алексеевич вернул Никону все почести и просил его возвратиться в основанный им Ново-Иерусалимский монастырь, по пути в который Никон и скончался. Известно также, что церковные новшества патриарха Никона и царя Алексея привели русское Православие к расколу, последствия которого мы переживаем до сих пор. Значительно хуже осознано, о чем, собственно, шел спор между царем и патриархом, и каково историософское значение этого спора.

Сугг расхождения выразил сам Никон: "Мы не знаем иного законоположника себе, кроме Христа, Который дал нам власть вязать и решить. Уж не эту ли привилегию дал нам Царь? Нет, он похитил ее от нас, как свидетельствуют его беззаконные дела. Он Церковью обладает, священными ведами богатится и питается, славится тем, что все церковники – митрополиты, архиепископы, священники покоряются ему, оброки дают, работают, воюют; судом и пошлинами владеет...

Нигде, даже в Царских законах, не написано, чтобы царю избирать епископов и прочих (церковных) властей... А то правда, что Царское Величество расширился над Церковью, вопреки Божественным законам, и даже возгорелся на самого Бога широтою своего орла"<sup>17</sup>.

Итак, три православные силы встретились на золотой Руси XVII века: царь, патриарх и старообрядцы. Для последних "повредилась Святая Русь", Москва перестала быть Новым Израилем, впала в латинство и протестантство, и занялась имперостроительством. Парадоксально, но похожие обвинения высказал царю и патриарх Никон – убежденный противник старой веры. Что это – совпадение противоположностей или просто случайное сходство?

В историософском плане XVII столетие было действительно рубежом между крестом, мечом и выгодой на Руси. Дело тут не в "западничестве" русских владык: в некотором роде западником был уже Иоанн III (вспомним итальянских строителей московского Кремля). Дело в том, что Москва к XVII веку стала *одновременно Третьим Римом и Новым Иерусалимом* – вот это-то как раз и не вместили в свое человеческое сознание ни старообрядцы, ни патриарх Никон, ни царь Алексей. Всем трем силам как разделившимся ("отвлеченным") началом единого православного симфонического Царства следовало любыми способами стараться восстановить его, восславить его в новой целостности – между тем в жизни происходило прямо противоположное. Разумеется, была своя правда у патриарха – он видел нарастающий "цезаропапизм" царя и потому вопреки "имперской" Москве строил свой Новый Иерусалим, долженствовавший, по его мысли, стать чисто духовным, собственно церковным центром Святой Руси. С другой стороны, была своя правда и у царя, для которого государство, как это со времен Владимира и Ярослава утвердилось на Руси, служило не просто

"административной корпорацией", а земным отражением небесной правды, вверенной ему самим Богом. Нельзя отказать во всяком случае в мужестве и староверам, готовым скорее пойти в огонь, чем согласиться с "антихристом"<sup>18</sup>. Но вот в чем все три главные действующие лица этой русской драмы ошиблись – так это в отношении к Святой Руси как к "собственности", как к своему духовному владению. И царь, и патриарх, и старообрядцы полагали, что они хозяева на Руси, а хозяином был – и есть – Господь, и ведет Он ее Своими, а не чьими-либо человеческими путями...

Так или иначе, с теми или иными людскими немощами, Киевская и особенно Московская Русь являлась *наиболее полным в истории воплощением Царства Божьего на земле* – во всяком случае, более полным, чем предшествовавшая ей Византия или современный ей католический Рим. Духовным и светским вождям Руси *не надо было бередить ее душу*, а они тронули ее, и потому от XVII века тянется цепочка к 1917 г. Собственно говоря, тогдашнее противостояние между царем, патриархом и частью православного народа стало видимым проявлением *коренной антиномии христианства* между бесконечным (небесным) предназначением человека и его посюсторонним (земным) историко-культурным бытием. В той мере, в какой каждый из участников драмы XVII века был прав, он держался одной из сторон этой антиномии в ущерб другой (и потому, в конечном счете, оказывался в одностороннем прельщении). Ни чисто монастырский Новый Иерусалим, ни "имперский" Третий Рим, ни законченное "отеческое предание" не дают в отдельности разрешения указанной антиномии: ее дает только превышающий человеческое разумение ход метаисторической работы, где по благодати Божией становление может совпадать со ставшим, а может и расходиться с ним. "У меня отмщение и воздаяние", – говорит Господь (Втор. 32:35), и это напрямую относится к золотой Руси XVII века, которая хранила меч и золото под знаком креста, но не удержала их...

Истинно христианские отношения между священником, царем и народом часто нарушались – но они *были*, а это для дела Христова на земле самое важное. А. С. Пушкин совершенно справедливо заметил в своем известном письме Чаадаеву, что нравы Византии никогда не были нравами Киева. Еще менее допустимо утверждать, что нравы Золотой Орды были нравами Москвы. К сожалению, эта мысль на разные лады варьировалась в XX веке от сугубо унижительного для России взгляда на нее как холопскую татаршину (Троцкий, Ленин, нынешние обличители ее "тысячелетнего рабства") до вроде бы одобрительного в устах евразийцев Н. С. Трубецкого или Л. Н. Гумилева сближения ее с империей Чингисхана.

На самом деле мы встречаемся на Руси с иным принципом построения власти и культуры – богозаконным (теономным), который, однако, не только провозглашал себя таковым, но и по мере сил пытался таковым быть. Разумеется, история золотой Руси знает немало крови – от убийства святых Бориса и Глеба и ослепления Василько до "покорения Ермаком Сибири". Но при этом необходимо отличать принцип от его осуществления, истину от ее мытарств в инобытии. Святая Русь держалась "сверху вниз", от Бога к человеку, и люди по мере своего совершенства – или падения – служили Богу

и царству, а не сами себе. Впрочем, цивилизованные атеисты назовут Иоанна IV обыкновенным злодеем, перенос митрополитом Петром своего местопребывания из Владимира в Москву квалифицируют как пресмыкательство перед великокняжеской властью, а возвращение в столицу воеводы Шенна расценивают как рабство этого храброго воина у своей азиатской (тоталитарной) "системы"<sup>19</sup>. Известна притча о каменщиках. Одного спросили, что он делает? Везу тачку с камнями – ответил тот. Строю прекрасный собор – отвечает другой. Оба по-своему были правы, но только с кем из них Бог? В отличие от западной (и в несколько ином ключе – от византийской), русская духовность "делит мир не на три, а на два – удел света и удел мрака; и ни в чем это не ощущается так резко, как в вопросе о власти. Божье и антихристово подходят друг к другу вплотную, без всякой буферной территории между ними; все, что кажется землей и земным, – на само деле или рай или ад; и носитель власти стоит точно на границе обоих царств"<sup>20</sup>. Только исходя из подобных уложений можно объяснить, с одной стороны, заоблачные самопревознесения того же Грозного (вплоть до возведения своего рода к римским кесарям<sup>21</sup>), а с другой – его постоянные церковные покаяния или настойчивые попытки оправдания перед беглым подданным. Ни того, ни другого не имеется в анналах татарской Орды.

Формулируя мысль в философских понятиях, позволено предположить, что золотая Русь ближе какого-либо другого известного в истории государственно-культурного образования подошла к разрешению труднейшей христианской проблемы *веры и свободы*. В 70-х гг. прошлого столетия Ф. М. Достоевский устами одного из своих героев провозгласил: если Бога нет, то все позволено. В 30-х гг. текущего века русский философ И. А. Ильин сформулировал эту проблему так: "без свободы – гаснет дух; без духа – вырождается и гибнет свобода"<sup>22</sup>. В Киевской и Московской Руси суть этого действительно рокового для человеческой судьбы противостояния видели в *подчинении свободы – духу, а не наоборот*. Тем самым Русь золотая осуществляла призыв апостола быть свободным в Боге, а не в грехе. Такое невысказанное для либерализма – от Бердяева до Сартра – добровольное умаление свободы перед верой является православно-русским вкладом во вселенское христианство: лучше я отдам свою свободу Богу, чем сохраню ее для сатаны, – как бы говорила Святая Русь. На этой основе решался на Руси и вопрос о привлечении в храм новых церковных чад и вообще вопрос о государственной обязанности веры: дело шло прежде всего об ограничении свободы зла, и не о принудительности добра. Здесь, как и во многих других отношениях, душа России может быть охарактеризована только противоречиями – от преследования старообрядцев до великодушной веротерпимости империи. Однако сам принцип золотой Руси оставался неизменным со времен Святого Владимира: власть вытекает из благочестия, а не благочестие – из власти.

Таков же в главном подход Руси и к непосредственно политическому способу организации государственной и общественной жизни. По существу, Русь реализовала единственную в мире политическую форму народной – соборной – монархии, где царь и народ (держава и земля) в равной мере оказываются чадами православной Церкви, с тем, однако, различием, что царь

правит именем Божиим, а земля добровольно отдает ему власть над собой, хотя и сохраняет духовное единство с ним в рамках *собора*. Подобное социально-политическое устройство не имеет аналогов ни в западном "количественном" парламентаризме, ни в восточном институте тайных советников или великих визирей. Центральные – часто судьбоносные для страны – вопросы внутренней и внешней политики решались на соборе не по большинству голосов, а по единодушному согласию всех земных и духовных представителей во главе с самодержцем. Споры бывали, но они разрешались мирно и, как правило, успешно. Так, например, избрание на царство Михаила Феодоровича Романова на соборе 1613 г. проходило не без противоречий – но это был в конечном счете выбор всей земли, а не какой-либо ее наиболее хитрой части (плутократия), заручившейся голосами остальных. Соборяне были единодушны в обнаружении общенародной державной истины, совпадавшей для них с волей Божьей, а вовсе не навязывали стране своего произвольного решения. Дело заключалось не в наличии того или иного "писанного" закона – от "Русской правды" Ярослава Мудрого до "Судебников" и "Уложений" Алексея Михайловича – а в едином для всех сословий и лиц церковно-государственном жизнестрое, при котором общее важнее различий. Для западного партикулярного сознания подобное жизнеустройство видится исключительно вотчиной московского царя, где он распоряжается как у себя дома (см. например: *Р. Пайнс*. Россия при старом режиме). Поистине же золотая Русь была домом Пресвятой Богородицы для своего царя точно так же, как и для последнего крепостного – но только для каждого она находила свое послушание, свое "тягло". (Еще раз вспомним гоголевское: монастырь наш, Россия...) В круге же либерального сознания просто отсутствует столь значимая для Руси заповедь о подчинении слуг своим господам, не только добрым и кротким, но и суровым. "Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо" (1 Петра 2:19). Иноческое отсечение своей воли – вот что это такое! В политическом смысле это было согласие Церкви, Народа ("гражданского общества" в западном словоупотреблении) и Царства, построенное на неколебимом единстве Православия. Говоря современным языком, это была православная идеология. Не следует бояться этого слова, если оно обозначает истину у власти, а у власти в золотой Руси находилась именно Христова истина, а не какая-либо иная. Вплоть до конца XVII века русские цари и патриархи – не зависимо от личных отношений между ними – олицетворяли собой мистическую фигуру Удерживающего, о котором апостол Павел говорит как о главном препятствии на пути антихриста: "Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь – и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего" (2 Фесс. 2:7). Некоторые мыслители благодарят за сохранение Святой Руси татаро-монголов, уберегших нас своим игом от соблазнов латинства и протестантского гуманизма<sup>24</sup>, другие их за это ругают – я же верю, что Святая Русь явилась таковой на земле по замыслу Божию, взяла и понесла свой крест свободно – и потому-то вся ее история есть великое крестоношение в соответствии с планом Христова спасения.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Такое понимание Софии как предвечного Логоса, воплотившегося в лице Иисуса Христа, находится в полном соответствии с православной богословской традицией. Позднейшая русская софиология (В. С. Соловьева, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова и др.) отождествила Софию-Премудрость Божию с душой мира, то есть перенесла на творение достоинство Творца. Ни в коей мере не поддерживая богословского смысла такого перенесения, отмечу все же наличие в нем типичного русского максимализма – если уж жить в мире, то по Божьей правде... (см.: Ереси сегодня // "Беседа". Ленинград-Париж. 1990. № 8, С. 135-177).

<sup>2</sup> *Прот. Александр Шмеман*. Исторический путь Православия. М., 1993. С. 276.

<sup>3</sup> Идейно-философское наследие Илариона Киевского. Ч. 1. М., 1986. С. 45.

<sup>4</sup> Там же. С. 46. <sup>5</sup> Там же. С. 57. <sup>6</sup> Там же. С. 55.

<sup>7</sup> Как известно, римский император Константин обратился ко Христу помимо Церкви, благодаря чудесному видению ("сим победиши"). Крестился он незадолго до смерти.

<sup>8</sup> Цит. по: *Зызыкин М. В.* Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. Ч.1. Варшава, 1931. С. 155-156. Отмеченный Филофеем статус Москвы как Третьего Рима подтвержден после падения Царьграда согласным суждением вселенского Православия (см. там же.)

<sup>9</sup> Характерный пример византийской политики – ссылка Иоанна Златоуста именно за обличение нравов императорского двора.

<sup>10</sup> По сути дела, федотовская и евразийская концепции московской "татарщины" и соглашательства церковных иерархов, вопреки своей внешней противоположности, дополняют друг друга, ибо не делают различия между поверхностным, эмпирическим и внутренним, таинственным планами русской судьбы.

<sup>11</sup> См. об этом прекрасную работу В. О. Ключевского "Значение преподобного Сергия для русского народа и государства".

<sup>12</sup> Вообще, позиция "отдания своего" – более христианская, чем "искания своего" любой ценой, даже юридически справедливой. Согласно христианскому миропониманию, подлинно своим является не то, что я взял, а то, что я отдал. "Московская вера" – это не подстановка царя на место Бога, а лицемерие самодержца в Божьем луче.

<sup>13</sup> Об этом свидетельствует вся древняя русская культура, от "Слова" митрополита Илариона и "Слова о полку Игореве" до рублевской "Троицы" и "Сказания о погибели Русской земли".

<sup>14</sup> Первое послание Ивана Грозного князю Курбскому // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 12.

<sup>15</sup> Действительно смертный личный грех Иоанна IV – убийство настоятеля Псково-Печерского монастыря Корнилия прямо у ворот святой обители.

<sup>16</sup> *Аскольдов С. А.* Религиозный смысл русской революции // Из глубины. М., 1991. С. 233-234.

<sup>17</sup> Цит. по: *О. Лев Лебедев*. Личность и мировосприятие патриарха Никона // "Слово". 1989. №5. С. 22.

<sup>18</sup> Вопрос о старообрядчестве как таковом очень сложен, и требует особого разговора.

<sup>19</sup> Речь идет о добровольном возвращении в Москву смоленского воеводы Шеина после неудачного дл? русских войск столкновения с ратью короля Владислава. В столице Шеин был обвинен в измене и казнен.

<sup>20</sup> *Аверинцев С. С.* Византия и Русь: два типа духовности // "Новый мир". 1989. № 9. С. 234.

<sup>21</sup> Подобная родословная правящей династии была частью официальной идеологии московской державы.

<sup>20</sup> *Ильин И. А.* Путь духовного обновления // Собр. соч. В 10 тт. Т. 1. М., 1993. С. 109.

<sup>20</sup> Подробно см. об этом: *Солоневич И. Л.* Народная монархия. М., 1991.

<sup>20</sup> Решающую роль тут сыграла, очевидно, деятельность святого благоверного князя Александра Невского, побратавшегося с сыном Батыя ханом Сартаком, но твердо оборонявшего западные границы Руси от латинников-тевтонов.

**VI. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПИСАТЕЛЬСКИХ СУДЕБ**

---

**ИВАНОВ-РАЗУМНИК**

**ТВОРЧЕСТВО И КРИТИКА  
СТАТЬИ КРИТИЧЕСКИЕ**

1908-1922



**ПЕТЕРБУРГ "КОЛОС"  
1922**

14-я Государств, типогр. Пят. Социалистич., 14. Р. Ц. No 816. Тир. 2000

**В ЗЕРКАЛЕ ПИСАТЕЛЬСКИХ СУДЕБ**



## Творчество и критика

### Несколько предварительных слов редактора.

Если вы помните, читатель, наш журнал называется «Новый русский журнал литературной и философской критики, прозы, поэзии и истории литературы» – можете не смотреть на обложку, это точно, я уже посмотрел. При издании первого номера было много нареканий в адрес Редактора, в частности, что многие термины, идеи и положения в нем не определены (или даже и не существуют), в частности, не существует *философской критики*.

Я тогда ответил, что **могу дать определение и философской критике и даже Богу, но пусть говорят и другие**. Во втором номере я и начал давать место для высказываний **другим**, поместил статью Розанова о Пушкине, мнения о нем литераторов 19-го столетия, статью Е. Ковтуна о Стерлигове, и теперь продолжу традицию, помещу в третьем номере ряд статей моих любимых критиков-философов (в статье ниже выделения жирным – мои, чтобы читатель обратил внимание на термины, определения которых он жаждал). Я даже думал, что ничего не буду писать больше сам, а весь объем журнала заполню тем, что писали умные люди сто лет назад или ранее... но, все же, надо учиться писать и нам, поэтому буду вкраплять наши тексты среди несмыаемых строк великой русской литературы.

\* \* \*

Часто приходится слышать, что вопросы психологии творчества – то самое шеллингианское "Абсолютное", в котором, по язвительным словам Гегеля, все кошки серы... Не буду спорить с этим: да, психология творчества – пока еще темная область; но напрасно думать, что она темна только для теоретически изучающих ее. Полно, так-ли? Не еще ли темнее она для самого "творящего", для художника?

Когда я вчитываюсь в любое из выдающихся произведений литературы, то мне всегда припоминается одно место из "Горе от ума". Помните слова Софьи про Молчалина и ответ Фамусова: "шел в комнату, попал в другую... – Попал или хотел попасть?" – Ну так вот, мне думается, что всякий большой художник совершенно произвольно всегда "попадает в другую комнату", пройдя через ту, в которой был намерен остановиться... Софья сказала неправду: Молчалины попадают – и в жизни и в литературе – именно в ту комнату, в которую идут: возьмите всю умеренно-аккуратную, среднюю, рядовую беллетристику, публицистику, поэзию – какое умение попадать в заранее намеченную цель! И возьмите истинного художника – какое подчас страстное желание ограничить себя определенными рамками, и какое бессилие, какое неумение сказать только то, что было сознательно задумано! [*здесь и далее подчеркивания автора*]

Яркий пример этого я сейчас приведу, а пока замечу, кстати, вот что: если все это так, то отсюда выясняется и задача критики. Что для нее важнее определить: куда художник "попал" или куда он "хотел попасть"? Конечно,

важно и то и другое, и нельзя пройти мимо вопроса, что хотел сказать художник в своем произведении; но бесконечно важнее другая задача критики – определить не то, что хотел сказать художник, а то, что он сказал и высказал, быть может, сам того не подозревая, не сознавая.

Темная область – психология творчества; но, во всяком случае, в ней твердо установлен один существенный факт: в процессе всякого художественного творчества сознательное я часто вверяет себя руководству подсознательных элементов. Я даже так скажу: быть может, чем больше влияние этих подсознательных элементов, тем больше художественная и всякая иная значимость произведения. Не подумайте, что я собираюсь воскресить старую романтическую теорию поэтического "экстаза", "вдохновения", при котором художник сразу начисто пишет под диктовку свыше и не в праве переменить ни одного слова в написанном, иначе-де это будет "мертвая рефлексия". Конечно, нет. "Творчество" состоит далеко не в одном бряцании расчесанной рукой по лире, но и в мучительном труде воплощения образов в слово: "и слово плоть быть"... Вспомните черновые тетради Пушкина. Все это так. Но вот яркий пример объяснит мою мысль: Толстой. Толстой, беспощадно марающий и десятки раз переделывающий свои произведения, с удивлением признает в своем творчестве власть этих непровольных, подсознательных элементов. Письма, дневник, заметки Толстого шестидесятых-семидесятых годов – что за материал для понимания "творчества"! Напомню его удивительное письмо к Страхову (26 апр. 1876 г.), в разгар работы над "Анной Карениной". Толстой пишет: "...каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно – словами описывая образы, действия, положения... Меня занимало это последнее время. Одно из очевиднейших доказательств этого было для меня самоубийство Вронского...; этого никогда со мною так ясно не бывало. Глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять – и совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо"...

Вы видите: Толстой – "шел в комнату, попал в другую". Весь этот эпизод бесконечно ценен, крайне характерен, но все-таки это сравнительно мелочь, деталь произведения. Возьмите шире: примените ко всему роману то, что автор говорит об одном эпизоде; возьмите глубже: отнесите к философской сущности произведения то, что автор говорит о его фабуле – и вы увидите, что всякий большой художник не может не "попасть в другую комнату", иногда сознавая, иногда не сознавая этого. Думал-ли Пушкин о глубоком философском смысле своего "Евгения Онегина"? Всегда-ли сознавал Достоевский, до каких глубин он доходил? Но лучший пример – опять-таки Толстой: он не только не сознавал, он даже отрицал глубочайший философский и религиозный смысл двух своих романов – "Войны и Мира" и "Анны Карениной". Как понимал Толстой эту свою грандиозную эпопею? Он

считал, что эти романы отвечают только на вопрос "как жить?" и обходят молчанием вопрос "зачем жить?"; он считал, что, потеряв в сороковых годах веру в Бога, а в пятидесятых – веру в человечество, он остался совершенно без руля и без ветрил и беспомощно повис в пространстве, как гроб Магомета; тогда то и были написаны "Война и Мир" и "Анна Каренина". Неужели же это так? Неужели два великих произведения мировой литературы написаны в период духовной и идейной беспомощности автора? Одно из двух: или литература, в таком случае, есть действительно пустая забава, детская побрякушка, "грациозная ненужность", по выражению самого же Толстого последних лет; или Толстой ошибался, считая себя в эпоху "Войны и Мира" и "Анны Карениной" совершенно лишенным всяких запросов о цели бытия. К счастью для нас и для него, он ошибался и в том и в другом случае: "шел в комнату, попал в другую"... Цельная и глубокая философия, яркая религия жизни видна на каждой странице этих романов, совершенно независимо от воли и намерения их автора. Он "хотел сказать" в них только то, "что для меня было единой истиной, – пишет он: – что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше..." Только это он "хотел сказать"; а надо ли напоминать, что действительно "сказал" он этими романами! И не прав-ли я: какое неумение, какое бессилие сказать только то, что было задумано! Великий художник (да и всякий истинный художник) бьет всегда мимо цели и дальше цели; пусть это парадокс, но в этом парадоксе – истина: в нем неизбежное свойство всякого истинного творчества.

Возвращаюсь снова к критике и ее задачам. Повторяю, главная задача критика – определить, куда "попал" художник, а вовсе не куда он "хотел попасть". Конечно, и с литературными Молчалиными бывает, что они попадают, с позволения сказать, пальцем в небо; но и в таком случае, раз критика почему-либо занялась этим явлением, – ее главная задача остается прежней: указать, куда метил автор, и вскрыть, куда он попал. Пусть окажется, что бесталанный автор – простите за вульгарность – "целил в ворону, а попал в корову", или наоборот, – задачей критики и является показать это. Но это только черная работа, неизбежная для подневольного критика: кому охота по доброй воле раскапывать задний двор литературы? Иногда эта работа необходима, но работа эта отрицательного характера. Критик отдыхает и дышит полной грудью, обращаясь к истинному творчеству; но и тут задача по существу не меняется: надо вскрыть не что хотел сказать, а что сказал художник в своем произведении, что сказалось в его целом. Всякая бывает критика – эстетическая, психологическая, общественная, социологическая, этическая; и каждая из них необходима в процессе работы критика. Есть произведения, к которым достаточно приложить только один из этих критериев; но попробуйте ограничиться эстетической или психологической критикой, изучая "Короля Лира" или "Фауста"! Вот почему философская, в широком смысле, критика только одна может считаться достаточно общей точкой зрения. Определить "пафос", определить "философию", чаще всего бессознательную, художника и его произведения, определить, что им "сказалось", а не "говорилось" – вот, повторяю, главная задача критики; вне ее – критика либо "грациозная

ненужность" (есть и такая), либо только накопление материалов для будущего здания **философской критики**. Опять напомним слова Толстого, из того же письма: *"нужны люди, – говорит он, – которые бы показывали бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства"*... А для этого критика должна вскрыть внутренний смысл художественного произведения, должна разобраться в тех бессознательных или подсознательных элементах творчества, которые иногда дают окраску всему творчеству художника.

Итак, скажете вы, критик всегда, подобно Гамлету, должен "вести подкоп аршином глубже" художника? Глубже "Войны и Мира", глубже "Братьев Карамазовых"? О, конечно, нет – иначе критика была бы невозможна. Но задача критики – осознать неосознанное художником и вскрыть тот "подкоп", которым шел художник, ту подсознательную почву, на которой он строил. Когда Толстой писал и печатал "Анну Каренину", а бесчисленные фельетонисты-критики qui mieux истолковывали смысл его произведения, то Толстой иронически отозвался о них: *"ils en savent plus long que moi"*. Конечно, все дело в таланте критика; но знаете-ли что? Мне думается, что в этой фразе Толстого ярко сформулирована вся задача критики: **критика всегда должна savoir plus long, чем самый гениальный художник**. Творческая интуиция художника подсознательна; критический анализ выявляет ее, ясно видит невидимое художнику: истинный критик должен savoir plus long, чем художник, иначе его "критика" не заслуживает этого имени.

Все это только подтверждает ту старую мысль, что истинная критика, в конце концов, неотделима от того произведения, которому посвящена. И тут опять мне припоминается все та же крылатая фраза:

Шел в комнату, попал в другую...

– Попал, или хотел попасть?

Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно....

Да, не случайно (по выражению Аполлона Григорьева) критика Белинского шлющем обвилась вокруг имен Пушкина, Лермонтова, Гоголя... Не случайно художник высказывает не то, что "хотел сказать"; не случайно критик оказывается вместе с ним и вскрывает подсознательную почву, философскую и религиозную основу художественного творчества: не случайно – так как это обусловлено строго необходимой "созвучностью" критика и художника.

И потому – сама **"критика"** неизбежно есть **"творчество"**...

1908 г.

## Писательские судьбы

### Разумник Васильевич Иванов (Иванов-Разумник) (1878-1946).

#### Список трудов и пунктиры судьбы.

"История русской общественной мысли", в двух томах, 1907 г.

"Что такое махаевщина?", ПБ 1908; "Лев Толстой", 1912; "Две России", ПБ, 1918; "Что такое интеллигенция?", Берлин, 1920; "Книга о Белинском", ПБ, 1923; "Русская литература от 70-х годов до наших дней", Берлин, 1923. Редактор ряда собраний сочинений и воспоминаний (литературно-биографические сопроводительные статьи и комментарии):

Собрание сочинений В. Г. Белинского (ПБ 1911), Собрание сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина (М. 1926-27), Воспоминания И. Панаева (1928), Воспоминания Аполлона Григорьева (М. 1930), М. Е. Салтыков-Щедрин (1930).

В 1917 году Р. Иванов-Разумник был одним из редакторов "Дела народа", ежедневной газеты, центрального органа партии с.-р. Осенью 1917 г. перешел к левым с.-р.-ам, работал в литературных органах партии левых эсеров и в их издательстве "Скифы" (Петербург – затем Берлин).

В период 1921-1941 гг. многократно советскими властями был арестован, сидел по разным тюрьмам, был в ссылке. Период "ежовщины" (1937-1938гг.) провел в московских тюрьмах, где через его камеры прошло свыше 1000 человек.

В августе 1941 г. был освобожден и смог вернуться к себе в г. Пушкин (б. Царское Село) – до занятия этого города немцами в октябре 1941 года. Был вывезен весной 1942 г. в Германию и вместе с женой помещен за колючую проволоку в лагере г. Кониц (Пруссия), где они пробыли до лета 1943 г.

Летом 1943 г. им удалось выбраться в Прибалтику и поселиться там у родственников. Весной 1944 г. вернулись в Кониц, жили на частной квартире. В марте 1946 г. скончалась жена Р. Иванова-Разумника, а 9 июня 1946 г. скончался и Р. Иванов-Разумник в Мюнхене, где он поселился у своих родственников. За годы пребывания в Германии Р. Иванов-Разумник много писал, ... но большая часть написанного при трагических обстоятельствах того времени погибла. Несколько очерков литературно-исторического характера было напечатано в берлинской русской газете того времени "Новое Слово" (ред. В. Деспотули)... Они должны были составить отдельную книгу "Писательские судьбы", которая была подготовлена Р. Ивановым-Разумником к печати с написанной для нее им же вводной статьей – "Вместо предисловия". Кроме того им были написаны "Холодные наблюдения и горестные заметы" (о большевистских и немецких зверствах – эта работа была закончена и уже набиралась в типографии, когда в нее попала бомба – набор и рукопись сгорели), "Письма без адресатов" – большая книга, собрание статей на разные темы, судьба этой рукописи не известна. Сохранились и вывезены в Америку две рукописи: "Тюрьмы и ссылки" (около 500 страниц пишущей машинки) и "Оправдание человека" или "Антроподицея" – построение новой религии человечества; работа культурно-философского характера.

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Время ли, стоит ли говорить о писательских "судьбах", о "фантастических историях", когда мировой историей поставлен вопрос о судьбах народов, об участи целого мира?

Какая малая волна, какая ничтожная капля в народном море – писатели; малые тысячи среди многих миллионов!

И добро бы это была русская литература той поры, когда была она "светом мира", когда писатели были "солью земли" ...

Но литература минувшей четверти века в Стране Советов, поставленная под гасильник большевистского террора!

Но писатели, переставшие быть "солью земли" и задыхавшиеся в марксистских намордниках!

"Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему негодная, как разве выбросить ее вон на поприще людям".

Стоит ли говорить о ней?

Стоит, ибо судьба русских писателей минувшей четверти века была трагичной – у многих, драматичной – у всех (лакеи от литературы не в счет), а драма и трагедия человечества – всегда стоят пристального внимания.

Стоит, ибо

Писатель, если только он  
Волна, а океан – Россия,  
Не может быть не возмущен,  
Когда возмущена стихия.

Стоит, ибо если литература даже и не волна, а лишь ничтожная капля в народном море, то и в малой капле вод отражается солнце мировой истории.

Стоит, ибо писательские судьбы в Стране Советов, за четверть века отражают в себе судьбы целого народа.

Чтобы узнать вкус воды – достаточно нескольких капель.

Такие капли – отдельные очерки этой книги, и чем мельче отмеченные здесь бытовые черточки – тем они характернее. И не только стоит их собрать, но необходимо заняться этим именно теперь, "по свежим следам": пройдет еще четверть века – и никто не поверит тем фантастическим историям, участниками которых были мы.

И однако, по слову поэта – "все это было, было, было"...

Иванов-Разумник. 1942-1943

## ДВЕ ЖИЗНИ СУЛТАНА МАХМУДА

(с пропусками)

Среди чудесных сказок "Тысячи и одной ночи" есть одна под заглавием "Две жизни султана Махмуда". Пришел к султану дервиш, предложил ему сесть в бассейн с водой и погрузить голову в воду. Чуть только сделал это султан, как очутился на каком-то острове, посредине бушующего моря, да к тому же еще (ужасная вещь для почитателей Корана!) султан Махмуд оказался превращенным в женщину! Ею овладел откуда-то взявшийся грубый мужлан, и она (султан Махмуд!) год за годом нарожала ему восемь человек детей... И так далее, и так далее, час от часу не легче, с нарастанием кошмаров этой второй жизни султана Махмуда, А когда, наконец, он поднял из воды погруженную в нее голову – оказалось, что эту вторую свою жизнь султан Махмуд прожил в течение нескольких секунд...

История султана Махмуда (с одним "маленьким" изменением...) повторилась да только наоборот! – с нами, со мной и с моими сверстниками, ровесниками Александра Блока и Андрея Белого, вступившими в XX век – в 1901 год – как раз в год своего совершеннолетия (оно тогда считалось в 21 год). Пришел к нему дервиш – имя ему было Революция – и в 1917 году мы погрузили головы в воду... а когда, задыхаясь, вынырнули, то, оказалось, прошло не несколько секунд, а страшно сказать! – целых двадцать пять лет, четверть века. Когда мы погрузили в воду головы, нам не было и сорока лет, были мы (по вежливому французскому выражению "un jeune homme de quarante ans") молодыми людьми, а очнулись от второй жизни султана Махмуда (те, кто уцелел и очнулся) – в возрасте за шестьдесят!

Стояли мы в свое время за "углубление" политической революции до социальной; мы – это наша литературная группа, так называемые "скифы" (по имени двух сборников такого заглавия, вышедших в 1917 году) – Александр Блок, Андрей Белый, Николай Клюев, Сергей Есенин и немногие другие. Скажу о себе: еще в самом начале февральской революции я напечатал статью "Вольга и Микула" (вошла в мою книгу "Год Революции", 1918 г.) – о революции политической и социальной, – и не склонен считать ее ошибкой. Ошибка была, да только совсем в ином плане. Социальная революция висела в воздухе, показательством чего являются и Италия 1920 года и Германия 1933 года. Ошибка была в другом. Как мог я, всю свою литературную жизнь борющийся с русским марксизмом, да еще в лице самого умного его представителя, Георгия Плеханова, – как мог я на минуту поверить в возможность хотя бы временного "пакта" с большевизмом, с его обманной "диктатурой пролетариата", с его компромиссами и всем тем, что восхищает его сторонников: "нет краше зверя сего!" Зверь сей сумел, сперва прикинувшись лисой, по одиночке проглотить всех: в январе 1918 г. учредительное собрание и правых эсеров, в апреле анархистов, в июле – левых эсеров... Да что там эсеры! Вот и четверть века прошло, а лисий хвост и волчья пасть остаются верны себе: теперь зверь сей пытается обмануть Черчилля с Рузвельтом...

Политика – случайная для меня область, а потому перехожу к примерам из дел литературных, которые лучше всяких теорий расскажут о второй жизни султана Махмуда за эти жуткие четверть века. Начну хотя бы с красочной истории самой "Тысячи и одной ночи, – истории как раз на тему сказки; только сказка сказкой, а здесь пойдет быль.

Жил был человек, влюбленный в книгу; звали его Кроленко (не смешивать с знаменитым народным комиссаром Крыленко, ныне расстрелянным или вообще исчезнувшим с лица земли). Дело было в самом начале НЭП'а, о котором Ленин сказал, что она ("новая экономическая политика") вводится "всерьез и надолго". Наивные люди поверили – в числе их и энергичный молодой Кроленко, основавший в эти годы издательство "Академия". Верное чутье прирожденного "книжника" подсказало ему, в какой области книге суждены успехи в эти годы усталости от успехов революции. Разгром Деникина, разгром Колчака, разгром интервентов, разгром за разгромом

А в душе истома,  
И как будто тошно...

Так, вероятно, тошно было султану Махмуду рожать восьмого ребенка...  
"Зарыгтаться бы в свежем бурьяне, забыться бы сном навсегда!"

Книжник Кроленко чутко понял, что в эти годы НЭП'а, в годы усталости от революции, три разряда книг имеют шансы на успех, и в первую очередь мемуарная литература (забыться бы в рассказах о прошлом!). И он начал в "роскошных изданиях" – и с громадным успехом – издавать и переиздавать мемуарную литературу XIX века.

*[Далее пунктиром рассказ о дальнейшей судьбе талантливого издателя...]*

... Наконец – третий разряд книг, которые могли рассчитывать на успех в эти годы утомления от победоносного, дубоватого и плоско-прозаического русского марксизма: запретная область СКАЗКИ. К слову сказать, отношение к ней марксизма с годами являло "ряд волшебных изменений милого лица", но это пока выпадает из моей темы. И тут молодой издатель решил, не ограничиваясь изданием отдельными томами областных и национальных сказок, с особенной роскошью выпустить в свет впервые на русском языке полную "Тысячу и одну ночь", переведенную ... с арабского подлинника и с возможной полнотой. Перевод ... был заказан одному молодому ученому, под редакцией академика Крачковского, а "оформление" книги ... предоставлено было художнику Ушину, довольно удачно справившемуся с поставленной перед ним задачей. ... и тут терпение ГПУ исчерпалось! Для чуткого издателя (не будь чутким!) началась вторая жизнь султана Махмуда.

... дело, правда, кончилось быстро и благополучно: издатель "просидел" сколько-то месяцев, никуда не был ни сослан, ни выслан (редкий случай!), но зато убедился в полной анти-государственности своего поведения и "добровольно" решил, что издательство его, "Академия", должно именно стать неразрывной частью Государственного Издательства (что и случилось), а сам он может отныне заниматься чем хочет – кроме, конечно, издания книг...



## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О САМОМ СЕБЕ

(История тоже не без фантастики)

Писать о самом себе – и трудное, и скучное дело, но так как и мне пришлось быть одной из иллюстраций к фантастической истории султана Махмуда, то, преодолевая скуку и трудность, скажу несколько слов о себе самом.

Никогда не был я членом какой бы то ни было политической партии, но всю свою литературную жизнь продолжал (а по мнению ГПУ – даже "возглавлял") то направление народничества, которое определяется именами Герцена, Чернышевского, Лаврова и Михайловского. К началу XX-го века направление это политически оформилось в партию социалистов-революционеров ("эсеры"), и мне довелось "возглавлять" литературные отделы их журналов и газет ("Заветы" 1912 -1914 гг., "Дело Народа" 1917 г.). Когда эсеры осенью 1917-го года раскололись на "правых" и "левых", то в газете последних "Знамя Труда" и в журнале "Наш Путь" я опять таки был редактором литературных отделов. Имя мое было, конечно, занесено на черную доску ЧК, ГПУ и прочих органов власти победоносного марксизма. Однако после убийства Мирбаха и разгрома "левых эсеров" в июле 1918-го года меня еще временно оставили в покое.

Только в феврале 1919-го года последовал первый мой арест в Царском Селе органами ЧК по обвинению в не существовавшем "заговоре левых эсеров"; через день были арестованы – по адресам в моей записной книжке – Александр Блок, Алексей Ремизов, Евгений Замятин, художник Петров-Водкин, проф. С. А. Венгеров, М. К. Лемке и многие другие столь же ни в чем неповинные писатели (к слову сказать – история пребывания Александра Блока в недрах ЧК закреплена в книжке "Памяти Александра Блока", изданной Вольной Философской Ассоциацией в 1922 году; о том, чем была "Вольная Философская Ассоциация" – Вольфила – в эти годы еще расскажу особо). Всех их выпустили после кратковременного пребывания в стенах ЧК, а меня увезли в Москву, на "Лубянку" (центральная московская Тюрьма ЧК, ГПУ, НКВД – вплоть до нынешних дней). Фантастическая история этого путешествия и пребывания в подвалах "Лубянки" – заслуживает подробного рассказа, которому здесь не место; скажу только, что на этот раз фантастическое "дело" закончилось благополучно – и султан Махмуд вынырнул через две недели на свободу, с обещанием, что его впредь не будут "зря беспокоить" ...

Обещание это органы власти держали чуть не полтора десятилетия; но возможность настоящей литературной работы была с тех пор почти совершенно отрезана. Когда в 1923-м году вышла в свет – с великими трудностями и цензурными купюрами – моя книга, посвященная творчеству Александра Блока и Андрея Белого ("Вершины"), то петербургские цензурные держиморды тут же объявили издательству ("Колос"), что впредь мои книги не будут разрешаться независимо от их содержания. И действительно, после этого ни одна из моих книг не была пропущена цензурой (в том же издательстве – книги "Россия и Европа", "Оправдание человека" и другие).

Правда, заниматься "литературоведением" и библиографией мне было дозволено. В 1926-1927 году я редактировал шеститомное собрание избранных сочинений Салтыкова-Щедрина и поместил в нем 30 печатных листов

подробных комментариев (связанная с ними фантастическая история – тоже впереди). В 1930-м году выпустил в свет сборник "Неизданный Щедрин", и в том же году московская цензура пропустила – снова с великими трудностями – I-ый том моей монографии о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина (II-ой и III-ий тома погибли в годы моих тюрем и ссылок). Наконец, в том же году началось по моему плану издание двадцатитомного полного собрания сочинений того же Салтыкова, – как видите, мне пришлось специализироваться на одном авторе, так как свои пути были начисто отрезаны.

Впрочем – не совсем. С 1930-го года редактировал двенадцатитомное собрание сочинений Александра Блока; за три года, до весны 1933-го года, успел приготовить, а "Издательство Писателей в Ленинграде" успела выпустить первые семь томов (стихи и театр). Последние пять томов (проза) обработать не успел, так как в начале 1933-го года был арестован – и начались многолетние скитания по тюрьмам и ссылкам. К семи томам стихов и театра Блока написал до 50-ти печатных листов комментариев (основанных на изучении рукописей), но еще до моего ареста они, уже набранные, сверстанные и отчасти напечатанные, были, по приказу ГПУ, вырезаны из издания и погибли. Впрочем – тоже не совсем. Сменивший меня на посту редактора (после моего ареста) молодой "коммуноид" Владимир Орлов щедрой рукой черпал из предоставленного ему издательством корректурного экземпляра моих комментариев для последующих изданий Блока. Он оказался достаточно грамотным переписчиком.

А для меня начались годы сидений и скитаний. Рассказ о них – дело длинное и особое; здесь лишь – краткая наметка основных вех.

1933 год: с февраля восемь месяцев сидения в одиночной камере ДПЗ (Дома Предварительного Заключения), а потом ссылка на три года в Новосибирск, вскоре замененная ссылкой на такой же срок в Саратов.

1936 год: "по отбытии ссылки" – разрешение поселиться в Кашире, но отнюдь не вернуться домой, к семье, в Царское Село.

1937 год, сентябрь: арест в Кашире, перевод в Москву, в Бутырскую тюрьму, в общие камеры, где пребывал год и три четверти.

1939 год, июнь: освобождение, без новой ссылки, но и без права вернуться домой, в Царское Село. Удавалось бывать там только хитростью, прописываясь "временно".

Так прошло время до начала войны и до занятия германскими войсками Царского Села 17 сентября 1941 года.

Обвинения?

1. Был "идейно-организационным центром народничества" (обвинение 1933-го года).

2. Продолжал после ссылки "контрреволюционную деятельность" в Москве, проживая в Кашире (обвинение 1937-го года).

3. Покупал в 1921-м году берданку, подготавливая вооруженное восстание против советской власти (обвинение 1937 года).

4. На втором Съезде Советов, в апреле 1918 года, произнес антибольшевистскую речь и "был стащен за ногу с кафедры одним из возмущенных коммунистов, ныне готовым подтвердить свои слова на очной ставке" (обвинение 1938-го года).

Не привожу всех таких обвинений (десятки!), столь же серьезных, но остановлюсь еще на одном, самом замечательном, однако требующем небольшого предисловия. А пока скажу: само собой понятно, что берданки я никогда не покупал ("и как это вы не понимали, что нельзя же берданкой бороться с танками!" – играя в наивность, удивлялся следователь); на Съезде Советов вообще не был (хотя достоверный лжесвидетель и стащил меня там за ногу с кафедры; "контрреволюционная деятельность" моя в Кашире и Москве заключалась, очевидно, в комментировании большого тома (40 печатных листов) для Государственного Литературного Музея в Москве – "Письма Андрея Белого к Иванову-Разумнику 1912-1932 гг." Но самое фантастическое обвинение – впереди; к нему, однако, и требуется небольшое предисловие.

В камере № 113 Бугырской тюрьмы, в конце 1936-го года, сидело нас не так много – всего человек 60 на 24 места; среди нас один моряк, который служил свыше года в Париже, в торговом секторе полпредства; а полпредом (т.е. послом) был тогда "товарищ Потемкин", к началу 1939-го года ставший заместителем и помощником Молотова (а может быть к тому времени уже дисквалифицированный и назначенный народным комиссаром просвещения РСФСР, не помню). Так вот, моряк этот вернулся как-то вечером с допроса в очень подавленном настроении и с явными признаками на лице весьма веских "аргументов" следователя. Впрочем, он был подавлен не самым фактом этих аргументов, а своим "добровольным" признанием в том, в чем он был столь же виновен, как я в покупке берданки. А именно: он признался, что в 1937-м году, в Париже, полпред Потемкин организовал среди членов полпредства боевую троцкистскую организацию, в которой и он, моряк, принимал участие...

Конечно, все это фантастично: фантастично то, что органы НКВД составляют лживый протокол о человеке, являющемся в это же самое время заместителем комиссара по иностранным делам; еще фантастичнее то, что такому протоколу не дается никакого хода. Он остается лежать в делах НКВД – "на всякий случай": авось пригодится, авось можно будет арестовать и товарища Потемкина, так вот обвинение уже и готово, и достоверный лжесвидетель налицо...

"То ли еще бывало!" – в эти ежовские времена...

После этого предисловия возвращаюсь к обвинению против меня; помню, что оно было предъявлено мне в виде новогоднего подарка 31 декабря 1937-го года:

"В апреле 1936-го года, временно пребывая в Ленинграде, имел в подпольной явочной квартире свидание с академиком Е.В. Тарле, с которым вел беседу по поводу участия в ответственном министерстве после свержения советской власти".

Та же история, что и с Потемкиным. Академика Тарле я никогда в жизни не видел, ни "подпольно", ни "надпольно", даже портрета его не видал – и не знаю: с бородой он или бритый, с шевелюрой или лысый... Но представьте себе, что я согласился бы показать все то, что требовал следователь: в архивах НКВД лежало бы готовое обвинение, если бы представился удобный случай изъять из обращения академика Тарле. А я по наивности подумал тогда, что почтенный академик, обвиняемый в таком преступлении, наверное уже арестован... Ничуть

не бывало! Он и не подозревал, какие сети хочет сплести вокруг него НКВД, благоденствовал и продолжает благоденствовать даже до сего дня.

Повторяю: все это на грани фантастики: но ведь в Стране Советов всем известно, что девяносто девять процентов обвинений, предъявляемых ЧК, ГПУ, НКВД, Гособезом или как бы они там ни назывались – сплошная ложь, фантастика, никого из обвиняемых не удивляющая.

В заключение – существенная оговорка: да не подумает читатель, что, рассказывая обо всем пережитом, я считаю себя страдальцем, столь жестоко претерпевшим от советской власти: годы тюрем и скитаний! В том то и дело, что сравнительно с другими (миллионами!) претерпел я очень мало: не был приговорен к изолятору, не сидел в концлагерях, в ссылке был в больших городах, во время допросов никогда не подвергался никаким веским "аргументам" следователя, многие ли могли этим похвастаться? Конечно – европейские понятия о праве совершенно иные; но ведь я рассказываю о жизни в Стране Советов, где моя судьба была еще одной из легчайших.

Чтобы закончить о себе – скажу еще о событиях самого последнего времени. За четыре десятилетия моей писательской деятельности я постепенно "обрастал" книгами; один небольшой шкаф с книгами обратился к 1941 году в одиннадцать больших шкапов с десятью тысячами томов. Одновременно с этим в течение ряда лет и десятилетий накопился очень большой литературный архив, с драгоценными рукописными материалами (Блок, Белый, Сологуб, Ремизов, Клюев, Есенин, Замятин и многие другие), десятки папок, тысячи писем, два громадных шкапа.

Осенью 1941-го года наш небольшой деревянный домик в Царском Селе, на самой окраине города – оказался в то же время и на самой линии фронта. Разрушение его началось бомбами с аэропланов в августе-сентябре и закончилось артиллерийскими снарядами зимою 1941-1942 года. Когда я посетил его в последний раз – библиотека и архив представляли собою сплошную кипу бумаги, истоптанной солдатскими сапогами на полу всех трех комнат домика; теперь от него осталось одно только воспоминание...

Ничего не поделаешь: такова, видно, моя писательская судьба...

Но – довольно о себе; интереснее (и для читателей и для меня) общий рассказ о судьбах писателей, ПОГИБШИХ за эту четверть века (расстрел, изолятор, концлагерь, самоубийство), о ЗАДУШЕННЫХ цензурой и потому замолчавших, ПРИСПОСОБИВШИХСЯ и потому процветавших. "Ему же честь – честь", как сказано в Писании...

Воспоминания эти хочу предварить небольшой "концовкой" к настоящему очерку, которая одновременно послужит и "заставкой" к очерку следующему – о Федоре Сологубе.

Сологуб до конца дней своих (он умер в декабре 1927 г.) люто ненавидел советскую власть, а большевиков не называл иначе, как "туполобы". Жил он в 1923-1924 гг. в Царском Селе, стена в стену с нашей квартирой на Колпинской улице, и ежедневно – в ответ на мой условный стук в стену – приходил к нашему послеобеденному чаю. Как то раз, летом 1924 г., он пришел мрачный, насулпленный, сел за стакан чая, помолчал – и неожиданно спросил:

– Как вы думаете, долго ли еще останутся у власти туполобые?

Не имея возможности серьезно ответить на такой вопрос, я отделался шуткой:

– По историческим аналогиям, дорогой Федор Кузьмич: в России триста лет стояли у власти татары, триста лет царили Романовы, вот и большевики пришли к власти на триста лет...

Сологуб очень – и по-серьезному – рассердился:

– Какой вздор: теперь – век телеграфов, телефонов, радио, аэропланов! Время летит безмерно быстрее, чем в эпоху Романовых или татар! Триста лет! Теперь не средние века с их ползучим временем!

– Ну, хорошо, Федор Кузьмич, пусть так; сколько же времени, по вашему, большевики будут стоять у власти?

Сологуб сперва серьезно задумался, потом искорки юмора блеснули у него в глазах (он был чудесный юморист, о чем знали только немногие) и как будто нехотя, но с полной серьезностью (что было особенно пикантно) он ответил:

– Ну... лет двести!

И тут же сам расхохотался.

Я охотно подарил Сологубу сто лет: триста или двести лет – не все ли равно? И неужели нашему поколению так и остаться навсегда при второй (кошмарной!) жизни султана Махмуда? Неужели так и задохнемся мы под водой?

При подобных вопросах всегда неутешительно вспоминался мне один эпизод из истории средних веков с их "ползучим временем"; ведь у истории другие масштабы и сроки, чем у нас.

Последний крестовый поход закончился большой неожиданностью: крестоносцы, идя в Палестину через Византию, решили, что Константинополь нисколько не хуже Иерусалима, а потому взяли столицу Византии и вообще овладели всей европейской частью этого государства; император Комнен вынужден был бежать в свои малоазиатские владения. Это было в 1204 году. Мой гимназический учебник истории (ведь вот запомнилось же на целые полвека!) бесстрастно и кратко продолжал и заканчивал:

... "Власть крестоносцев была непродолжительна; уже в 1264 году внук изгнанного императора в свою очередь изгнал крестоносцев из Византии" ...

"Непродолжительна", – благодарю вас! Шестьдесят лет!

Триста, двести, шестьдесят лет – небольшие сроки для народа, хоть и весьма разные; для отдельного человека между ними почти нет разницы, и юмор Федора Сологуба в этом случае вполне уместен.

Но история умеет делать иногда и неожиданные подарки. Вместо шестидесяти, двухсот или трехсот лет она иной раз укладывает события огромного масштаба на протяжении какой-нибудь четверти века, – время уже соизмеримое с длительностью человеческой жизни. Так, например, – от начала французской революции до Ватерлоо (ее конца) прошло ровно двадцать пять лет. И с октября 1917 г. четверть века заканчивается как раз в нынешнем 1942 году...

## ФЕДОР СОЛОГУБ

Еще не светало рано утром 5 декабря 1927 г., когда мы с женой получили в Царском Селе телеграмму от О. Н. Черносвитовой (свояченицы Федора Сологуба, у которой он жил):

"Федор Кузьмич в агонии, приезжайте немедленно". Оправдывалось его предсказание о самом себе:

Смерть меня погубит в декабре,  
В декабре я перестану жить...

Мы с женой сейчас же поехали на Ждановку (Петербургская сторона), где жил, а теперь умирал большой русский поэт, но застать его в живых уже не привелось: он скончался незадолго до нашего приезда и теперь лежал на своей оттоманке, под одеялом – похолодевший, бесстрастный, со спокойным, одновременно и строгим и добрым (как было и при жизни) выражением лица. Другие его строки о себе самом – не оправдались:

Перехитрив свою судьбу,  
Уже и тем я был доволен,  
Что весел был, когда был болен,  
Что весел буду и в гробу...

Судьбы своей он не перехитрил, и в гробу не был весел, как обещал; но и многомесячные страдания (он тяжело умирал от уремии) не отпечатались на его спокойном лице.

А как ему не хотелось умирать! Это был уже не тот дерзкий Сологуб, который ненавидел "дебелую бабищу Жизнь" и воспевал хвалу Смерти-освободительнице. За несколько дней до прихода к нему этой неизбежной смерти, я был у него по литературным делам (по каким – еще скажу ниже) – и впервые в жизни увидел его плачущим и тщетно пытающимся скрыть слезы.

– Умирать надо? Гнусность! Только-только стал понимать, что такое жизнь... Разве раньше старости человек понимает это? А вот – надо уходить. Зачем? За что? Как смеют? (это безличное "Как смеют?" – очень мне запомнилось).

Чем утешить умирающего? Я попробовал сказать ему, что смерть приходит к человеку только тогда, когда сам он теряет волю к жизни, а пока воля эта есть – смерть над ним бессильна. Смерть – явление столько же духовного (вернее *душевного*), сколько и физического плана... Но Сологуб не слушал.

– К лягушкам? В болото? Не хочу!

А когда я имел неосторожность (скажем уж прямо: глупость) напомнить ему о "дебелой бабище Жизни", то он до того рассердился, что я даже обрадовался: была еще у него эта воля к жизни!

Но теперь – все было уже решено и кончено. Смерть-освободительница избавила его и от физических и от душевных страданий.

День прошел в суете, в хлопотах, посетителях, а к ночи, когда гроб с телом, засыпанный цветами, уже стоял посредине комнаты, когда после вечерней панихиды разошлись многочисленные друзья, почитатели, знакомые и незнакомые, я начал разбор оставшихся после Ф.Сологуба бумаг и проработал всю ночь напролет, вызвав на помощь одного доброго друга, страстного книжника и большого знатока русской поэзии XX века.

В начале 30 годов этот друг был арестован по совершенно бессмысленному обвинению; провел несколько лет в одной из уральских тюрем, а после нее – еще несколько лет в ссылке в одном из северных городов. Когда срок ссылки в начале 1937 года закончился – он снова был арестован, и на этот раз бесследно пропал для родных и друзей, был вычеркнут из числа живых. Что с ним теперь и где он, жив ли, нет ли – не знаю; но если жив, то не рискуя компрометировать его знакомством с собою, ныне вынырнувшим из воды.

Итак: мы с ним проработали всю ночь напролет. Такая спешка нужна была оттого, что Сологуб – Федор Кузьмич Тетерников – умер бездетным, вообще наследников не оставил, и каждую минуту мог явиться "фининспектор", чтобы наложить арест на выморочное имущество. Всю ночь мы разбирали и переносили бумаги, рукописи, книги с автографами, ящики, альбомы, Фотографии, пачки писем – из комнаты Сологуба в другие комнаты квартиры.

Настало утро – и я отправился в "Пушкинский дом Академии Наук". Это было как раз незадолго до его разгрома, до разгрома всей Академии, до ареста и последующей гибели в самарской ссылке академика С.Ф.Платонова, а в других ссылках – скольких других академиков и профессоров!

Но в 1927 году разгрома еще не было. Пушкинский дом осеяло еще имя честного и скромного ученого, П. Н. Сакулина, а заместителем его был милейший и обязательнейший Б. Л. Модзалевский, один из авторитетнейших наших пушкинистов; рукописным отделом заведовал зять С. Ф. Платонова, тоже "пушкинист", но сравнительно молодой, Н. В. Измайлов.

Наконец – секретарем Академии Наук был тогда племянник семьи Римских-Корсаковых (композитора), а через них давно знакомый и мне Б.Н.Молас. Привожу все эти имена в связи с последующей их судьбой. Впрочем Б.Л.Модзалевский счастливо избежал ее – скоропостижно скончался незадолго до разгрома Академии и Пушкинского Дома. Б.Н.Молас и Н.В.Измайлов были менее счастливы – и получили (без вины виноватые) по десять лет Соловков каждый. Измайлов впоследствии снова появился на "пушкинском" научном горизонте, а Молас, отбыв ссылку, был вторично арестован, и с начала 1937 года пропал бесследно. Все это – такие знакомые в СССР "переживания"!

Молас, Модзалевский и Измайлов в полчаса "оформили" дело, устроили все, что было нужно, и выдали мне охранную грамоту на весь архив Федора Сологуба, как подлежащий передаче а Пушкинский Дом Академии Наук. Теперь мы могли спокойно заняться разбором и описью архива, не боясь фининспектора (он явился в тот же день и пощелкал зубами), – и занялись этой работой немедленно после похорон. Она продолжалась каждый день

почти три месяца – и лишь в конце февраля 1926 года мы закончили наш труд, и сдали разобранный и описанный архив Сологуба представителям Пушкинского Дома.

Архив Федора Сологуба представлял собою нечто исключительное не только по богатству материала, но и по величайшему порядку, в котором весь этот материал содержался. Стихи и рассказы были собраны и в хронологическом, и в алфавитном порядке, датированы, разложены по алфавитным ящикам; письма разобраны по фамилиям, фотографии надписаны.

Тремя годами позднее, когда мне пришлось столь же близко ознакомиться с архивом А. А. Блока, находившемся у меня на дому (при редактировании мною собрания его сочинений), я убедился, что не один Федор Кузьмич умел содержать свои бумаги и тетради в образцовом порядке, но все же пальму первенства приходилось отдать Ф. Сологубу. Через десять лет, в 1940 году, мне привелось приводить в порядок и описывать архивы живого Михаила Пришвина и покойного моего друга А. Н. Римского-Корсакова – и я тогда не раз поминал добрым словом величайшую аккуратность и систематичность Сологуба.

Тяжка судьба писателя – в расцвете сил чувствующего, что ему есть еще что сказать – и вынужденного умолкнуть и писать только "в письменный стол". Такова была и судьба Ф. Сологуба после 1917 года. Десять лет прожил он еще, писал много (опись архива показала нам это), напечатать не мог почти ничего: он был "не-актуален"... Аргумент – поистине идиотский, ибо все великие произведения всегда "не-актуальны", они стоят выше узких интересов своего времени. Правда, это не значит, что всякое "не-актуальное" произведение должно считаться "великим", ибо, как известно из математики, не все обратные теорема справедливы: когда идет дождь – я раскрываю зонтик, но из этого не следует, что когда я раскрою зонтик, то пойдет дождь...

Произведения последних десяти лет жизни Ф. Сологуба не были, быть может, "великими", но они были безмерно талантливее того "актуального" и сугубо бездарного, что начало заполнять собою страницы журналов и что получило название "пролетарской литературы". Ужасные стихи Уткиных, Алтаузенов, Светловых и Ко – печатались; замечательные стихи Ф. Сологуба этого же десятилетия – складывались им в письменный стол. О судьбе последних тетрадей этих стихотворений мне и хочется теперь вспомнить.

В обычную "школьную" тетрадку Ф. Сологуб почти ежедневно записывал иногда одно, иногда и несколько стихотворений. Лишь ничтожная часть их напечатана в тех сборниках, которые выходили в самом начале двадцатых годов: "Фимиама", "Соборный Благовест" и немногие другие. А за два последние года жизни Ф. Сологуба (1925-1927) ему уже не удавалось проводить в печать ни своих сборников, ни отдельных стихотворений. Как раз к этому времени он тяжело заболел, на глазах умирал; очень хотелось хоть чем-нибудь скрасить последние месяцы его жизни. Я предложил ему – отобрать несколько десятков наиболее "подходящих" стихотворений и взялся



хлопотать об их издании отдельным сборником в Государственном Издательстве, где тогда литературным фронтом командовал некий Ангерт, известный мне по делам издания комментированного мною в 1926-1927 гг. "избранного Салтыкова".

(В скобках: что этот товарищ Ангерт вытворял, как "хозяин русской литературы" в Ленинграде – говорить об этом не стоит; делал он, что левая нога его хотела. Но – года через два после описываемого времени – и на него нашла беда: был арестован, сидел в заточении, а затем был отправлен в многолетнюю ссылку на побережье Лапландии. Дальнейшая судьба его мне неизвестна, да, по правде сказать, и неинтересна).

Сологуб отказался сам производить отбор "подходящих" стихотворений и передал мне пять толстых тетрадей со стихами 1926-1927 годов, чтобы я проделал эту работу за него; сам он был уже настолько тяжело болен (дело было в октябре 1927 года), что даже и такая работа была для него непосильной. Я взял эти тетради, чтобы из нескольких сот отобрать несколько десятков последних стихотворений Ф. Сологуба (всего я отобрал их восемьдесят); они, действительно, оказались – ПОСЛЕДНИМИ. Самое последнее, замыкавшее собою пятую тетрадь, было трогательным прощанием с жизнью поэта, увидевшего приближающуюся смерть:

Подыши еще немного  
Тяжким воздухом земным,  
Бедный, слабый воин Бога,  
Весь истаявший, как дым...

Давнишний любитель и ценитель стихов Сологуба, я все же был поражен великой простотой этих последних его стихотворений, экономией слов и образов, отказом от всякого бывшего "барокко". Вспомнился недавний разговор с ним в Царском Селе (он нежно любил этот городок и мечтал снова переехать туда, "лишь только поправлюсь"): "сперва восхищаешься роскошью Растрелли, а к старости начинаешь ценить величавую простоту Камерона"... Поэт-Сологуб всегда был "прост", но теперь трудная эта простота дошла до пределов классичности – и величайшим трудом было отобрать восемьдесят стихотворений из нескольких сот: каждое хотелось взять в сборник.

К середине октября работа была завершена, стихотворения отобраны и отбор этот санкционирован Ф. Сологубом; после этого жена моя переписала весь этот сборник на пишущей машинке в трех экземплярах – один из которых я и отнес к Ангерту. Дальнейшая судьба трех экземпляров: один – конечно, погиб в Государственном Издательстве; два других, после смерти Ф. Сологуба, были поделены между О. Н. Черносвитовой и мною. Мой экземпляр погиб с моим архивом; о судьбе экземпляра О. Н. Черносвитовой – когда-нибудь узнаем.

Сперва казалось, что Государственное Издательство хочет пойти навстречу желанию друзей поэта – издать еще при его жизни последний сборник его стихотворений. Был даже намечен художник для обложки – общий наш друг и приятель, Петров-Водкин. Но потом – дело застопорилось: сборник был признан "не-актуальным", а отдельные его стихотворения –

"контрреволюционными". Особенно напирал Ангерт на одно стихотворение, которое, считаю я, когда-нибудь войдет во все хрестоматии и которое здесь оглашаю я впервые;

Спорит Башня с черной Пашней:

– Пашня, хлеба мне подай!

Спорит Пашня с гордой Башней:

– Приходи и забирай!

Башня поиск высылает,

Панцирь звякает о бронь,

Острие копья сверкает,

Шею гнет дугою конь.

Пашня Башне покорилаь,

Треть зерна ей отдала,

А другой – обсеменилась,

Третьей – год весь прожила.

Шли века. Упала Башня

И рассыпалась стена.

Шли века. Ликует Пашня,

Собирая семена.

– Как же вы не хотите понять, что Башня – это коммунизм, а Пашня – это крестьяне-единоличники! – возмутился Ангерт, услышав мое мнение об этом стихотворении, как о "классическом".

Так и не удалось издать книги при жизни Ф. Сологуба. Но не удалось это и после его смерти: сборник замечательных стихотворений большого поэта вот уже 15 лет лежит "готовый к печати" – и никому ненужный; нужны и печатаются "актуальные" вирши пролетарских поэтов. Более того: вот уже 15 лет находится в Пушкинском Доме архив Сологуба – а в архиве этом, как я уже сказал, сотни неопубликованных стихотворений, незаурядные рассказы, планы романов и повестей, – не говоря уже о черновиках "Мелкого беса" и других романов Сологуба. И что же? Ни одна живая душа не заинтересовалась за все эти 15 лет ознакомлением с этим исключительным архивом.

И дело туг, конечно, не в Сологубе и его "актуальности" или "неактуальности", а в органическом понижении русской культуры. Когда князь Д. И. Шаховской открыл новые, неизвестные "Философические письма" Чаадаева (ведь это же исключительная сенсация! В былое время вся печать России трубила бы об этой находке!), то и это прошло в большевистской печати совершенно незамеченным. А то – сотни неизданных стихов Сологуба, подумаешь!

Это органическое **понижение культуры** и было для Сологуба (не для его одного, конечно) внутренней трагедией.

Жизнь раздвоилась, и чем дальше шло время, тем менее было надежды, что когда-нибудь удастся соединить эти раздвоенные половины. К тому же и в личной жизни случилась трагедия: жена поэта, Анастасия Николаевна Чеботаревская, покончила самоубийством. Скончался Блок; был расстрелян Гумилев, – и А. Н. Чеботаревская решила, что "судьба жертв испугательных

просит", намечая к гибели трех больших русских поэтов: третьим будет Сологуб. Но его можно еще спасти, если кто-нибудь пожертвует собой за него: вот она и бросилась в ледяную воду Невы с Тучкова моста, рядом с тем домом на Ждановке, где ждал ее к вечернему чаю Сологуб.

После этого жизнь его пошла раздвоено. С одной стороны Сологуб – бессменный председатель Союза Писателей, лояльный гражданин СССР, вполне подчинившийся государственной власти – одно лицо, одна жизнь. Другая жизнь, другое лицо ненависть к "туполобым", ожидание чуда, страстное ожидание свержения ненавистной власти.

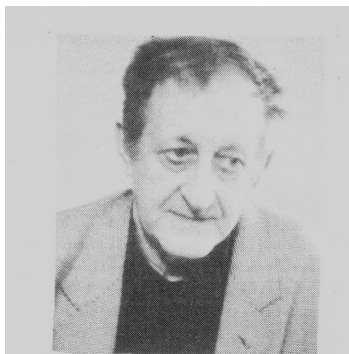
За чайным столом любил он поговорить о "пролетарской литературе" (он много читал) – и беспощадно приговаривал ее "к небытию". Писал ядовитые эпиграммы на деятелей этой литературы. Мечтал об отъезде за границу, – но знал, что его туда не выпустят. Мечтал о том, что ему еще удастся напечатать новые рассказы, новые стихи, но в трезвые минуты сам понимал, что мечты эти – несбыточные и что печататься ему не дадут. Чтобы зарабатывать на жизнь (нельзя же было жить на восьмидесятирублевую пенсию, да и то пожалованную всего за три года до смерти) – пришлось обратиться к переводам французских романов и к редактированию других переводов. Конечно, хорошие переводы – дело полезное и почтенное; но заставить Сологуба заниматься ими, значило то же самое, как будто Менделеева засадили в гимназию преподавателем химии и физики. Хороший учитель гимназии – дело тоже почтенное, но экономно ли Менделеева делать педагогом, а Сологуба – переводчиком? Но советская власть об экономии не заботилась, ибо органическое понижение культуры входило в ее планы: поднять "пролетариат" до высшего уровня "интеллигенции" – дело долгое и трудное, проще и скорее – понизить этот уровень. В достижении этой цели большевики добились за четверть века больших успехов.

Так и умер Федор Сологуб. За последние месяцы жизни он знал что умирает и что ему уже не дождаться освобождения. Последнее его стихотворение (первую строфу которого я привел выше) говорит о том, что умирающий поэт примирился с тяжелой своей судьбой:

.....

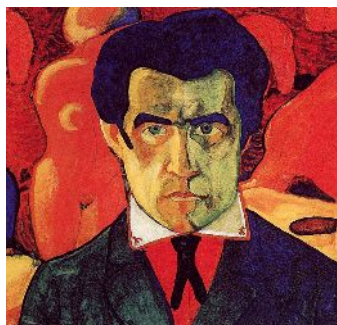
Подыши ж еще немного  
Сладким воздухом земным,  
Бедный, слабый воин Бога,  
И – уйди, как легкий дым...

Это – последнее его стихотворение, такое простое и такое обреченное, Прошло полтора десятилетия после его смерти – и Сологуб, как писатель, совершенно забыт в СССР, точно его и не было ("Вот – и памяти уж нет!"); он заслонен десятками калифов на час, память о которых погибнет без шума как раз тогда, когда вновь воскреснет имя Федора Сологуба и начнет разрабатываться замечательнейший его архив, ныне мертвым грузом лежащий в Пушкинском Доме.



Ковтун Евгений Федорович родился в 1928 г. Окончил кафедру истории искусства ЛГУ и аспирантуру. Работает в Русском музее ст. н. сотрудником. Занимается русским авангардом. Под его редакцией вышел ряд книг, в частности: «Авангард, остановленный на бегу», «Книги русских футуристов», «Велимир Хлебников и художники».

## **КАЗИМИР МАЛЕВИЧ И ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ХЛЕБНИКОВА**



*Итак, детские и юношеские годы Маринетти и я проводили на верховьях Этны, единственные наши собеседники были черти, которые появлялись через дымовую трубу Этны. Мы были тогда мистики, но черти нас все время соблазняли материалистической наукой и доказывали, что искусство должно тоже быть материалистично. Я был, правда, туговат, а Маринетти сразу усвоил это понятие и закатил манифест, воспевая дымовые трубы заводов и все их производство.*

К. Малевич

В самом деле, черти не смогли соблазнить юного Малевича. Никогда он не был атеистом, он был богоборцем, особенно в ранние годы, но в сознании Малевича всегда присутствовал Творец, Демиург, создатель вселенной. Его супрематизм пронизывали мистические ощущения; материалистические учения вызвали недоверие. П. А. Мансуров рассказывал:<sup>1</sup> в доме на Песочной улице, у М. В. Матюшина, нередко шли разговоры на мистические темы, но когда появлялся материалист Татлин, разговор обрывался.

В разгар жестоких гонений против церкви Малевич выступает в Петрограде с докладом «Искусство, фабрика и церковь как три пути, утверждающих Бога».<sup>2</sup> В том же 1922 году вышла его книга «Бог не скинут».<sup>3</sup>

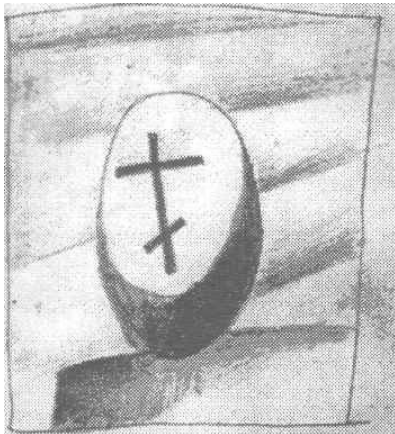
Когда в 1915 году М. Ф. Ларионов окончательно уехал во Францию к С. П. Дягилеву, лидерство в русском авангарде перешло к Малевичу и Татлину, постоянным соперникам. Н. Н. Пунин вспоминал: «У них была особая судьба. Когда это началось, не знаю, но сколько я их помню, они всегда делили между собою мир: и землю, и небо, и междупланетное пространство, устанавливая всюду сферу своего влияния. Татлин обычно закреплял за собою землю, пытаясь столкнуть Малевича в небо за беспредметность. Малевич, не отказываясь от планет, землю не уступал, справедливо полагая, что и она – планета, и, следовательно, может быть беспредметной».<sup>4</sup>

Подоплекой этой вражды было различие мировоззрений. Малевич упрекал Татлина в культе железа, в материализме. Татлин же обвинял Малевича в идеализме и мистике.

«Пикассо, – писал Малевич в 1923 году, – «первый подsunул в искусство» материальную культуру. Это может засвидетельствовать мой друг юности Владимир Татлин, будучи в Париже в 1912 году<sup>5</sup> у него в студии и в силу чего болел в продолжение десяти лет материальной болезнью, сидя в жестяно-стеклянных контр-рельефах. [...] Я тоже был на волосок от гибели, меня ожидала та же участь, но тут подвернулся поэт Крученых, написал поэму «Победа над Солнцем»<sup>6</sup> (это было в 1913 году), через которую я вышел в обратную сторону к Татлину, пришел к нулю, «стал делать ненужные вещи».<sup>7</sup>

В богоборческий период начала века Малевич болезненно переживал

«ошибку», как ему представлялось, оказавшуюся в фундаменте мироздания. «Вся ошибка в том, писал художник, – что в системе был установлен предел».<sup>8</sup> Этим пределом был известный запрет относительно яблока с Древа познания добра и зла. Если бы бог построил в совершенстве систему, не согрешил бы Адам».<sup>9</sup> А совершенство системы, считал художник, заключается в том, «что всякая единица, получая свободное движение [...], все-таки не может выйти за пределы системы».<sup>10</sup> Но система Малевича – механическая, тогда как библейская гармония предполагает сотрудничество Творца и творения – свободной воли человека. Даже в примере с паровозом, который приводит художник, рисуя грехопадение, Адам пассивен, лишен воли и свободы выбора. Он жертва несчастного случая, механического сбоя. Малевич пишет: «Бог, чувствуя в себе вес, расплыл его в системе, и вес стал легким и обезвесил его и поставил человека в безвесной системе, и человек, не чувствуя его, жил подобно машинисту, не чувствующему вес своего паровоза в движении, но стоит ему вынуть часть из системы, вес ее ляжет и задушит его. Так Адам преступил за пределы системы, и вес его обрушился на него. И потому все человечество трудится в поте и страданиях, что освобождается из-под веса разрушенной системы, стремится вес распределить в [...] системы



*К. Малевич. Голова. Октябрь 1930 г*

безвесия. И так каждая система – новая попытка, новая кровь освобождения».<sup>11</sup>

Но Творец не хотел принудительного, без любви, послушания, безвыходной обреченности. У первых людей была свобода выбора пути – к добру или ко злу.

И вот, исправляя мнимую ошибку, Малевич строит своего рода «супрематическую вселенную», в которой ни один элемент не может вырваться из системы. Возникает безблагодатная гармония, где все до последнего вздоха предопределено создателем этой вселенной.

Начиная с 1914 года Малевич развивает грандиозную картину супре-матического мира, который постепенно захватывает все сферы действительности. Сначала это были беспредметные картины, затем супрематизм выходит в объем: художник создает архитектоны – прообраз архитектуры будущего, «планы для землянитов» покидают Землю, супрематические спутники вторгаются в космическое пространство. Предметный мир, окружающий человека, перестраивается на новой основе, супрематический дизайн пронизывает все области человеческой деятельности: полиграфию, прикладное творчество, одежду. Остается только заселить этот строгий, сверкающий чистыми красками мир. И вот здесь происходит, вероятно, непредвиденное.

Этот мир Малевич «заселил» крестьянами, явно ведущими свою родословную от иконных образов. Та степень обобщения, которую мы видим в крестьянах Малевича 20-30-х годов, не требует лица. Это белые или цветные овалы. Лицо как бы избыточная деталь, которая разрушила бы пластическое совершенство образа. Но причина, по которой отсутствуют лица, коренится не в пластике. Саму пластику определяет здесь философски-мировоззренческая позиция, религиозно-нравственный принцип.

Хотя крестьянские образы Малевича опираются на традицию русской иконы, но есть в этих явлениях существенное различие. Иконописец воссоздает не лицо, а лик – просветленное, сущностное изображение лица человека. Онтологическая свобода, свойственная человеку, сохранила ему в иконе лик и индивидуальность.

В жестко детерминированном мире Малевича не может быть грехопадения, так как ни один элемент, в том числе и человек, не может вырваться за пределы системы; но нет и свободы воли, без чего нет личности, индивидуальности.

За совершенство, в основании которого не заложена идея свободы, приходится расплачиваться.

Малевич понял это очень быстро, богоборческая стезя обрывается в начале двадцатых годов. Исчезают самонадеянные попытки улучшить мир без Бога, тем более против Бога.

Проппадают черты самообожествления, человеко-божия. Художник

сознает несопоставимость двух начал – Творца и творения, Бога и человека. Он пишет: «Религиозный духовный путь человека собирается только достигнуть неба, быть с Богом, но совсем не собирается воплотиться в Него. Помирился человек с мыслью, что высоты, в которой существует Бог, не достигнуть, мало того, он даже не смеет думать об этом. [...] Никто не достигает этой границы, ни религиозный путь духовный, ни материальный, какие бы системы ни изобретали и как бы ни верили».<sup>12</sup>

С 1920-х годов усиливается интерес художника к религиозным вопросам, растет тяготение к евангельским мотивам в творчестве. Христианская символика, прежде всего крест, пронизывает многие его рисунки и картины. В конце 1920-х годов Малевич создает своеобразную супрематизированную икону «Божия Матерь с Младенцем», впервые воспроизводимую в журнале [Мѣра]. Этот образ лежит в русле католической традиции, близкой художнику с детства. Он продолжает писать крестьян с белыми лицами, совершая над ними своеобразный обряд крещения. Он еще духовно растерян, но новые творческие импульсы позволяют думать, что художник трудно и

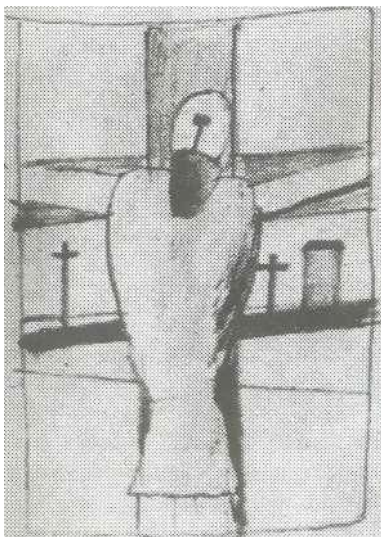


К. Малевич. Голгофа. Октябрь 1911 г. Собр. Людвиг. Кёльн.

мучительно пробивался на путь, ведущий к Ценностям христианства. В Пушкинском Доме я обнаружил стихи Велимира Хлебникова, которые, как я думаю, были истоком многих крестьянских холстов Малевича, подтверждающих наметившийся путь.

Стихотворение «Святче Божий»<sup>13</sup> написано было в Санталово в 1922 году, перед смертью поэта. Вскоре после кончины поэта Малевичу передали список этого стихотворения с припиской на полях: «Передайте К. С. последнее перед смертью написанное в деревне у Митурича стихотворение В. Хлебникова. Это понять может только Казимир Северинович». Почерк писавшего установить пока не удалось. Стихи были переданы Малевичу: на листе есть пометка: «Поступило от К. С. Малевича в ГИИИ». В 1936 году рукопись была передана в архив Пушкинского Дома. Вот эти стихи:

Святче Божий!  
 Старец бородой сед!  
 Ты скажи, кто ты?  
 Человек ли еси  
 Ли бес?  
 И что имя тебе?  
 И холмы отвечали:  
 Человек ли еси  
 Ли бес?  
 И что имя тебе?  
 Молчал  
 Только нес он б е л у ю к н и г у \*  
 Перед собой  
 И отражался в с и н е й в о д е .  
 И стояла на ней г л а г о л и ц а   с т а р а я  
 И ветер волнуя бороду,  
 Мешал идти  
 И несть книгу.  
 А стояло в ней:  
 «Бойтесь трех ног у коня,  
 Бойтесь трех ног у людей».  
 Старче Божий!  
 Зачем идешь?  
 И холмы отвечали:



*К. Малевич. Распятие. Октябрь 1930 г.*



Зачем идешь?  
И какого ты роду племени,  
И откуда ты?  
Я оттуда, где двое тянут соху  
А третий сохою пашет.  
Только т р и м у ж и к а в ч е р н о м п о л е  
Да тьма воронов.  
Вот пастух с бичом,  
В узлах чертики  
От дождя спрятались.  
Загонять коров помогать ему они будут.

[– Разрядка везде моя. – Е. К.]

Это последнее стихотворение во многом загадочно. Оно выпадает из всего, что прежде писал Хлебников. И лексически («старче Божий», «святче Божий»), и образно оно перекликается с поэтикой древнерусских сказаний об отшельниках и пустынножителях. В нем зазвучали ноты, которые раньше не были слышны в стихах Хлебникова. Здесь уже нет ни калмыцких степей, ни Персии, ни загадочной страны, где проповедовал Зангези. Кажется, что поэт вернулся на свою историческую родину, и его стихотворение глубокими корнями уходит в русскую древность, можно сказать и точнее, – в новгородскую.

Очень важное для этой темы указание сделал хлебниковед Р. В. Дуганов. Я благодарю его за возможность воспользоваться сообщенными им сведениями. Дуганов отметил источник, который отразился в стихотворении Хлебникова. Это «Повесть о житии Михаила Клопского», памятник новгородской литературы 70-х годов XV века, содержащий местные предания о юродивом Михаиле, жившем в Клопском Троицком монастыре под Новгородом в 10-х – 50-х годах XV века. Как показал В. Л. Янин, Михаил был сыном Д. М. Волынского-Боброка, воеводы, решившего исход Куликовской битвы, и Анны Ивановны, дочери великого князя Ивана Красного, сестры Дмитрия Донского.

Я приведу отрывок из жития, озаглавленный «Прихождение Михайлове Чюдо 1-е, иже уродивого Христа ради, еже есть на Клопско на Веряжи»: [...] «Чюдо I. А пришел канун честнаго рожества Иоанна в ночь. И поп Макарий, покадив церковь на 9-й песни, да пошел в келью, ажь келья отомчена. Воиде в келью, ажь старец съдит на стуле, а пред ним свеща горит, а пише съдя «Дѣянїя», святаго апостола Павла и плавание. И поп, уполошився, да пошел въ церковь да сказаль Феодосію игумену и чернцам. [...] И Феодосій молви ему: «Кто еси ты, человек ли или бес? Что тебѣ имя?» И он отвѣщает тѣ же рѣчи: «Человек ли еси или бѣс? Что тебѣ имя?» И Феодосій спросить его второе и третье. А он против 3-жды тѣ же рѣчи отвѣщаѣтъ. И повелель Феодосій игумен у сѣнецъ верхъ содрати, и у кѣлий двери выломити. И

вшедь в кѣлю игумень да печаль по кѣльи темъаном кадити да и старца кадить учяль. И онъ от темьяна закрывается, а крестом знаменается. И игумень еще въспроси его Феодосий: «Как еси к нам пришол? Откуда еси? Что еси за человек? Как ти имя твое?» И старец ему отвѣща тѣ же рѣчи: «Как еси к нам пришол? Откуда еси? Что твое имя?» И не могли ся у него допытати ту имени. И Феодосий мльви старцам таково слово: «Не бойтеся, старци, богъ нам послалъ сего старца».<sup>14</sup>

Деревня Санталово, где умирал Хлебников, расположена примерно в пятидесяти километрах от Клопского монастыря, в котором подвизался старец Михаил. В памяти поэта, оказавшегося на новгородской земле, всплыли строчки из жития Михаила Клопского, которые рефреном повторяются в стихотворении:

«Человек ли еси  
Ли бес.  
И что имя тебе?»

Старец Хлебникова, как и в житии, тоже с книгой и так же немотствует на задаваемые ему вопросы. Как и Малевич, опиравшийся в творчестве на иконную традицию, поэт обращался к литературным образам Древней Руси.

Но есть в этом стихотворении и строки, остро соприкасающиеся с действительностью. П. В. Митурич увез Хлебникова в деревню, спасая от голода, но и здесь встретился с голодом и нищетой. В больнице села Крестцы, куда попал Хлебников, не было ни медикаментов, ни пропитания. И. Н. Пунина на хлебниковской конференции в музее истории Ленинграда прочла отчаянное письмо Митурича с просьбой о помощи больному поэту. Поэтому строки из стихотворения:

«Я оттуда где двое тянут соху  
А третий сохою пашет»,—

нельзя воспринимать только как фольклорную загадку или литературный образ – это реальная картина, которую поэт мог наблюдать весной 1922 года.

Последнее стихотворение Хлебникова удивительным образом связано с поздними холстами Малевича, с его крестьянским циклом. В нем тоже проходит крестьянская тема. «Три мужика в поле» – это композиция, которая не раз встречается у художника.

Особенно много совпадений с одной из последних и малоизвестных картин этого цикла – «Бегущий крестьянин». Она написана в 1933-1934 годах и сейчас хранится в Париже в Центре им. Помпиду.



*К. Малевич. Молящая крестьянка. 1933 г. Собр. Людвиг. Кёльн.*

Картина «звучит» в том же тревожном ключе, что и стихи поэта. Она столь же загадочна. Здесь и «старец бородой сед», и крест, подобный «глаголице старой». У Хлебникова просматривается даже палитра Малевича: белая книга синяя вода, черное поле. Эти три цвета – живописные доминанты всего крестьянского цикла художника.

Последние стихи Хлебникова воспринимаются как творческая программа, опрокинутая в будущее Малевича. Они, по-видимому, произвели сильное впечатление на художника. Он увидел в них «свое», близкое. Их образы, эмоциональный тонус, нравственно-философские аспекты оказались близки художнику, проделавшему духовный путь, родственной тому, что выпал на долю поэта. Малевич не иллюстрирует Хлебникова, а «продолжает» его. Последнее стихотворение поэта можно определить как первую «картину» крестьянского цикла Малевича.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Мансуров Павел Андреевич (1896-1983) – художник, вместе с Малевичем, Татлиным и Луниным руководивший ленинградским ГИНХУК'ом (1923-1926). В 1928 году уехал за границу.

<sup>2</sup> Доклад был прочитан в Музее художественной культуры в июне 1922 года. См. «Жизнь искусства», 1922, № 24.

<sup>3</sup> К. Малевич. Бог не скинут. Искусство. Церковь. Фабрика. Витебск, 1922.

<sup>4</sup> Н. Н. Пунин. Квартира № 5. 1930-е гг. Глава из частично изданных мемуаров. Архив семьи Н. Н. Пунина. СПб.

<sup>5</sup> Малевич ошибся: Татлин был в Париже в 1914 году. Победа

<sup>6</sup> В декабре 1913 года «Союз молодежи» поставил в СПб футуристическую оперу «Победа над Солнцем»: музыка М. В. Матюшина, либретто А. Е. Крученых, пролог В. В. Хлебникова, декорации К. С. Малевича. Малевич не раз отмечал важную роль стихотворной зауми Крученых и постановки оперы в возникновении беспредметности супрематизма.

<sup>7</sup> К. Малевич. Всем, всем, всем, и друзьям, знакомым и родственникам Н. Радлова. 1923. РО ИРЛИ, ф. 172, ед. хр. 595, л. 4.

<sup>8</sup> К. Малевич. Бог не скинут. С. 3.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же. С. 4.

<sup>11</sup> Там же. С. 15.

<sup>12</sup> Там же. С. 24.

<sup>13</sup> Впервые опубликовано в сб. В. Хлебникова «Стихи». М., 1924.

<sup>14</sup> Памятники литературы древней Руси, вторая половина XV века. М., 1982. С. 335 – 336.

**Письма К. С. Малевича к М. В. Матюшину**

## 1

12 апреля 1916 года

Дорогой Михаил Васильевич.<sup>1</sup>

Все больше и больше ознакомляюсь с музыкой Рославца,<sup>2</sup> и на днях пошлю Вам его прелюд, обратите внимание на середину особенно. Это дорогая жемчужина. Но края, я бы сказал, нечто вроде рамы, которые мало ценны. Средина, по-моему, очень хороша. Я очень жалею, что он, безусловно громадный русский композитор, увлекается ничтожными словечками «стишечков» и пишет романсы. Это ужасные рамы, гадкие, оскверняющие его жемчужины. Блестящее построение усаживается словечками. Дай Бог, чтобы никогда не пел никто его работ.

В «Прелюде» играйте середину. Вы услышите лязг сильный, это сама музыка. Но концы – это уж не то.

Я заметил, что внутренний слух выше уха, внутренний звук выше звука инструмента.

Рославец скорее пишет по внутреннему голосу-звуку.

О да, ухо наше занавожено и нужно новое. Опять за Вас. Собирайтесь скорее в точку. Набирайте в себя больше густоты звука. Напиться как паук звуком, чтобы выпустить громадные пласти.

О, дальше, дальше, гуще и скорее, пока не зависла тяжесть меча.

Вы и Рославец, простите оба мне, но у Вас разбитая или скорее рассыпа[нная] жемчужина, а у него собрана одна целая. Но у Вас рассыпаны одни жемчуж[ины], а у него жемчуг обрамлен ничтожной рамой.

Простите, но я так чувствую и как фанатик, глотающий пустыню, требую музыки пустыни. Пустыни красок. Пустыни слова. Это все может родить то, что по ошибке должно быть театром. Вот что быть должно на сцене, на подмостках – игра этих чудных пустынь музыки, слова, краски. И надо посмотреть их философию, их мысль. Скучно же [неразб.] рожи ломайте. Дадим же тому, что скорее приведет, может быть, разум наш к высшей культуре и кончится африканское царство дикарей самоедения. Ну это в сторону.

Сейчас получил Ваше письмо. Два слова могу сказать – «делайте скорее», я готов каждую секунду идти и делать подмостки «задним», которые смогут пройти по ним к пустыне. Так идем же к новому престолу пустыни, которую охраняют стражи мрака.

Мы не будем бояться толкнуть испачканные старые скрижали в сторону, и показать пустыню, ее до сих пор заставляли разными скрижалями пророки, боясь показать пустоту.

Я же не буду бояться и зову Вас идти ближе, дабы не потеряться в тумане.

Здесь в пустыне свободно и здесь то, что [нужно] постигнуть раз навсегда. И там тот новый человек, тот, которого ищут Успенские<sup>3</sup> и другие.

Но узнают ли его? Давайте кричать и давайте поведем в пустыню молодежь. О, как жаль мне ее, и проклиная тех авторитетов, которые старым ликом своим пачкают молодые, здоровые, прекрасные лица, пачкают то, что может идти быстро к новому престолу. О как страшны эти молодые, но уже старики.

Зовите к страшному суду старую культуру и пророков. «Supremus» есть суд.

Прощайте. Целую Вас. Ваш Казимир Малевич.  
12 апре[ля] 1916 г.

PS. Скажите Эттингеру,<sup>4</sup> что ждет, но скорее[e].  
Переговоры поручил Вам. Билеты II кл. [неразб.] чуть подох [неразб.]

## 2

23 июня 1916 г

Дорогой и милый Михаил Васильевич.<sup>5</sup>

Опять темные тучи надвигаются на мое окно, но я напрягаю все усилия, чтобы при свете глаз своих работать над нашей общей задачей. Мне не делается мрачно от того, что пойду на войну, что придется удобрить квадратный аршин земли. Больше омрачает то, что конца не предвидится скоро и каков будет мир, и сколько нужно будет лет, чтобы увидеть опять ту жизнь, которая была на полях искусства до войны.

Лето пройдет и настанет осень, и я должен оставить свой труд и готовиться учиться убивать. Я уже теперь начинаю волноваться о моих работах, куда и что и как распорядиться ими. Хочется избавить их от лежания на великом чердаке. Но не знаю еще, что придумать.

Война прошла уже давно, теперь ужас, кошмар впился в бодрый разум. То, что делается теперь, не похоже на войну. Это бешенство мозга человеческого. Мозг зрывает сам себя из мяса черепа, убегает в землю, обезумев.

Когда исчерпается весь возраст, не будет фона старого для молодых ростков разума, он будет невидим расти. Но кто из нас останется, чтобы снять с чердака то молодое наше теперь и покажет молодому росту? Кто оставит книгу новых законов наших таблиц? Видите, книги еще нет у нас. А она нужна, необходима. Книга – это маленькая история нашего искусства. Новое Евангелие в искусстве. Книга – сумма наших дней, ключ, затворивший наши мысли в нас.

Подобно Христу, заключившему себя в эту книгу тысячелетий, без этой книги заперты бы были ворота к небу.

Но мы отпираем другое, мы раскроем на земле то, что не раскроется в небе, Христос раскрыл на земле небо, создав конец пространству, установил два предела, два полюса, где бы они ни были – в себе или «там». Мы же пойдем мимо тысячи полюсов, как проходим по миллиардам песчинок на берегу моря, реки. Пространство больше неба, сильнее, могучее, и наша новая книга – учение о пространстве пустыни.

В августе поеду к Вам увидаться. Пришлите, пожалуйста, 2 экземпляра «Очарованного» стр[анника]» с Вашей статьей. Очень нужно. И потом, что Вы пишете о 4-м измерении? Я Вам послал на днях письмо. Получили ли Вы его?

Кунцево. Алек[сандровская] ж[елезная] д[орога]. Дача Баринг, № 7.

Любящий Вас Казимир.  
23.6.1916 г.

### 3

12 ноября 1916 г.

Дорогой Михаил Васильевич.<sup>6</sup>

Получил от Вас письмо, очень рад. Такая скука. Право, не знаю, смогу ли выдержать. Нервная штука начинает сказыв[аться]. Креплюсь и надеждою питаюсь. «Пишите новую идею», хорошо бы, да надо с этой справиться. Открылась выставка в Москве, все говорят – не серьезно. Но они сами не серьезны. Я работаю дальше, кажется, что-то новое о происхождении цвета выясняется. Кажется, те источники – Солнце и лучи – потерпе[ли] крушение. А как Вы думаете насчет пространства? Толстая ли толща его, не ожидают ли сюрпризы?

О, сознание! Какая хорошая вещь, что только нельзя с ним сделать. Вот уж прибор, разворачивает без устали. Главное, разворачивает НИЧТО. Ох, какие ожидают чудеса нас, как бы их предупредить.

Я думаю, проникаю [к] совсем новому выводу о живописи как цвете. Но это пока силуэт. Все после.

Ваше письмо говорит, что в душе Вашей много беспокойства, должно быть много плохого налезло. Уши надо ватой заткнуть.

Но я Вам написал и писать не буду.

О добросовестности ко мне моих друзей. О, что было, когда открылась выставка. Как все хотели пахать.

Как люблю я искусство и как больно мне, как оскорбляют его.

Лучше бы распяли на кресте меня, чем оскорблять его.

Лучше уши гвоздями забить. Но будет время, когда с Голгофы сойдет оно к малым детям.

В журнал присылайте Вы статьи, что хотите. Или в Москву или ко мне письмами!

Прощайте. Любящий Вас Казимир.

Привет постучите соседям. Что не пишет панна Ольга?<sup>8</sup>

## П. В. Митурич. Дневник 1922 года.<sup>9</sup>

14. V. Отбыли из Москвы в деревню. В полночь заняли место в товарном вагоне, сами принесли доски из соседнего вагона и строили нары. Дождь. Холодно. Велимир ёжился в своём тулупе и дремал, полулёжа на нарах. Раздражали его вновь приходящие пассажиры, требовавшие себе места, неохотно уступал напору.

Всё время идёт дождь.

15. V. Прибыли на ст. Борвенку Н. Ж. Д. в 4 часа.

За 8 аршин сагина наняли подводу в Тимофеево.

Велимир почти весь путь до второй деревни ехал. Делали привал и ночевали.

Дорога весьма трудная, испортившаяся от продолжительного дождя.

16. V. Продолжали путь. Велимир много шел пешком, т. к. лошадь едва тащила наши пожитки.

Днем прибыли в Тимофеево к Федору Салынскому, где отдыхали. Там встретился Канаев И. М. Короткая беседа о времени. В. В. чувствовал себя веселее. Солнце. Свежий ветер.

Наняли новую подводу до Санталова. Велимир почти половину пути ехал на двуколке на вешах, сам правя, но неудачно. Очень часто наезжал на камни и попадал в ямы, так что, наконец, упал с двуколки. Пришлось взять вожжи мне и все время поддерживать двуколку в опасные моменты.

К вечеру прибыли в Санталово. Весь путь в 37 верст от Борвенки очень труден.

16. V. Знакомство с обитателями школы.<sup>10</sup>

Переодеваемся, отдыхаем, едим, устраиваем Хлебникову комнату. В. В. вечером трясло и знобило. Принимал хину.

День солнечный. Прохладный.

17. V. В. В. был в лесу с Васей, собирал грибы, клюкву в болоте и муравьев в бутылку. Работал.

Озноба не было.

День солнечный.

Раскладывал свои рукописи на лежанке и приводил их в порядок. Ненужное бросал в печку: «Я уничтожаю черновые варианты».

Воспоминания Васи 8-ми лет (он говорил на деревенском диалекте): «Один раз к нам приехал Хлебников. Вот мы пошли гулять в лес, так за сморчками. Тогда была еще весна. Вот мы идем к озерку за сморчками. Я иду вперед, а он сзади. Я иду, вбок не гляжу. Вот идем, идем, а Хлебников и говорит: «Разве ты парнишка, что не видишь грибы?» Я обернулся назад, а там в ломеце сморчки. Я взял и сорвал, положил в свою шапку. Потом я стал по бокам глядеть. Потом мы пошли в другое болото. Там на горочке солнце припекало. Хлебников взял и рубашку снял, и штаны снял, а подштанники

оставил. Вот мы и стали искать сморчки, а Хлебников мне и говорит: «Ты иди на тот край, а я на этот». Вот я и пошел на тот край. Я шнырю – нету, хоть бы один нашел, вот я и побежал опять туда. А там-то их много. Я обрадовался да и давай рвать.»

18. У. Пил муравьиный спирт, который сам выжимал (с моей помощью). Выпил полстакана.

Лихорадка не возвращалась.

Работал у себя. День солнечный.

«Мы поедем на юг – там много птиц, будете наблюдать».

Мы лежали на траве, дети бегали обнаженные. О Маше: «ангельчик».



*П. В. Митурич. Деревня Санталово. 1922 г. Собр. ГРМ.*

19. V. Лихорадка не появлялась. Много работал. Гулял. Хорошо все дни ел.

Утром наблюдал танцы «дикарей» – детей, которые под стук деревянной палки о доску, подвешенную на шее, танцевали боевые танцы индейцев.

20. V. Заметная слабость в ногах. Непрочно на них держался. Пил черничный отвар.

22. V. Велимир держится на ногах еще хуже. Работал за столом.

22. V. Слабость в ногах еще сильнее. Боли нет. На предложение лечь в постель отказался.

После обеда пошли на речку. Тепло, солнечно. Велимир шел, опираясь на мои плечи. Сел на берегу на овчину. Я ему изготовил удочку («удочка прекрасная»), накопал червей. Велимир увлекся удачным ловом и считал пойманных рыб (56 штук). Ловил выдержанно и ловко.



Перестало ловиться, решил перейти на другой омут. Я ему сделал палку для опоры. С ее помощью он прошел по крутому косогору.

На мои вопросы, что он сам думает о своем здоровье, ничего определенного не ответил.

Машка заметила: «Хлебик больная».

24 *И.* После обеда вместе с Фопкой<sup>11</sup> носили его на руках в баню. Парил его горячо. После бани крепко заснул. Ночью спал.

25 *И.* Принял глауберовой соли – действия не оказала. За доктором послать не нашли подводу.

26 *И.* Ездил Иван Иванович Иванов в Крестцы за медиком. Врачи и фельдшер отказались ехать – не их участок.

Много спал, состояние апатичное, дремал. Просил согреть ноги. Клали бутылки с горячей водой, обернутые бельем.

Выразил желание побывать в Астрахани: «Повидать родных, что они делают».

27 *И.* По просьбе больного парили ноги в кадке с заваром сена.

Везти в больницу никто не соглашается (запоздалый сев мешает).

Ноги пухнут. Велимир пьет все больше. К вечеру чувствует себя очень плохо. Федор Васильев обещал завтра утром ехать в больницу.

На вопрос мой, сообщить ли родным о его болезни, ответил: «Родным хорошо сообщать о здоровье. А, кроме того, это очень далеко.»

28 *И.* Воскресенье. Солнечно.

Велимира одели, положили на сено на подводу. Медленно двигались в Крестцы.

Не хотели принимать в больницу – клинический больной, но после моего объяснения положили.

Осмотр отложили на завтра – больному нужен отдых после пути.

Велимир очень ослаб за дорогу. Спал.

Приходили женщины, милосердия ради подавали больным масло и яйца: Велимир с удовольствием принял дар.

29 *У.* Осмотр Велимира врачом (женщина-врач Бассон). Велимир рассказал, что он спал на земле, что у него лихорадка персидская. Врачиха предположила, что через неделю оправится от простуды, тогда можно будет начать курс лечения. Теперь нужно прочистить желудок.

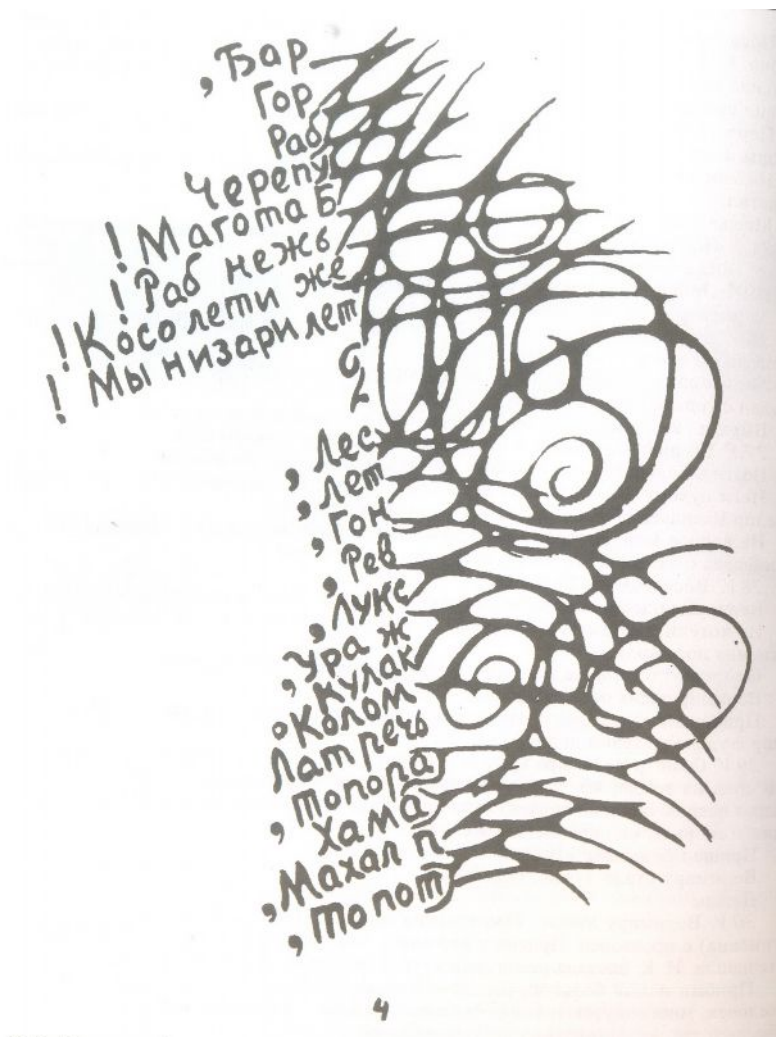
Пришел фельдшер Мухин.

Велимиру стало лучше. Он заснул.

Дождь.

30 *И.* Велимиру лучше. Температура спадает. Пришла Н. К. (Наталья Константиновна) с провизией. Просил у нее квасу и киселя. Н. К. искала в городе квас, но не нашла. Н. К. достала резиновый круг и положила на него Велимира.

Прибыл новый больной, ревматик-столяр, которого положили рядом. Веселый человек, много шутивший, неожиданно засыпающий и продолжающий бормотать в бреду и так же неожиданно просыпающийся.



П. В. Митурич. Страница из поэмы Велимира Хлебникова "Разин".  
1922–1923 гг.

31.У. Хлебникову лучше. Температура спадает.

Условились с сиделками и фельдшером Мухиным относительно ухода. Сиделкам обещали доставлять хлеб и, кроме того, плату; фельдшеру – плату, какую он назначит.

Мною решено сообщить о болезни Велимира в Москву и Питер, чтобы там позаботились о месте в клинике и собрали нужные средства на лечение, а через неделю уже двинуться самим.

Сообщить Маяковскому и Крученых Велимир отклонил. Городецкому тоже. Пунину, Андриевскому? – никому не надо.<sup>12</sup>

Я настаивал на том, чтобы сообщить Пунину и Андриевскому. «Пишите, но только чтобы требования были возможно скромнее».

«Сколько, вы полагаете, нужно денег?» – «150-200, если все платить». Просил его самого написать кому-либо с указанием на то, что я беспомощен.

Велимир написал записку знакомому врачу в Москву приблизительно такого содержания:

«Обращаюсь к Вам за медицинским советом. Я попал на дачу... прошел 40 верст, спал на земле и потом лишился ног. Меня положили в Коростецкую больницу. Желал бы лечиться в Москве, как это сделать?» Адрес он мне сказал.

Курил реже. Неохотно менял положение. Пил по-прежнему много. Ноги опухли еще больше. Лицо сильно осунулось.

Ушли в Санталово. Непрерывный дождь.

1. VI. Пишу письмо в Москву. Городецкому и Андриевскому и в Питер Пунину и вместе посылаю письмо Велимира доктору.

Продолжительный дождь.

2. VI. Навещал Хлебникова Фед. Вас, отвозя свояченицу в больницу.

4. VI. Отбыла Оля с письмами и Федосья.

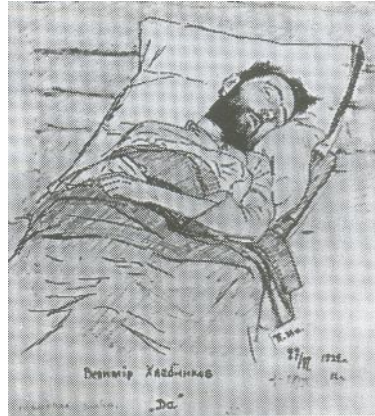
5. VI. Я в Крестцах. Здоровье Велимира ухудшилось. Температура 39,9. Большая перемена в выражении лица. Состояние душевное мрачное. Ест плохо. Пьет еще больше.

Меняли матрац. Велимира посадили на табурет. Он прочно сидел, держась обеими руками, и очень долго не хотел ложиться. «У меня еще много времени, мне некуда торопиться».

6. VI. Виктору Владимировичу еще хуже. Жар сильный. Пролежни. Сажал его на кровати, подставив за спину табурет. Каждое движение «неприятно». Велимир за все время болезни ни разу не сказал «больно» – говорил «неприятно».

7. VI. Санталово. Оля и Фопка вернулись со станции. Кассир не дал билетов по тем документам, которые у них были. Письмо послала только в Петербург Лунину. Московские оставила на станции вместе с вещами.

70-верстовым переходом натерла ноги. Готовлю новые письма в Москву.



П. В. Митурич. Умиравший Хлебников. Последнее слово «Да». 27.6.22. Собр. ГТГ.

8. VI. Прибыл милиционер арестовать меня по предписанию Уезда. Арест отменен.

9. VI. Здоровье Велимира очень плохо. Развивается гангрена. Состояние душевное беспокойное.

10. VI. Руками владеет хуже. Движения еще более затруднены. Приподнял повязку: «Гангрена».

Всякое движение настолько болезненно, что глаза у Виктора Владимировича вылезали из орбит, выражая ужас, но он не кричал и только дыханием произносил «ой, ой, ой».

«Я путаю бред с явью...»

Врач говорит, что дальше держать больного в больнице бесполезно. Сиделка и дворник отказываются хорошо, как это нужно, за ним ухаживать.

11. VI. Посланы провизия и питье Велимиру с Федором Васильевичем. Велимир просил крестьянина везти его в Москву и на Кавказ. «Жалко беднягу, на чужой стороне умирать приходится».

12. VI. Хлебников переведен в отдельную палату с отдельным входом.

13. VI. Навещала дочь О. К., приносила еду и цветов.

15. VI. Рана на бедре глубокая.

«Больше я никогда не поеду на север...»

16. VI. Душевное состояние спокойное.

«Врач только появляется на пороге и удаляется...»

Указывая на пятна штуртки: «Прекрасные рисунки... крыса – Городецкий, петух...» «Я поеду в Санталово, там будет любовный уход...» «Положить меня нужно в бане на две скрещенные доски».

20. VI. Письмо и квитанция от Пунина.

22. VI. Я сказал, что завтра приедет Федор Вас. и свезет его в Санталово.

Ел очень мало. Язык черный, вздух.

23. VI. Приехала подвода. Я обмыл раны чистой водой и тряпкой. Одели рубашку, жилет, пиджак, шапку, положили на стол и стали заворачивать ноги. Завернули в одеяло и понесли на носилках. Палки носилок привязали крепко веревкой к кузову подводы, под голову положили подушку, накрыли его тулупчиком и тихо двинулись в путь. Ехали медленно и осторожно.

При каждом толчке Велимир тихо стонал. Изредка открывал лицо и из-под тулупа шурясь озирался.

К вечеру прибыли в Санталово. Вся деревня сбежалась смотреть. Многолюдный говор тревожил Велимира.

Я пригласил молодцов помочь осторожно снять Хлебникова и перенести в баню, где мною было сколочено ложе из 11 поперечных досок и двух продольных, а женщинами приготовлены два матраца. На окне стоял желтый жувшин с цветами.

24. VI. Пил рано утром молоко. Очень ослабел, но пил из чайника сам.

Я получил от Пунина письмо, катетер, лекарства и показываю: «Что пишет?» – Пишет, что в Петербурге весь литературный мир относится сочувственно, есть деньги на лечение и место в больнице. «Значит, можно ехать!»

25. VI. Вася принес васильки и поставил отдельно рядом с букетом. «В цветах вижу знакомые лица...» «Я знал, что у меня выдержит дольше всего голова и сердце...»

Ночью прилетела ворона и стучала в окно. Я отогнал ее.

26. VI. Опухоль шеи. Речь непонятная. Левая рука перестала двигаться, правая непрерывно трепетала.

27. VI. Утром на вопрос Федосьи, трудно ли ему? – ответил: «Да». Сделал глоток воды и вскоре потерял сознание. На зов мой не отвечал и на касание не реагировал никак. Напряжение в дыхании заметно ослабевало. Правая рука трепетала, делал портрет.

28. VI. Велимир ушел с земли в 9 часов 28 июня 1922 года в деревне Санталово Новгородской губернии Крестецкого уезда.

Обнажили Велимира обмыть, посадили на ложе. Федосья мыла: «Ну, ты, не пугай меня ночами!..»

Одели и понесли в школу.

Сделал портрет с мертвого...

29. VI. Похоронили Велимира на погосте в Ручьях в левом углу кладбища у самой ограды параллельно задней стене между елью и сосной. Отвозил Федор Васильев.

Дождь шел.

#### Примечания

<sup>1</sup> Письмо хранится в РО ИРЛИ, ф. 656.

<sup>2</sup> Роставец Николай Андреевич (1881–1944) — композитор-авангардист, друг Малевича.

<sup>3</sup> Успенский Петр Демьянович (1878–1947) — философ, теософ, последователь Г. И. Гурджиева. Разрабатывал идею четвертого измерения пространства. Оказал влияние на мировоззрение русских кубофутуристов. С 1913 году руководил издательством «Новый человек».

<sup>4</sup> Эттингер Павел Давыдович (1866–1948) — московский художественный критик. Был связан с попыткой Малевича поставить беспредметный театральный спектакль, осуществить которую, однако, не удалось.

<sup>5</sup> Опубл.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976.

<sup>6</sup> Письмо хранится в РО ИРЛИ. Ф. 656.

<sup>7</sup> Речь идет о «Последней футуристической выставке картин О,10», на которой Малевич впервые показал свой супрематизм.

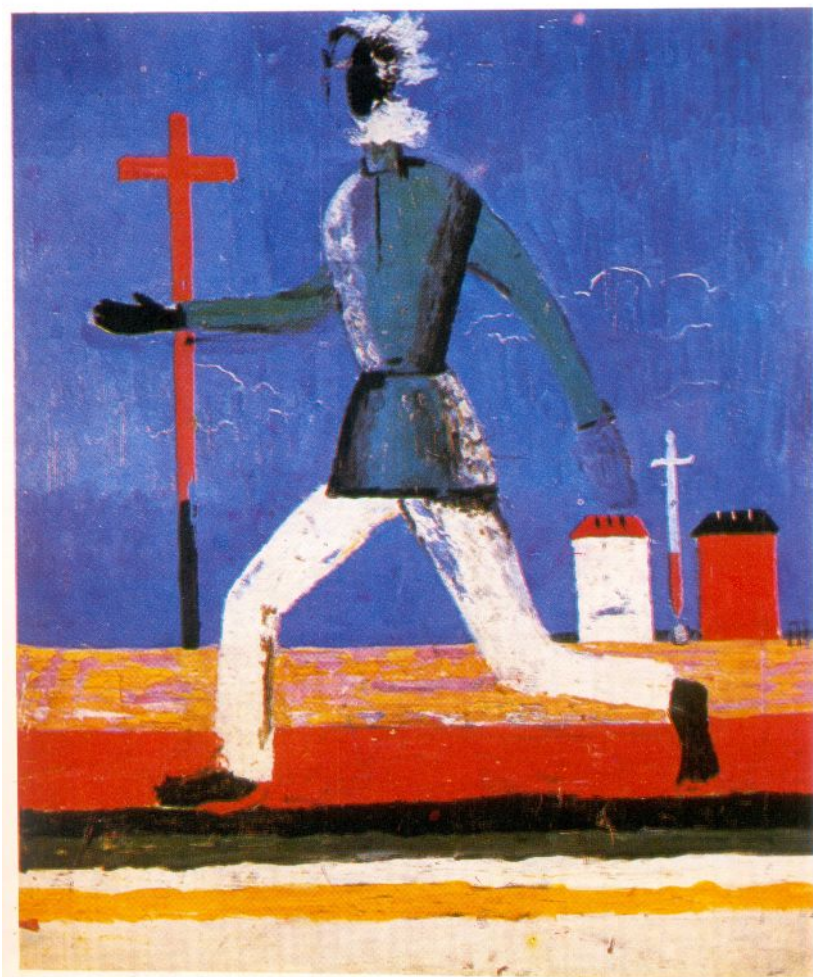
<sup>8</sup> Громова Ольга Константиновна (1885–1975) — впоследствии третья жена Матюшина. Писательница, мемуаристка.

<sup>9</sup> Дневниковые записи публикуются по оригиналу, хранящемуся у сына художника М. П. Митурича-Хлебникова. (Москва). П. В. Митурич впервые встретился с Хлебниковым в 1915 году. В 1918–1922 гг. работал над объемными конструкциями «пространственной графики», иллюстрировал поэмы Хлебникова.

<sup>10</sup> В Санталовской школе учительствовала первая жена Митурича Наталья Константиновна Звенигородская. При ней жили сын Василий (род. 1914) и дочь Мария (род. 1920).

<sup>11</sup> Федосья — нянька в доме Н. К. Звенигородской.

<sup>12</sup> Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1968) — поэт, близкий кругу футуристов. Андреевский А. И. — редактор хлебниковских «Досок судьбы».



Бегущий человек (крестьянин) (1932 – 1934)



Герман Николаевич Ионин

**ПОЭМА С ГЕРОЕМ И БЕЗ НЕГО**

(Еще раз: Ахматова и Маяковский)



Есть произведения особого рада. Лирическая трилогия А. Блока, «Персидские мотивы» С. Есенина, «Человек» и «Про это» В. Маяковского, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Василий Теркин» А. Твардовского, «Глаза земли» М. Пришвина, библейские стихи Б. Пастернака (из «Доктора Живаго»), «Железная мистерия» Д. Андреева, «Приглашение на казнь» В. Набокова, «Жизнь Арсеньева» И. Бунина, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Пирамида» Л. Леонова... Они образуют горный рельеф мировых достижений русской литературы XX в. В число таких шедевров (его можно дополнить!) входит «Поэма без героя» А. Ахматовой. Вершины перекликаются друг с другом на особом языке, ключ к которому еще не найден. И если мы его разгадаем, история русской классики ушедшего столетия обретет, быть может, новое измерение, освобождаясь от старых и новых стереотипов.

Уже в самой ранней редакции «Поэмы без героя» («1913 год, или Поэма без героя и решка», 1940–1942) вместе с «адской арлекинадой», явившейся автору, неожиданно оказывается вроде бы «не значащийся в списках» «наряженный верстой» «дылда». Он отделен от других и все же включен в круг призрачных гостей. Ему посвящена целая страница, в дальнейшем почти не претерпевшая изменений. Напомним ее:

Постой,  
 Ты как будто не значишься в списках,  
 В капуцинах, паяцах, лизисках, –  
*(поздний вариант:*  
*«В калиострах, магах, лизисках»)*  
 Полосатой наряжен верстой,  
 Размалеванный пестро и грубо –  
 Ты – ровесник Мамврийского дуба,  
 Вековой собеседник луны.  
 Не обманут притворные стоны:  
 Ты железные пишешь законы,  
 Хаммураби, ликурги, солоны  
 У тебя поучиться должны.  
 Существо это странного нрава,  
 Он не ждет, чтоб подагра и слава  
 Впопыхах усадили его  
 В юбилейные пышные кресла,  
 А несет по цветущему вереску,  
 По пустыням свое торжество.  
 И ни в чем не повинен: ни в этом,  
 Ни в другом, и ни в третьем Поэтам  
 Вообще не пристали грехи.  
 Проплясать пред Ковчегом Завета,  
 Или сгинуть... да что там! про это  
 Лучше их рассказали стихи.



В третьей строфе третьей расширенной редакции (1956) главы «Решка» мы впервые читаем авторское «разъяснение»: «Там их трое – Был один наряжен верстою, А другой как демон одет, Чтоб они столетьям достались, Их стихи за них постарались... Третий прожил лишь двадцать лет». В четвертой редакции (1963) внесена окончательная и чрезвычайно важная правка: «Главный был наряжен верстою...» Итак, не только первый из трех, но и ГЛАВНЫЙ... «Поэт вообще... Поэт с большой буквы и т. д.». «Что-то вроде молодого Маяковского» (из дневника, 17 декабря 1959). «Добриковский Маяковский...» (из либретто по «Поэме без героя»). «Верстовой Столб (один)», «Маяковский на мосту...» (Из прозы о поэме). И еще чрезвычайно важное признание: «Попытка заземлить ее (поэму. – Г. И.) <...> кончилась полной неудачей. Она категорически отказалась идти в предместья. Ни цыганки на заплеванной мостовой, ни паровика, идущего до Скорбящей <...> ни Горячего Поля, она не хочет ничего этого. Она не пошла на смертный мост с Маяковским, ни в пропахшие березовым веником пятикопеечные бани, ни в волшебные блоковские портерные, где на стенах корабли, а вокруг тайна и петербургский миф, – она упрямо осталась на своем роковом углу у дома, который построили в начале XIX в. братья Адамини, откуда видны окна Мраморного Дворца, а мимо под звуки барабана возвращаются в свои казармы курносые павловцы<...>» (там же). Если верить этим авторским расшифровкам и другим автокомментариям, то ряд из трех поэтов (Маяковский, Блок, Вс. Князев) действительно возглавляет некто с Большой буквы, вроде того, кто чуть позже создал «Человека», а после него, семь лет спустя, «Про это» – недаром дважды упомянут Ахматовой центральный, ключевой образ – Человек на мосту. Как же смотрятся герой «Про это» и его создатель в общем, глубинном контексте ахматовской поэмы, которая не пошла с Маяковским «на смертный мост»?

Да, Ахматова в полемике – не только с Маяковским, но и с Блоком, и с Кузминым... Все они, однако, входят в ее мир, без них нет для нее ни 13 года, ни XX в. Тогда, в 13-м году, на пороге Первой мировой войны, готовился первый удар возмездия за грех «адской арлекинады», в котором столько участников... А в 40-м году, на пороге новой войны, ожидался второй сокрушительный удар карающей судьбы. И вот в кругу призраков умершей эпохи, за которую предназначалась расплата, явился «Главный»... Призрачная гофманиана безмолвствует... Говорит только Анна Ахматова. Но она потому и говорит, что взяла на себя всю тяжесть вины, своей и чужой. Она молчит в ответ на то, что столетиям сказали стихи Маяковского, Блока и что могли бы сказать «векам истории и мирозданию» несозданные строки «третьего» – Всеволода Князева, прожившего всего лишь двадцать лет... (точнее – 22 года, ср. «красивый двадцатидвухлетний»). Он одна из жертв «серебряного века». Он же предварил уход из жизни того, кто назван «Главным».

Анна Ахматова, высоко ценившая раннего, не только «добриковского», Маяковского (он тоже один из голосов *той* эпохи), не могла не ценить, думается нам, и автора «Про это» (не случайны ссылки на поэму, приведенные выше, даже использование без кавычек самого ее названия в

«главе первой» («Поэмы без героя»). А ведь «Про это» уже повествует о «расплате», «возмездии», там сказано прямо: «Октябрь прогремел, карающий, судный...» Удивительно, насколько близки (почти совпадают!) главные метафорические сюжеты, ставшие канвой поэмы Ахматовой и всех трагических поэм Маяковского. Герой «Облака», «Флейты», «Войны и мира» и «Человека» любит безответной любовью, не участвуя в «обезлюбленном» «вавилонском» празднестве вседозволенности и греха. Он любит и кончает с собой от любви («Облако в штанах», «Человек», тема самоубийства в «Флейте-позвоночнике» и др.). Но это лишь «метафорическая» гибель – настоящая впереди. Маяковский о ней знает и неуклонно готовится к ней. «Октябрь» лишь на время отсрочил развязку. «Человек из-за семи лет» в «Про это» вызвал к себе своего автора («Когда ж, когда избавления срок?»), обзавел его вести человечество на «смертный мост»: «Жду, чтоб землей обезлюбленной вместе, чтоб всей, мировой человечьей гущей... Семь лет стою, буду и двести стоять, пригвожденный, этого ждущий... У лет на мосту, на презренье, на смех, земной любви искупителем значась, должен стоять, стою за всех, за всех расплачусь, за всех расплачусь...» Однако после «Про это» Маяковский, заземля метафору, прожил не двести, а столько же, сколько и до «Про это», – всего лишь семь лет (символика цифр!). В «Поэме без героя» почти тот же сюжет, только юный поэт, не став героем, «поэтом с большой буквы», ушел из жизни (по той же причине) раньше, а «векам истории и мирозданию» теперь за него говорит Ахматова, которая, видимо, уже не только метафорически, берет на себя чужую вину за смерть «глупого мальчика». Она же, спустя 17 лет и уже после самоубийства Маяковского, в «Поэме без героя» как бы «дописала» «Про это», провозгласив векам, чем обернулся для «стоимильного народа» «карающий, судный» «некалендарный» двадцатый век.

И у Ахматовой, и у Маяковского большой «метафорический» сюжет напрямую связан с жизнью и смертью реальных людей, даже определяет порою их реальную жизнь и смерть. Мы уже сказали, что Маяковский, кончая с собой, сам для себя стал Человеком из-за семи лет – «не так, для стиха, а буквально», т. е. спустя семь лет, после «Про это», ушел, «освободив выстрелом» своего героя-двойника. У Ахматовой *это же* получилось по-другому. Поэма выросла из реальной смерти, подняв до грандиозной метафоры ушедшие и современные реалии эпохи, истолкованные и еще не обнаруженные комментаторами. Впрочем, свое участие в карнавальной гофманиане 1913 г. сама она воспринимала как тот исторический грех, за который пришло ветхозаветное возмездие, постигшее многих, виновных и невиновных – Россия за «Вавилон» и дьявольский Броккен «серебряного века» расплатилась первой и второй мировыми войнами, революциями, гражданской войной, испытаниями 20-х, 30-х, 40-х и 50-х годов. И собственная жизнь автора и судьба близких, связанных с ним людей вошла в метафору. Расстрел Н. С. Гумилева, «молчание» (точнее – «изоляция») в 20-е и 30-е годы, арест сына в 35-м, 38-м, роковая встреча с И. Берлином, которую Ахматова – опять же «не так, для стиха, а буквально» – воспринимала как

главную причину начала «холодной войны», разгрома журналов «Звезда» и «Ленинград», шельмования, которому она сама подверглась в докладе Жданова, третьего ареста сына в 49-м году. Воистину ахматовская метафора не менее грандиозна, чем у Маяковского, и в такой же мере, как у него (если не больше!), определяет реальные людские судьбы и даже, по субъективному представлению автора, страшно поворачивает ход истории – так, что «смутился двадцатый век».

Мотив взятия вины на себя роднит обоих лириков. В поэме «Война и мир» заявлено прямо: «Я один виноват в растущем хрусте ломаемых жизнью»... А в «Про это» еще более пронзительно сказано: «...должен стоять, стою за всех. За всех расплачусь, за всех расплачусь...» И в этом «за всех расплачусь» Маяковский был главным, ибо Ахматова далеко не сразу, и в сущности лишь вслед за ним, вполне осознала и раскрыла трагическую тему расплаты. Православный монашеский мотив и раньше присутствовал в ее лирике, есть он – скрытно – и в поэмах «У самого моря», «Путем всея земли», но лишь «Поэма без героя» вполне дает почувствовать всю его глубину.

Конечно, мы подразумеваем не только неожиданную близость, но и очевидное различие главной метафоры у Ахматовой и у Маяковского. Он брал на себя страдание, не будучи виновным (по крайней мере, таким, ни в чем не виноватым он делает своего лирического героя). Она – в поэзии – решалась искупать чужие грехи, субъективно признавая свой грех. Впрочем, надо ли этот грех преувеличивать?.. Реальной, житейской, биографической основы за такой метафорой вроде бы и нет. Самоубийство Вс. Князева никакого прямого отношения к Ахматовой не имело, но оно очень уж напоминало другую смерть (М. Линдеберга), которую Ахматова уже не могла отделить от себя. Встреча с И. Берлином (по его же собственному признанию), конечно, не стала причиной «холодной войны». Но недаром Ахматова субъективно продолжала себя считать причастной к этому повороту в мировой политике. Метафора соединяла, преображала и учрезмеривала реалии, так что в сознании поэта метафорический сюжет сам как бы становился одной из таких реалий – как у Маяковского. О. Глебова-Судейкина – один из двойников автора, значит, надо было взять на себя тяжесть ее вины. У Маяковского в «Про это» тоже много двойников, один из них даже затерялся в толпе мещан («себе навстречу сам иду с подарками подмышками», «в одном узнал, близ-самого сам я»), но это лишь попутные образы, перекрытые главным – Человеком из-за семи лет, который не знает за собой никакого греха, кроме «немыслимой любви». Лирический герой Ахматовой тоже в итоге противостоит всем, но только потому, что, признав за собой вину, реальную или метафорически преувеличенную, один, в отличие от других масок и персонажей поэмы, берет на себя страдание за себя и за всех. Здесь налицо разница человеческих типов двух поэтов, но, кажется, здесь же и новое слово Ахматовой после Маяковского.

На смертном мосту Человек, если сказать словами Ахматовой, «ни в чем не повинен: ни в этом, Ни в другом и ни в третьем... Поэтам Вообще не пристали грехи». Здесь намеренно допущена двусмысленность, подчеркнутая

даже графически (орфографически): слово «Вообще», начинающее стихотворную строку, пишется с большой буквы и может быть соединено со словом «Поэт», тоже написанным с большой, ибо оно начинает фразу – значит, оба слова сливаются в один образ «Поэт Вообще» или «Поэт, с большой буквы» («что-то вроде Маяковского»). Во всяком случае так можно прочитать, и тогда мысль Ахматовой проясняется – грехи не присущи «Поэту вообще», то есть – такому, как Маяковский, но не такому, как Ахматова. Разница здесь принципиальна. Тем более, что она еще больше выявляет сродство и углубляет разговор двух поэм – с героем и без героя.

Вообще «Поэма без героя» – весьма условное название. В ней (что уже замечено комментаторами) незримо присутствует, вернее «основополагающе» отсутствует «герой» – Н. С. Гумилев. По словам А. Ахматовой, он упомянут уже в заглавии, где прямо сказано о его отсутствии (потому и «без героя»), но «многое» на этом «отсутствии» «основано». Что же именно? Например, стихи в скобках, обращенные к В. Князеву: «(Сколько гибелей шло к поэту, Глупый мальчик, он выбрал эту. – Первых он не стерпел обид, Он не знал, на каком пороге Он стоит и какой дороги Перед ним откроется вид... »). Здесь все о Гумилеве, не названном прямо, ибо даже в тексте этой поэмы, его, по словам Ахматовой, «каждо искала сталинская охранка». Расстрел «героя» и самоубийство «главного» – вот две из многих возможных «гибелей», которые после «карающего и судного» Октября «шли к поэту» и о которых так и не узнал «глупый мальчик». Ему предстояла, может быть, либо та, либо эта, либо постигшая Ахматову «гражданская смерть». Тогда он и стал бы героем. Но смерть – это еще не самый страшный исход.

Куда страшнее – присуждение к жизни, призванной осознать трагедию и почтить гибель героя даже вопреки непрекращаемому запрету, наложенному земной властью. Такую жизнь и предписала Ахматовой судьба. И вот здесь метафоризм ее поэмы, основанный на реалиях, но не сводимой к ним, позволяет читателю объединить судьбы Князева, Гумилева и Маяковского... Из них и складывается представление о «Поэте Вообще» как о «герое». Блок выпадает из этого триединства, ибо он в поэме – участник треугольника, и тоже несет на себе долю вины за смерть Князева и за «серебряный век» в целом (ср. с блоковской «Песнью Ада» из цикла «Страшный мир»). Потому он и одет как Демон, и сам он Демон с лицом Тамары... Не будем сейчас обсуждать, насколько справедлива А. Ахматова к «трагическому тенору эпохи» (за текстом поэмы, в заметках к ней появятся и иные слова о Блоке, «уводимом двенадцатью»). Важно другое. Текстуально он не включен в понятие «Поэта Вообще», «поэта с большой буквы». И в триединстве образа такого «Поэта» Маяковскому опять-таки выпадает роль «Главного». Князев не ступил ещё на страшный путь «владельца волшебной скрипки», погибшего «славной» и «страшной» смертью. Гумилев погиб на этом пути. А Маяковский на смертном мосту и на своей голгофе в поэме «Про это» собственным примером осознал эту смерть – сначала метафорически, а затем и в жизни, повторив князевский выстрел в сердце... уже не от любви, а от «громады-любви». Пережить до конца голгофу осознания гибели Героя

пришлось А. Ахматовой – в том было ее назначение. В том была ее поэтическая роль Антигоны. Именно потому ей, по собственному признанию, понадобилась лира Софокла. Да, «Софокла уже, не Шекспира...».

Гумилев незримо живет в тексте Ахматовой, как ни странно, поэтикой своих поздних стихотворений, где присутствует, по словам исследователя, «планетарное» и даже «космическое сознание» («Заблудившийся трамвай»). Впрочем, в заметках к поэме Ахматова даже составила список таких стихов: «Линия отсутствующего героя. Все в будущее: «Для юношей открылись все дороги, для старцев все запретные труды». «Орел» (космос) – земное притяжение. «Земля! К чему шутить со мною: одежды нищенские сбрось. И стань, как ты и есть, звездой. Огнем пронизанной насквозь и т. д. Связь с поэмой в поздней фантастике «Заблудившегося трамвая», «дощатый забор» – наш Безмянный переулок, «И цыганочка лижет кровь» («Новогодняя баллада»). «На Венере, ах, на Венере...» Неслучайность цитаты». И самом деле, так и кажется, что «фантастическая», смешивающая времена и пространства поэтика «Поэмы без героя» подсказана поздним Гумилевым, и его «отсутствие» в поэме («линия отсутствующего героя») оказывается мнимым. Сам прием «мнимого отсутствия» применен не только к Гумилеву: в согласии с этой подсказанной им ассоциативно-фантастической поэтикой многое, чего в поэме нет, на самом деле присутствует в ней, и наоборот, намеки в тексте отнюдь не исчерпывают присутствия – оно шире и значительнее – «воздушная громада» внетекстуальной соединительной ткани. Ахматова это отметила в наброске «Работает подтекст»: «И куда только она (поэма. – Г. И.) от меня ни ушла. Даже в гран-гиньоль (драма ужасов, с кровавой развязкой. – Г. И.), потому что как иначе назвать мысль всех их (главным образом отсутствующих – Маяковского (опять он, «главный», на первом месте! – Г. И.), Цветаеву, Нижинск/ого/, Дапертутто, Хлебни/кова/ – рисунки Митурича (изображение умершего от голода Велимира. – Г. И.) и т. д.), заставить видеть в волшебном зеркале колдовского шарманщика свой конец вместе с Фаустом, Д/он/ Жуаном, Гамлетом <...> видеть, как Блока уведят 12 молодых людей, а Мейерхольда только двое. На фоне всех этих концов смерть драгуна просто *блаженное уснутие*».

Итак, по законам поэтики «Поэмы без героя» в ее подтексте вместе с гибелью «героя» присутствует и «конец» Маяковского, метафорический («голгофа») и реальный. Как же А. Ахматова соотносит с этим концом свою судьбу? Об этом сказано уже не только в подтексте:

Не обманут притворные стоны,  
Ты железные пишешь законы,  
Хаммураби, ликурги, солоны  
У тебя поучиться должны...

О каких «железных законах» идет речь? Вот слова Ахматовой о себе самой: «Что мне поступь Железной Маски Я еще пожелезнее тех...» Но Хаммураби, Ликург, Солон были более или менее жестокими (Хаммураби), требовательными (Ликург), но уж во всяком случае мудрыми и

справедливыми законодателями государств. А вот Антигона во имя высшего закона нарушила царский запрет и воздала погребальные почести врагу Фив – Полиннику. Брат, даже если он враг государства, должен быть почтен погребальным ритуалом. В трагедии Софокла поступок дочери Эдипа, приговоренной царем Креонтом, одобрен волею богов – правота его подтверждена смертью Гемона и царицы Эвридики. Хаммураби, ликурги, солоньки могли бы у Антигоны поучиться. Она еще «пожелезнее» тех. Значит, и Поэт с большой буквы, у которого могли бы поучиться законодатели, тоже служит высшему долгу: «проплясать пред Ковчегом Завета или сгнуть!..» Такой Поэт – «ровесник Мамврийского дуба» – он изначально и старше всех последующих законов; «вековой собеседник луны» – он мудрец, пророк, говорящий с божеством (см. Томас Манн «Иосиф и его братья»: «Пролог. Сошествие в ад». Гл. 1). Он существо «особого рода», не то, что Р. Браунинг с его преждевременными размышлениями о «подагре и юбилейных креслах»; свидетели «торжества» такого Поэта – «вереск» и «пустыня», его голос подобен шалыпинскому – «будто эхо дальнего грома, – наша слава и торжество! Он сердца наполняет дрожью и несется по бездорожью над страной, вскормившей его». Итак, автор «Поэмы без героя», осознавая свою миссию Кассандры и Антигоны, постепенно, вслед за «главным», обретает черты «Поэта Вообще», «Поэта с большой буквы».

Предать погребению, посыпать землю и пролить ритуальное вино, почтив то, что запретно было почитать, – не только расстрел отсутствующего героя, но и Голгофу и смертный выстрел «Главного» – почтить это и многое, многое другое, несмотря на запрет и повинаясь высшему закону любви и долга, согнать всем погибшим покров «из бедных, у них же подслушанных слов», в их судьбах оплакать горе многомиллионного народа, услышать и «озвучить» безмолвный хор «современниц, каторжанок, стопятниц, пленниц», обезумевших Гекуб и Кассандр из Чухломы – вот женское назначение Ахматовой. В позднейшей редакции (1965) проясняющая все тема введена не только двумя финальными строфами в главе «Решка», но и особой ремаркой: «(Вой в печной трубе стихает, слышны отдаленные звуки Requiem'a, какие-то глухие стоны. Это миллионы спящих женщин бредят во сне)».

В творческой истории «Поэмы без героя» один из немаловажных эпизодов – стихотворение «Маяковский в 1913 г». Написанное к десятилетию гибели поэта, прочитанное на вечере в Капелле, посвященном этой дате (апрель, 1940), оно, конечно, звучало в душе, когда на исходе того же года Ахматова начала писать свое главное произведение. Разумеется, звучало не так, как стихи Пастернаку 1936 г. («Он, себя сравнивший с конским глазом») или «Памяти Пильняка» 1938 г. («Все это разгадаешь ты один»). Маяковский, официально признанный «лучшим и талантливейшим», должен был определить свое место в поэтическом мире Ахматовой. И она осталась верна себе, с первых же строк вступив в полемику:

Я тебя в твоей не знала славе,  
Помню только бурный твой рассвет...

И тут же рождался образ «Главного» («Все, чего касался ты, казалось не таким, как было до тех пор, то, что разрушал ты, разрушалось...»).

«Отзывный гул прилива» – гул первой войны и революции – тоже главный мотив «Поэмы без героя», равно как и самый факт «отсутствующего присутствия» Маяковского в 40-м предвоенном году. Ахматова связывает два эти момента истории нерасторжимо:

И еще не слышанное имя  
Молнией влетело в душный зал,  
Чтобы ныне, всей страной хранимо,  
Зазвучать, как боевой сигнал.

А вот и намек на трагедию Маяковского и его поединок с миром: «Одинок и часто недоволен, с нетерпением торопил судьбу...» Тема смерти, самоубийства – пока еще была как бы под запретом, чтобы из глубины метафорического сюжета широко прорасти в будущей поэме.

Мемуаристы приводят свидетельства о том, что Ахматова признавала «хорошим» лишь дореволюционного Маяковского («"Во весь голос", конечно, великая вещь... Но это уже предсмертное. А вообще Маяковский силен и велик только до революции. Божественный юноша, явившийся неизвестно откуда». – «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской). Схожее есть и в «Рассказах об Анне Ахматовой» Анатолия Наймана, но с характерной оговоркой; Ахматова говорит: «Впрочем, могу вам объяснить... Он все понял раньше всех. Отсюда «в окнах продукты, вина, фрукты», отсюда и такой конец». Все понял раньше всех – опять «Главный». А вот из воспоминаний Нины Ольшевской – на вопрос: «Чьи стихи были для вас переломными?» Ахматова назвала Некрасова, прибавив, что сейчас его не любит, и Маяковского: «Ну, это мой современник. Это – новый голос. Это настоящий поэт». И она прочла, опять на память, его стихи о любви...»

В воспоминаниях И. Берлина Ахматова характеризует Маяковского как «великого литературного новатора», хоть и не великого поэта, конечно, «гения», у которого «темперамент был больше таланта», который хотел «все разрушить, все взорвать» (и это «разрушение было вполне заслуженным»), но которого «довели до отчаяния», а друзья «предали», однако он «некоторое время был настоящим голосом народа, его трубой», хотя пример его «оказался фатальным для других». В живом общении, в той или иной ситуации суждения и оценки Ахматовой могли быть разными, порой противоречили друг другу, порой бывали упрощены и в этих случаях, разумеется, не покрывают сложности ее отношения к Маяковскому, и лишь в совокупности и в контексте со стихами, «Поэмой без героя» и автокомментариям к ней можно выявить эту сложность: здесь есть приятие и неприятие, сочувствие и отчужденность (как и в отношении к Блоку, см. выше), но в целом мы чувствуем ахматовское признание за Маяковским особой роли «Поэта с большой буквы». Насколько обыденные, ситуативные оценки расходятся с поэтической, выстраданной интерпретацией образа – мы могли убедиться наглядно. Ахматова отвергла официальную идеологическую

трактовку и включила Маяковского в большой и близкий ей ассоциативно-метафорический контекст поэмы-трагедии, поэмы-троечастия, в которой есть, как у Данте, свой Ад, Чистилище и Рай – грех, возмездие, очищение, неотрывные от страшного, «по ту сторону Ада», опыта страны и ее народа. Он страшен не только неслыханными лишениями и безвинными жертвами, ужасами двух мировых войн и репрессий. На нашей земле допущена голгофа. Многократно, неисчислимо многократно. О том – в «Про это»: «Хлеще ливня, / грома бодрей, / бровь к брови / ровненько, / со всех винтовок, / со всех батарей, / с каждого маузера и браунинга, / с сотни шагов, / с десяти, / с двух, / в упор – / за зарядом заряд. / Станут, чтоб перевесть дух, / и снова свинцом сорят. / Конец ему! / В сердце свинец! / Чтоб не было даже дрожи! / В конце концов – / всему конец. / Дрожи конец тоже. / ТО, ЧТО ОСТАЛЮСЬ. Окончилась бойня. / Веселье клокочет. / Смакуя детали, разлезлись шажком. / Лишь на Кремле / поэтовы клочья / сияли по ветру красным флажком». Кстати, пора вспомнить, что лирический герой Маяковского – тоже широкая метафора при всем обилии автобиографических черт. Расстрел поэта на Иване Великом московского Кремля как развязка его голгофы («Руки крестом, крестом на вершине, ловлю равновесие, страшно машу.>») при сопоставлении «Про это» с «Поэмой без героя» приобретает особый по-евангельски емкий, обобщающий и пророческий смысл. Напомним также, что обе поэмы начаты в ожидании Нового года и Рождества, но «Про это» по времени ближе к расстрелу Гумилева. А перед своей реальной, не метафорической смертью «Главный» создал «великую вещь», где «во весь голос» предупредил о близком конце, об «остатке дней» (не лет!): «Товарищ жизнь, давай быстрее протопаем, протопаем по пятилетке дней остаток!» Такое «предсмертное» стоит «Про это» («на Кремле поэтовы клочья») и заслуживает подвига Антигоны.

Что произошло в нашей литературе XX в.? Если подслушать «разговор» поэм, с героем и без него, хотя бы отчасти прояснив язык, на котором этот разговор ведется, мы почувствуем, что, при всей отдаленности, Маяковский и Ахматова, именно на вершинном уровне своего творчества, значительно ближе друг к другу, чем это порой кажется. Предсказанная Маяковским голгофа поэта не сразу обнажила глубинный смысл метафоры. «Карающий, судный Октябрь» был не только возмездием за Брокен «серебряного века». Он выступил и сам как державная сила, подобно Пилату, присуждающая к распятию. Христос не судил и не карал. И в «Про это» В. Маяковского (пора бы это уяснить!) нет и намек на оправдание, тем более воспевание насилия. Лирический герой никого не расстреливает, он сам подвергается расстрелу, причем в толпе расправляющихся с ним не одни лишь мещане, враги, но «любимых, друзей человечьи ленты»... Это самое трагическое. Нетрудно воздать кесарю кесарево... Но как быть с теми, что кричали: «Варраву отпусти нам для праздника», с теми, что «велели Сократу отраву пить в тюремной глухой тесноте):

Им бы этот же вылить напиток  
В их невинно клеветущий рот...



Как много было их, «невинно клеветущих»!.. Получив право судить и карать, они и становились «любителями пыток, знатоками в производстве сирот». И вот «карающий и судный» народ, каким его сделал Октябрь, сам становился жертвой судилища и кары. Вот что произошло в нашем XX веке... Чтобы это осознать в поэзии и тем самым дать голос безмолвному «стомиллионному» народу, нужно было, чтобы появилось «Про это» и чтобы спустя десятилетия «Поэма без героя» дописала евангелие от Маяковского. Разумеется, не только Ахматова делала это. Например, в принятом нами контексте чрезвычайно важно было бы рассмотреть «Мастера и Маргариту» М. Булгакова и «Пирамиду» Л. Леонова.

Но и сама Ахматова, создав свою главную поэму, не могла остановиться... Балетные либретто, которые она создавала, лишь заземляли грандиозную метафору, потому, может быть, и не были завершены. Драматическая постановка и музыкальная интерпретация тоже не состоялись. Но настоящим продолжением «главной поэмы» стала сожженная и почти восстановленная автором пьеса «Энума элиш», где тоже, как думаем мы, вслед за «Главным», но с опорой на реалии, которых Маяковский еще не мог знать, Ахматова задумала показать свою (вполне возможную) голгофу в советском застенке. Текст сгорел в 1944 или 1949 г. Его литературоведческая реконструкция по дошедшим до нас восстановительным черновикам – дело будущего.



**Геннадий Муриков**

**Прокурорский надзор**

О книге Натальи Бонеевой «Царь-девица» (Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи) СПб, 2012 г.



Автор этой книги – талантливый учёный, по справке на обложке «окончила химический факультет МГУ, а вслед за тем в 1979 году – Литературный институт Союза писателей. Кандидат философских наук (теоретик литературы), в печати она выступает главным образом в качестве историка русской философии XX века, культуролога и переводчика».

Книга написана очень живо, даже увлекательно, что для научных работ, вообще говоря, редкость. Я прочитал её с интересом. Для научного работника, литературоведа (с прошлой специальностью химика) удивительна не только всесторонняя эрудиция в области литературы и философии, но и чётко продуманная ясная стилистика. Это не тот псевдонаучный жаргон, «птичий язык», на котором пишут авторы известного журнала «НЛЮ» (« Новое литературное обозрение»), а нормальная русская речь.

Автор вначале несколько двусмысленно формулирует задачи своей книги: с одной стороны это как бы биография Евгении Герцык, известной писательницы и мемуаристки Серебряного века, и отчасти её сестры Аделаиды – поэтессы из круга символистов, а с другой стороны, – довольно широкое исследование жизни и творчества разных писателей и философов Серебряного века, в кругу которых находились сёстры Герцык. Среди них Н. Бердяев, Л. Шестов, Вяч. Иванов, Д. С. и З. Н. Мережковские, Л. Бакст, С. Городецкий и многие другие. Книга необычайно интересна тем, что в ней собрано воедино множество любопытных фактов, ранее разбросанных по разным публикациям, что придаёт исследованию значимость и внутреннюю целостность. Можно даже сказать, что это не научное исследование (автор нигде не приводит архивных материалов), а некая литературно-публицистическая работа, почти что энциклопедия, как бы обращённая в прошлое, но нацеленная на современность.

Теперь перехожу к главному. Наталья Бонецкая позиционирует себя именно исследователем, но фактически является воцерквлённо-православной писательницей и даже пропагандистом православной идеи. С этой точки зрения она вершит свой грозный суд над всеми писателями, общественными деятелями, художниками Серебряного века, опираясь на мнимое решение РПЦ и свою православную совесть. Вначале мы заметили, что автор монографии значительную часть жизни прожила при советской власти. Вероятно, она была, по крайней мере, комсомолкой, также, впрочем, как и я. Но откуда у неё появилась такая тяга к «православному прокурорству», мне неизвестно и даже непонятно. В своё время отец Г. Флоровский («Пути русского богословия», Париж, 1937 г.) рассматривал всю историю русской культуры с точки зрения ортодоксальной православной доктрины. И что получилось? Пшик! Почти все писатели и деятели русской культуры оказались еретиками и богоборцами. Но суть в том, что Г. Флоровский был прав! Действительно, русская культура и православие – это две вещи несовместные, а более точно если сказать, то только *соприкасающиеся*. Не случайно даже у такого, уж совсем как бы «христианнейшего» мыслителя

В.С. Соловьёва появляется такое определение Русской православной церкви: «Греко-российская синагога» (с. 153 упомянутого сочинения).

Мы не ставим себе целью уличить автора в каких-то исторических неточностях или в ошибочных толкованиях тех или иных событий. Здесь я скажу прямо: мне не нравится и представляется глубоко ошибочной сама трактовка Бонецкой всех событий той эпохи, о которой я не раз писал. Н. Бонецкая встаёт в позу некоего православного инквизитора и с этой позиции начинает СУДИТЬ: Брюсов поклонялся богу и дьяволу, Мережковские неправильно толковали православие, Вяч. Иванов – неоязычник и изверг, к тому же распутник, Г. Чулков – марионетка у него в руках, Л. Зиновьева-Аннибал – змея и т.д., и т.п. Несчастливая Евгения Герцык настолько запуталась в этом бесовском окружении, что в середине 1930-х годов за несколько месяцев до расстрела её племянника уверяла в письмах к давно уже эмигрировавшему и понявшему, куда идёт дело, Л. Шестову, что в нашей стране (т.е. СССР) строится всеобщее счастье и всемирный рай.

Возвращаясь к представлению автора о своих героях, которых он (т.е. она – Н. Бонецкая) ненавидит. Главный из них Вяч. Иванов – «Вячеслав Великолепный», как звали его все друзья, – для нашей православной прокурорши является в образе изверга, потому что он решил объединить движение христианства, нищестанства и символизма. Некоторые участники народнического движения на Западе «... предлагали вернуться к почитанию древних арийских богов, свергнув гнёт иудео-христианской религии и сопряжённого с ней индустриального капитализма, разрушившего исконное единство человека и природы» (с. 244).

Эта мысль была абсолютно абсурдна для всех писателей и мыслителей Серебряного века. Тогда было как бы «грешно», а то и просто непозволительно в рамках цензуры выступать против «исторической христианской православной церкви». Но почитайте статьи В. Меньшикова, Д. Мережковского, в которых ясно и чётко говорилось, что эта церковь внутри себя мертва. Необходимо было духовное обновление: или остаться с прогнившим иудео-христианством, или искать новую веру.

Вспомним термин теургия или теургизм, который переводится на русский язык как богостроительство. Какие возникают ассоциации? На собраниях в Башне Вяч. Иванова не раз бывал богостроитель А. Луначарский, разве что М. Горького там не было.

\*\*\*

Богостроительство имело два аспекта. Главным было отрицание христианства, которое в своей церковной форме уже рухнуло, что было ясно даже тогда, а теперь тем более, несмотря на то, что Путин пытается его возродить. Остаются два аспекта прежнего христианства: национализм или интернационализм, иными словами: нас забьют мигранты или мы их сюда не пустим.

Определённая тонкость вопроса состоит в том, что, судя по всему, и я как критик, и Н. Бонецкая принадлежим примерно к одному поколению, так что мои размышления – это всего лишь комментарии к её работе, но никак не

отрицание самой постановки вопроса. Когда я обратился к творчеству Вяч. Иванова в одной из своих статей, я так и назвал её: «Религия дионисийства» (Г. Муриков «Оккультная заря России, СПб, 2011 г.). Дело ведь не в том, насколько Вяч. Иванов соблюдал те или иные религиозные нормы православия, а в том, что он вместе со своими единомышленниками старались выработать образ нового человека, человека будущего. Не случайно в кругу посетителей Башни Вяч. Иванова были Луначарский и Чичерин. Дело в том, что в эту великую историческую эпоху России созидался новый исторический тип мышления и мироощущения. И в центре этого созидания были собрания на Башне Вяч. Иванова.

Напомним читателям, что это здание сохранилось – Таврическая ул. дом 25, хотя, к глубокому сожалению, там нет не только музея, но даже мемориальной доски.

Н. Бонецкая задаёт лицемерный вопрос: «Как случилось, что Иванов подпал под "обаяние древнейшего богочувствования"? почему он избрал для себя миссию посредника, через которого "народ вспоминает свою древнюю душу и восстанавливает спящие в ней веками возможности" («Поэт и чернь», 1904 г.)? почему филолог-классик, предпочитавший жить или вдалеке от России, или укрывшись от русской действительности на Башне, постоянно апеллирует, как к высшему авторитету, к "народу", "народной душе", народному "большому искусству"?» (с. 244).

Да вот потому-то и «апеллирует», что на самом деле живёт жизнью этого народа, *русского* народа. А не болтается в кругах жидомасонской псевдоинтеллигенции, которая через десять лет возглавит оккупацию России, позже названную советской властью.

Число литературных источников, привлекаемых Н. Бонецкой для подтверждения своей концепции, весьма значительно. Но почему-то она забыла интересные суждения Фёдора Степуна, имя которого, кстати, даже не упомянуто в книге: «Народная душа, защищаемая Вячеславом Ивановым, есть ответственный перед Богом за судьбы своего народа ангел, подобный ангелам церквей в Откровении Иоанна». Эту цитату я привёл в качестве эпитафии к своей упомянутой выше статье о Вяч. Иванове. Мнение Ф. Степуна мне представляется гораздо более значительным, чем пошлые рассуждения Н. Бонецкой на эту тему.

Суть дела не в том, кто «православнее», а кто «еретичнее». Христианство практически полностью разложилось уже сто лет назад, и мыслители той эпохи, равно как и нашей, после мрачного отупения советского периода, вновь ищут истины, взыскуют правды, пытаются познать основы богостроительства.

\*\*\*

Странный вопрос: Н. Бонецкая почему-то отрицает дух Ренессанса и одновременно считает Н. Бердяева почти что православным философом. Приводим одну из цитат, которые якобы подтверждают это мнение: «Явление Ницше на Западе и у нас Розанова, возрождение Диониса в современном искусстве, наш мучительный интерес к проблеме пола, наше стремление к

освящению плоти – всё это указывает на двойственность нашего ренессанса. Мы зачарованы не только Голгофой, но и Олимпом, зовёт и привлекает нас не только Бог страдающий, умерший на кресте, но и бог Пан, бог стихии земной, бог сладострастной жизни, и древняя богиня Афродита, богиня пластической красоты и земной любви» (Н. Бердяев «О новом религиозном сознании»).

Строго говоря, вся концепция Н. Бонеецкой и заключена в этой цитате, потому что «новое религиозное сознание» (кстати, это термин Д. С. Мережковского) и состоит в том, чтобы расширить и сделать адекватным современности угасшую церковную мысль. Церковь как институт не столько государственный, сколько промыслительный, практически перестала существовать уже со времён Петра I. Если в эпоху смутного времени церковные иерархи ещё воодушевляли народ, то в XVIII – XX веках они превратились в государственных чиновников. Новообращённая Н. Бонеецкая, как это и принято среди деятелей такого типа, как всегда бежит впереди паровоза, уверяя, что в XXI веке православная церковь якобы «возродилась», и с этой точки зрения поливает грязью мыслителей Серебряного века, а особенно Вяч. Иванова, за то, что они почувствовали важную вещь: Христос сказал не всю истину. Да и вообще истина находится, может быть, не в христианстве.

В вышеупомянутой цитате Н. Бердяева говорится, что русские мыслители той эпохи поднимали вопрос об освящении плоти, тогда как в традиционной христианской религии проповедуется аскетизм, то есть умерщвление плоти. Примитивное религиозное сознание двух – трёх тысячелетий назад разделяло дух и плоть, то есть разум человека и его физиологию. Но ведь мы-то сейчас прекрасно знаем, что каждая клетка человеческого организма живёт, дышит и «думает» своим, хотя бы маленьким сознанием. Тело – это не какой-то механический биоробот, а тоже часть нашего сознания, и каждая телесная реакция откликается в мозгу. Импульс дионисийства, привнесённый в традиционную христианскую культуру Вяч. Ивановым, ясно и отчётливо помог оживить духовное и религиозное сознание Серебряного века. Об этом я подробно писал в статье о Вяч. Иванове «Религия дионисийства».

\*\*

Н. Бонеецкая, не вдаваясь подробно в материал, но разными намёками говорит о возможном влиянии Папюса и Г. Распутина на царскую семью и одновременно намекает, что и влияние собраний на Башне у Вяч. Иванова шло в том же направлении – ослабления *православной* веры.

Особенно автор обвиняет Вяч. Иванова в его «народничестве». Якобы через любовь к русскому народу он стал приверженцем язычества, то есть дионисийства, и превратился во врага христианской аскезы. Ещё более для автора отвратительны размышления Вяч. Иванова о «циничной языческой подмене, о замещении Христа Дионисом, а церковного причастия – оргией» (с. 246).

Это в дальнейшем приведёт к определённым политическим изменениям. Как известно, в период эмиграции Вяч. Иванов поселился в Италии, в тот период при правительстве Муссолини. Н. Бердяев в своём мемуарном сочинении «Самопознание» назвал его фашистом. Мнение Бердяева для

Н. Бонецкой по большинству вопросов является авторитетным (хотя она ни разу не упоминает его ключевых политических трактатов «Новое средневековье» и «Истоки и смысл русского коммунизма»), так что резко отрицательное отношение Бердяева к советской власти в книге не обрисовано. Но зато в очередной раз плюнуть в Вяч. Иванова, заклеив его табуированным словом «фашист» – дело очень лёгкое. Мы хорошо знаем, что в Италии при Муссолини бывали и много лет жили и Мережковские, и Амфитеатров, и – о ужас! – сам основоположник социалистического реализма Максим Горький. Но плевков почему-то адресован именно Вяч. Иванову.

\*\*\*

Н. Бонецкую в размышлениях и в личной жизни Вяч. Иванова особенно раздражает его склонность к эротическо-дионисийским экстазам. Его жена Л. Д. Зиновьева-Аннибал была якобы «по общему признанию прирождённая жрица Эроса. "Встреча с нею (в 1893 г.) была подобна могучей весенней дионисийской грозе, после которой всё во мне обновилось, расцвело и зазеленело", – вспоминал Иванов. "Друг через друга нашли мы – каждый себя и более, чем только себя: я бы сказал, мы обрели бога"» (с. 248. Автобиографическое письмо В. Иванова С. Венгеру).

Если так В. Иванов писал совершенно постороннему человеку, то какова же была сила его страсти, тем более, что как я уже писал в упомянутой статье, в момент смерти его супруги от скарлатины он положил её на себя и, рискуя заразиться, целовал её. И она так и умерла в нежных объятиях своего супруга. Н. Бонецкая насмешливо говорит, что скарлатина – это детская болезнь. Однако вспомним, что в рассказе Чехова «Попрыгунья» врач Дымов умирает от скарлатины, и эта смерть не кажется ни смешной, ни глупой, а скорее жертвенной также, как жертвенным был и весь жизненный путь Вяч. Иванова:

Дохнет Неистовство из бездны тёмных сил  
Туманом ужаса, и помутится разум, –  
И вы воспрянете, все обезумев разом,  
На свежих рытвинах могил.  
И страсть вас ослепит, и гнева от любви  
Не различите вы в их яром искаженье;  
Вы будете плясать – и, впад в изнеможенье,  
Все захлебнуться вдруг возжаждете в крови.  
(«Астролог», 1905 г.)

Вот это и есть дионисийство. Позднее, отчасти признавая свою вину в разжигании большевистской революции, Вяч. Иванов написал почти покаянное стихотворение «Да, мы костёр сей поджигали...». На него откликнулся и его друг Г. Чулков. (Интересующихся отсылаю к своей статье «Религия дионисийства»). Но революция произошла вовсе не потому, что группа писателей и поэтов отчасти не соглашались с тогдашней политической ситуацией, а потому, что ею руководили тёмные зарубежные политические силы, о которых эти писатели и поэты даже не подразумевали. Об этом Н. Бонецкая, видимо, даже не подозревает.

\*\*\*

Между прочим, Н. Бонецкая доходит в своих суждениях до того, что Вяч. Иванов в её изображении выступает как «двойник своих современников – провокаторов Гапона и Азефа, а вместе и порочного лжестарца Распутина» (с. 260). Провокаторы Гапон и Азеф были выходцами из эсеровской среды и отчасти являлись агентами международного масонского движения. Что же касается Распутина, то, судя по всему, автор основывается только на предвзятом мнении В. Пикуля, а обширная литература о Г. Распутине, имеющаяся на сегодняшний день, Н. Бонецкой, по-видимому, неизвестна.

\*\*

Эти необходимые отступления следует сделать для того, чтобы вернуться к образ у главной героини анализируемой книги – Евгении Герцык. Она в 1908 - 10 гг. была своим человеком на Башне у Вяч. Иванова, была даже соперницей Веры Шварцсалон и мечтала о браке с Вяч. Ивановым, потом долгое время колебалась между учением Н. Бердяева и православием, но в итоге так и не нашла ни избранника сердца, никаких определённых убеждений и так и умерла старой девой в 1944 году в какой-то деревушке в Курской области. Её, в общем-то, не коснулись никакие репрессии. Осталась она в истории литературы, главным образом, как автор интересных и своеобразных мемуаров и обширной переписки с разными деятелями культуры Серебряного века.

\*\*\*

При рассмотрении книги Н. Бонецкой лично меня интересует не освещение тех или иных фактов, многие из которых известны (выше отмечалось, что автор не использует архивные материалы), а её удивительно православно-прокурорский тон. Вот один из ярких примеров. В 20-х – 40-х годах героиня этой книги жила в советской России, отказавшись эмигрировать, хотя Н. Бердяев в письме приглашал её приехать во Францию. Тут любопытно вот что: сначала Е. Герцык, как и её сестра Аделаида относились к большевистской революции очень неприязненно, но затем (Аделаида умерла в 1921 году) Е. Герцык начинает всё больше и больше проникаться симпатией к советской власти, хотя её бытовые условия становятся всё хуже и хуже. Семья Герцыков теряет квартиру в Москве, затем «то ли имение, то ли дачу» в Судаче в Крыму, и в итоге кочуют от одной к другой деревеньке, где Е. Герцык ухаживает за тяжело больной золовкой. При этом ведёт постоянную переписку сначала с Бердяевым, а потом со своей парижской подругой Софьей Герье. Переписка с С. Герье особенно удивительна, потому что там на каждой строчке идёт восхваление новых подвигов советской власти. Бывшая символика и оккультистка Е. Герцык в своих письмах предстаёт как едва ли не пропагандист сталинского режима конца 30-х годов. Она восхваляет не только сталинские индустриализацию и коллективизацию, но даже радуется сносу христианских храмов в Москве (с. 485). Более того, она видит радость в появлении молодого поколения лётчиков и героев. И ещё: «Вся советская экономика – ретруд, перенапряжение труда, может быть, навивая болезни сердца. Москва мне в ответ шлёт школы, электростанции, озеленение пустынь» (с. 489). Интересно, зачем



это шестидесятилетней старой деве школы и озеленение пустынь и к тому же, почему это Москва ей их шлёт? Налицо очевидная фальшь и показное лицемерие. Может быть, иначе её письма и не дошли бы до Парижа (а кстати, откуда при её нищенском существовании у неё нашлись деньги на международную переписку?). По-моему Н. Бонецкая или лукавит, или что-то недоговаривает.

Гораздо правдивее рассказ о последних годах жизни. Е. Герцык в период немецкой оккупации. Она жила в деревне Зелёная Степь и, как обычно вела дневник о происходящих событиях после немецкой оккупации.

«Станным образом бывшие колхозники стоят все за Молотова против Сталина». Там же: «Не соединился ли в их глазах образ Молотова с недавней памяти пактом "Молотова - Риббентропа". Не мнил ли им нарком иностранных дел тайным немецким пособником?.. – Дело в том, что у *всех* обитателей Зелёной Степи, равно как соседних деревень, внезапно обнаружилось "полное согласие на немцев"» (запись от 5 ноября 1941 года). Ещё дальше: «Вот одна девушка говорит, что "немчики хорошие" (6 – 8 февраля 1942 года), другая же – вообще, что "они божественные, на каждом крест"» (март 1942 года, с. 507).

Однако по мере того, как успехи советской армии стали более ощутимыми, а немецкие поборы увеличивались, настроения тех же самых крестьян стало меняться в противоположную сторону. Может быть, именно пребывая в деревне и похоронив там же свою тяжелобольную золовку в 1943 году, Е. Герцык стала понимать, что советская власть для России явление глубоко чуждое. Я лично думаю, в отличие от позиции Н. Бонецкой, что она всё это понимала и гораздо раньше, а её письма, доставлявшиеся, думаю, что не без помощи НКВД, были всего лишь прикрытием для сохранения своей жизни и жизни близких.

Тут не надо придумывать какую-то философию. Речь шла об обыкновенном выживании. Между прочим, друг Е. Герцык Андрей Белый в конце своей жизни, когда была арестована его жена, тоже «подружился» с социалистическим реалистом Фёдором Гладковым. Надо бы подумать и о таких вопросах.

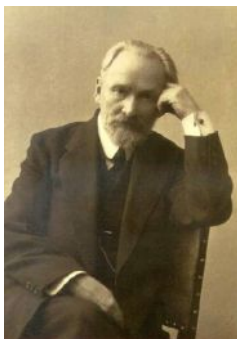
**Заключение:** Книга глубоко противоречивая. Написана умно, талантливо, но прокурорско-православная позиция авторессы, которая, видимо, кается в своих комсомольских грешках, вызывает недоумение, причём она строит свою концепцию жизни и деятельности Е. Герцык, а также многих деятелей культуры Серебряного века на субъективных гипотезах: «Творческий портрет Евгении Герцык, который мы попытались набросать в нашей книге, содержит лишь намёки на её сокровенно-экзистенциальное – сферу свободы, в которой развёртывается последняя борьба и принимаются последние решения» (с. 508).

Этой фразой заканчивается книга, но, как видится, последние решения ещё не приняты. Поэтому на этом закончим и мы.

Санкт-Петербург.

Июль 2016 г.

**В. В. Розанов**



## *О Мережковском*

*Любовь сильнее смерти*

*Письмо в редакцию*

*Еще о Мережковском*



## I

**Д. Мережковский. Любовь сильнее смерти.**

Итальянская новелла XV века

Книгоиздательство «Скорпион». Москва, 1902

Книжка содержит больше, чем обещает заглавие. Сверх заглавной новеллы, в нее входит другая такая же: «Наука любви», далее – хроника XVI века «Микель-Анджело» и «Святой Сатир», флорентийская легенда Анатоля Франса, с мастерством переданная на русский язык автором классического перевода «Дафниса и Хлои». Уже с давнего времени г. Мережковский насаждает в России маленькие сады Адониса, или, что то же, пытается пробудить какой возможно «Renaissance» эллино-римского мира среди степей Московии и Скифии. Одно можно отметить, что чем старше становится автор, тем спокойнее, увереннее, а главное – сложнее он работает, перестав, например, относиться к христианству с той поверхностною отрицательностью и глумлением, какие неприятно поражали читателя в его «Юлиане Отступнике». Нельзя и сравнивать стиль или слог его теперешних писаний, ровный и твердый, с тем нервно-приподнятым, бессильно надтреснутым стилем, каким написаны многие из его страниц начала девяностых годов.

Мальчик вырастает в мужа, из «Амура» вылупился «Адонис», и это совершилось так удачно и быстро, что друзьям автора можно помечтать даже о будущем Геркулесе из него. Да поможет ему древняя Люцина, помощница в родах. Возраст – великий умудритель. Ни из какой книги не научишься тому, чему можно учиться из горба за спиною, т. е. из усталости, опыта, богатства наблюдений. Все это расхолаживает и вместе укрепляет, дает правильную поступь, верный глаз: ценнейшие качества в наше немолодое время, которое бесконечно скучает всем юным в смысле неопытности и лжеприподнятости страстей и языка. Серьезная правда все более и более выделяется из многочисленных «лже» г. Мережковского: из «лже»-эллинизма, «лже»-нищезанства, «лже»-антихристианства, и все начинают серьезнее и серьезнее слушать речь просто Мережковского, самого Мережковского. Просто Мережковский несравненно любопытнее Ницше – Мережковского, который довольно долго утомлял русскую публику. Теперь он находит в себе мудрые слова о христианстве; он находит подлинно уязвимые слабости в Ницше, например, указывая в первом «сверхчеловеке» потомка слабохарактерных и крикливых «ляхов», который пуще всего рвется к тому именно, чего ему усиленно недостает... Увы, все чахоточные любят весну и розы. Но ошибется тот смертный, который доверит повести себя к розам и соловьям чахоточному...

Мережковский – мыслитель, наблюдатель и ученый. Он вечно учится, постоянно и много читает. Это не часто встречается в наш ленивый век, и уже одним усердием к делу г. Мережковский скоро перерастет множество

самодовольных «талантов» из своих современников, которые думают, что подлинному таланту остается только сочинять chefs d'oeuvres'ы. Ценнейшая и самая обещающая сторона в сложном даровании г. Мережковского, мне кажется, лежит в умении увидеть и точно оценить значение такого-то слова или факта в литературе и истории: оценить их со стороны психологической и метафизической. Нет еще такого чуткого манометра в нашей литературе, определяющего удельный вес мнений и событий; такого подвижно чуткого компаса, определяющего направления скрытых в земле магнитных токов. От излишества внутреннего напряжения он способен здесь к ошибкам, на которых не будет настаивать; но затем может раньше всякого другого дать формулу незаметному, предречь поражение сейчас еще сильного явления или победу еще слабого явления. Роль Кассандры ему в высшей степени присуща...

В рассматриваемой книжке самым лучшим произведением нам показалась историческая повесть «Микель-Анджело», предшествуемая стихотворением того же имени. Италию и Renaissance автор изучил, как Забелин московские закоулки; и студент, и студентка, размышляющий гимназист, как и самый образованный человек, неспециалист, равно приобретут много, если изберут г. Мережковского «гидом» по интереснейшей стране и интереснейшей эпохе. К тому же это не гид-археолог, а гид-мыслитель, и в самой Италии и Renaissance он берет не все, что на глаза попадется, а ищет то, что нужно, справедливо чуя, что нет великого без великих под ним тайн, и что секрет распознавания истории и человека и заключается в разыскивании этих тайн... Древние верили, что где-то, в Сицилии или другом месте, есть «спуск в тартар»; вот около таких исторических и биографических «спусков» любит бродить и Мережковский, и догадливый читатель найдет в его произведениях гораздо более, чем недогадливый. Леонардо да Винчи и Микель-Анджело, творцы-философы, творцы-исполины, более всего привлекают его внимание. Рассказ г. Мережковского о Микель-Анджело в сжатой и изящной форме полуистории, полубеллетристики, вводит в жизнь, творчество, замыслы и судьбу знаменитого флорентинца, любимца итальянцев, как я наблюдал в Италии в церквах, в монастырях, в любовных воздвижениях ему статуй и набожном охранении (я видел в одном монастыре) какой-нибудь простой (но действительно изящной) перекладинки двух-трех железных прутьев над колодцем. «Это сделано Микель-Анджело». И в самом деле – что-то красивое, воздушное. Так обрывки стихотворений Лермонтова, неконченные, ценнее целых «задуманных, выполненных и благополучно оконченных» поэм других стихотворцев. В таланте содержится некоторое чудо, и этим чудом богат флорентинец, действительно, точно украсивший Италию всюду разбросанными им скульптурами, зданиями и картинами. «Моисей», Сикстинская капелла (вся в целом) и купол св. Петра – просто невероятно, чтобы это вышло из рук одного человека. Кто может представить соединенными в одной фигуре, в одной душе – Толстого, Чайковского и Менделеева? А таковыми-то и были кентавры Возрождения, «боги» Возрождения, к

которым применимо удивительное изречение греков о Пифагоре: «вот пришел к нам „Ни Бог, ни человек, но Пифагор“. „И не человеки, но Боги“ были и люди „Возрождения“, – точно выкованные из сплава христианства и язычества, металла нового и превосходного крепостью и красотой своих ингредиентов....

Мало у нас писателей, столь умственно возбужденных, как он, вечно ищущий, надеющийся, идущий вперед. И мы бы особенно хотели, чтобы в наше вообще умственно-возбужденное время он стал другом-мыслителем нашей мыслящей молодежи обоих полов. Приведем, в заключение, несколько строк автора, характеризующих Микель-Анджело:

За миром мир ты создавал, как Бог,  
Мучительными снами удрученный,  
Нетерпелив, угрюм и одинок.  
Но в исполинских глыбах изваяний,  
Подобных бреду, ты всю жизнь не мог  
Осуществить чудовищных мечтаний,  
И, красоту безмерную любя,  
Порой не успевал кончать созданий.  
Упорный камень молотом дробя,  
Испытывал лишь ярость, утоленья  
Не знал вовек, – и были у тебя  
Отчаянью подобны вдохновенья:  
Ты вечно невозможного хотел.  
Являют нам могучие творенья  
Страданий человеческих предел.

Не правда ли: это полно, точно и психологично. Книжка издана новою московскою книгоиздательскою фирмою „Скорпион“ очень изящно, с прелестною виньеткою.

## II

### Письмо в редакцию <О Д.С. Мережковском>

В № 11 от 12 января «С.-Петербур. Ведомостей» некто г. К. Румынский подвергает г. Мережковского упреку в том, что он, будто бы желая «сильных ощущений, криков пытаемых, вида крови, запаха сжигаемого человеческого мяса» и т. п., «принял позу блюстителя чистоты веры», стал разыскивать в литературе «еретиков» и прежде других указал на меня. Так как подобная инсинуация, накидывая очень густую тень на г. Мережковского, при моем молчании могла бы вызвать подозрения, что и я согласно с инсинуациею считаю себя, так сказать, духовно теснимым со стороны Д. С. Мережковского, то для предупреждения подобного мнения и снятия с моего друга всякого заподозрения его в «великом инквизиторстве» (слова г. К. Румынского), я должен сказать, что обвиняемое место его книги «Гр. Л. Толстой и Достоевский» (т. 2, стр. XXXIV) предварительного напечатания было мне

показано редактором «Мира Искусства», с предложением, не буду ли я иметь что-либо против этих слов, каковые при моем желании и он (редактор) и Д. С. Мережковский готовы выпустить. Но я по разным соображениям просил его оставить, находя вполне основательным и ни мало для меня не опасным утверждение, что строй моих мыслей для их опровержения потребует со временем еще большего напряжения мысли со стороны гг. богословов, чем строй мысли гр. Л. Н. Толстого. Нужно заметить, «строй мысли» гр. Толстого, начиная с «Крейцеровой сонаты», представляет собою лишь решительную и всеобщее приложенную (к миру) форму монашества, – и с этой стороны едва ли представляет что-либо, нуждающееся в опровержении для богословов. Совершенно противоположна моя точка зрения, и она может представлять трудности для богословия. Затем лично с Д. С. Мережковским я об этом месте его книги никогда не говорил и удивляюсь, что он «хочет моего жареного мяса» (кровавое утверждение г. К. Румынского), когда каждое воскресенье он мирно пьет чай за моим столом. Фантазия г. К. Румынского смешна, но худо, что к смеху он присоединил злой умысел замарать совершенно чистого в литературном отношении человека.

### III

#### Еще о Д. С. Мережковском (Заметка)

В «письме в редакцию», по поводу «пигмеев» и «гигантов», Д.С. Мережковский как будто несколько сетует за передачу мною слов его из частного разговора. Конечно, я приношу ему в этом извинение. Далее, ни в каком случае я не думаю и ни в какие годы не думал, чтобы он был «пигмеем» перед «Полифемом» – Михайловским и, хоть средней величины, мною. Вообще печатные измерения друг друга не красивы. Все мы малы перед Богом, а в отношении друг друга – «равны», «равны, как люди», по прекраснейшему выражению Мережковского. Безвкусная идея мерить аршином или своим «демократическим вершком» сотоварища-писателя пришла г. Михайловскому («карлик Мережковский»), к которой я не только не присоединился, но именно негодование на которую и вызвало мою статью. Далее, не могу у Мережковского не отметить с крайним сочувствием его слова об отношении нашей публики к Л. Н. Толстому, отношении, в котором не было сохранено [публикою] ни ума, ни гордости, а уж любви к великому человеку было всего меньше.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК



**Д. Мережковский**



## Д. Мережковский.

### I.

Д. Мережковский – настолько крупный писатель, что раньше или позже историки литературы займются изучением в хронологическом порядке его многообразной деятельности, рассмотрят "эволюцию" его взглядов, найдут начала и концы, подведут итоги... Вряд ли только уместно заниматься этим в настоящее время, когда "конца" деятельности этого писателя мы еще не имеем, и когда еще возможны самые разнообразные повороты этой деятельности. Но зато уже давно можно подойти к этому писателю с другой стороны: оставить в стороне его "историческое развитие" и попробовать найти тот пафос творчества, который у каждого крупного писателя свой, – тот "пафос", который только и может служить критикой и читателю ариадниной нитью в лабиринте всякого творчества.

И прежде всего следует поставить себе следующий вопрос: почему к деятельности Д. Мережковского, к его "проповеди" – современники его почти совершенно равнодушны; почему "пафос" его, по-видимому, никого не заражает, никого не увлекает? Это заслуживает внимания: в чем тут дело? Не повторяется ли здесь вечная история гения, не понимаемого современниками? Голос ли Д. Мережковского слишком слаб, или окружающие глухи? По-видимому, не в этом дело – причину надо искать глубже. Услышали же Д. Мережковского настолько, что некоторые даже возложили на него царский венец после смерти Л. Толстого. "Ему по праву должно принадлежать освободившееся за смертью Толстого царское место в русской литературе"... Правда, это венчание Д. Мережковского на царство было только рекламной издательства собрания его сочинений; правда, к рекламе этой все, начиная с самого Д. Мережковского, отнеслись крайне отрицательно; но все-таки факт на лицо: вышло уже пятнадцатитомное собрание сочинений Д. Мережковского, книги его расходятся многими изданиями, его читают, его высоко ценят – и к нему совершенно равнодушны... Отчего же это? Неловкое и рекламное венчание Д. Мережковского на царство невольно наталкивает на целый ряд вопросов, на целый ряд мыслей, которые подводят нас к самой сущности "пафоса" этого писателя.

Действительно, стоит только вдуматься: почему же настолько неприемлемым и диким представляется это помазание Д. Мережковского на царство? Чтобы понять это – стоит только вспомнить, кто всегда был "царем" для русского читателя. Царем в русской литературе мог быть только "пророк", только "учитель". Царит Пушкин, великий учитель вечной красоты и солнечной жизни; царит Лермонтов, пророк вечной борьбы с жизнью и миром; царит Достоевский, царит Толстой, великие учителя и пророки, проповедники великих религиозных и философских истин. И этот венец не по просьбе дается и не силой берется; иной раз великие писатели хотели бы обменять свою царскую корону на мантию пророка – но этого им не дано. Признанным царем русской литературы 40-х годов был Гоголь; но ему мало



было этого признания; он хотел быть проповедником и учителем. Знаменитая его "Переписка" и была попыткой сменить царское звание на пророческое; но попытка эта кончилась гибелью Гоголя. Гибнул всякий, кроме первосвященника, прикоснувшийся к Скинии Завета; гибнет всякий лжепророк, пытающийся надеть на себя мантию пророка,

Умер великий пророк земли русской; теперь и Саул может быть во пророцех. Д. Мережковский вот уже четверть века занимает пост проповедника; отчего же, повторяю, таким нелепым, диким, неприемлемым и кощунственным представляется услужливое провозглашение его первым кандидатом на пророческое место? Не потому ли, что к Скинии Завета хочет прикоснуться непосвященный, что мантию пророка хотят надеть на лжепророка? Нет, мы еще увидим, что дело здесь совсем не в этом.

Да и зачем говорить о "пророке"? Достаточно будет, если мы по поводу Д. Мережковского заговорим просто о проповеднике, учителе, пастыре: их ведь много у нас в русской жизни и литературе. Но и в этот более скромный ранг не придется возвести Д. Мережковского. Почти всегда "учитель" имеет "школу", учеников; проповедник имеет слушателей; пастырь собирает вокруг себя стадо. Все у нас учителя, все пастыри, все стада пасут и все своих овец от волков оберегают... Но где же ученики, где слушатели, где верные овцы Д. Мережковского? Четверть века он учит, – и нет у него учеников; четверть века он проповедует, – глас вопиющего в пустыне. То, что дано многим меньшим его, в том ему отказано; один он – пастырь без стада. А как бы страстно хотелось ему "пасти овцы своя"! В чем же дело? Где причина?

Появляется какой-нибудь "братец Иванушка", – и собирает вокруг себя тысячи жаждущих и алчущих поучения и спасения. Появляется в марксизме какой-нибудь "богостроитель", – и группирует около себя десятки и сотни последователей. Куда ни взглянешь, – всюду ученики, у всех последователи.

А у Д. Мережковского?

Где ученики, где верные овцы, где пасомое стадо?

Попробуйте припомнить хоть малое отражение в русской литературе заветнейших взглядов Д. Мережковского. Я, с своей стороны, могу вспомнить только одну курьезную статейку некоего автора в альманахе "Белые ночи" (был и такой альманах). В этой статейке, между прочим, мистически оценивалась высота памятника Петра Великого, что-то вроде 17 футов, и число это сопоставлялось с каким-то числом из Апокалипсиса. Трудно найти лучшую пародию на писания Д. Мережковского, чем эта вполне искренняя и курьезная статейка; но все-таки, где же отражение в литературе взглядов Д. Мережковского? Читал я о том, что поэт Александр Блок стал было последователем Д. Мережковского, а потом... потом взял да и написал статью, что "Бог" и "Христос" в учении Д. Мережковского напоминают вывески "Какао" или "Угрин", которые назойливо лезут в глаза, когда вы смотрите в окно вагона, подъезжая к Петербургу... Были и еще такие же ученики и последователи у Д. Мережковского: подойдут, послушают, – и раньше или позже отшатнутся, точно в испуге. Что это значит? Отчего это?

Но оставим литературу. Быть может, в обществе, быть может, в народе

имеет Д. Мережковский свою паству? Я помню, как Д. Мережковский и г-жа З. Мережковская-Гиппиус когда-то ликовали по случаю того, что "народ" их понимает. Это было во время издания Нового Пути, во время собирания Д. Мережковским материалов для романа "Петр": господа Мережковские побывали в заволжских лесах, на Светлом Озере, вели разговоры с раскольниками и сектантами и были в восторге, что "народ" понимает то, чему враждебна "интеллигенция": разговоры о зверином числе 666, о скорой кончине мира и т. п.

В журналистике того времени, помню я, много иронизировали над приемами г-д Мережковских входить в общение с народом: на козлах их экипажа, пробиравшегося к Светлому Озеру, сидел урядник, а впереди расчищал дорогу и эскортировал их исправник... Так, по крайней мере, рассказала в своем напечатанном дневнике сама г-жа Мережковская-Гиппиус. Но, разумеется, раз и при таком эскорте народ их "понял", то тем убедительнее становится факт "понимания" народом Д. Мережковского. И не мудрено: это не какой-нибудь Успенский, Короленко, Златовратский, думавшие не о духе, а о брюхе народном! – так объясняла дело г-жа Мережковская-Гиппиус <sup>1)</sup>. И сам Д. Мережковский в статье "Революция и религия" (из книги "Le Tsar et la Revolution", Paris, 1907) присоединяется к такому толкованию: "с каким бесконечным и безнадежным усилием целые поколения русских интеллигентов хотели соединиться с народом, шли в народ, но какая-то стеклянная стена отделяла их от него. Нам незачем было идти к народу – он сам шел не к нам, а к нашему"... Конечно, Д. Мережковский чистосердечно не подозревает, что "стеклянная стена" искусственно создавалась свыше, что в 1905 году стена эта мгновенно растаяла, яко тает воск от лица огня...

Но не в этом дело. Мы знаем не только от г-д Мережковских, но и из других, более объективных источников (например, из книги М. Пришвина "У стен града невидимого"), что после нескольких дней пребывания Д. Мережковского в заволжских лесах ему действительно удалось завязать сношения с "народом", с группами сектантов и раскольников, преодолевших недоверие к уряднику и исправнику. Это так; но ведь это "хождение в народ" Д. Мережковского было мимолетно и продолжалось ровно два дня – 22-го и 23 июня 1902 года: эти исторические даты зафиксированы, занесены в дневник г-жей Мережковской-Гиппиус. Зато по возвращении в Петербург Д. Мережковский целые года, продолжительно, постоянно и упорно сходилась с такими же сектантами из "народа". И мы знаем, – в печати встречалось, – как отнеслись к Д. Мережковскому эти представители "народа": шалун! – вот что говорят они о нем, о его мучительных религиозных исканиях... Это-ли – понимание?

Но, быть может, наконец, в "обществе", в среде "интеллигенции", между "культурной публикой" имеет Д. Мережковский своих последователей и слушателей? Слушателей – да, быть может; но слушатели эти не могут быть последователями кого бы то ни было... Существует в Петербурге "Религиозно-философское Общество", руководящую роль в котором играет –

или, по крайней мере, играл – Д. Мережковский. Скучно и вяло проходят заседания этого Общества; но заседания эти вошли в моду, и в известном круге "принято" бывать на них. Всегда бросается в глаза группа модернистского вида дам и девиц и корректных кавалеров, которым "религия" так же интересна, как любая театральная премьера: интерес минуты, интерес моды. И если именно это – паства Д. Мережковского, то он поистине достоин величайшего сочувствия и сожаления. Если этот интеллигентский plebs, в былое время занимавшийся декадентством и модернизмом, а ныне решившийся "заняться" от скуки религией, – если этот духовный plebs и есть паства Д. Мережковского, то как же должен страдать этот проповедник при виде того, кто его слушает... Как! Четверть века проповедывать и видеть, что тебя слушает только толпа безнадежных мещан, духовно-мертвых людей! Да к тому же людей, которые завтра найдут себе более модное и "принятое" развлечение или прямо из заседания религиозно-философского Общества, после горячей речи Д. Мережковского, отправятся, быть может, в скеггинг-ринг<sup>2</sup>)...

Когда бываешь на этих заседаниях, когда слышишь речи Д. Мережковского, когда смотришь на окружающих, то невольно вспоминаешь небольшую сцену из романа Д. Мережковского, ту сцену, где Юлиан, после неудачного "вакхического шествия", обращается к народу с "философской проповедью": "Люди! Бог Дионис – великое начало свободы в ваших сердцах. Дионис расторгает все цепи земные, смеется над сильными, освобождает рабов... – Но он увидел на лицах такое недоумение, такую скуку, что слова замерли на губах его: в сердце подымалась смертельная тошнота и отвращение"... Знал ли Д. Мережковский, что это он писал о себе самом? Ведь это он устраивал когда-то неудачное "вакхическое шествие" во имя "красоты" ("Мы для новой красоты нарушаем все законы, преступаем все черты" – пел он в начале девяностых годов, восхваляя "пепел оскорбленных и потухших алтарей" – совсем а la Юлиан); ведь это он перешел потом к "философской проповеди", тоже совершенно в стиле Юлиана, поминая через два слова в третье об освобождающем Боге, Дионисе, Христе; ведь это его слушают с такою почему-то скукою (почему же?), что часто, надо думать, слова замирают на устах его, а в сердце поднимается тошнота и отвращение... Почему же именно его не слушают или слушают со скукой? Потому ли, что косная толпа всегда не понимает гения? Не по другой ли причине? Гений он, или что-нибудь другое? И что именно?

И еще, и еще вопросы. Что же все это значит? Чем все это объясняется? Пророк без последователей, пастырь без стада, – отчего, почему? Быть может, потому, что Д. Мережковский – вовсе не пророк? Но мало ли лжепророков ведут за собой многочисленных последователей? Почему же за Д. Мережковским не идет никто или почти никто? Никто, так как одно-два исключения еще больше подчеркивают ту пустыню, в которой немолчно "вопит" Д. Мережковский. Бесконечно корректный и бесконечно скучный Д. Философов, – ведь это, кажется, единственный глашатай, комментатор и популяризатор мнений и чувств Д. Мережковского. Затем – два-три человека,

ходячих пародиста, вроде автора ненамеренной пародии в "Белых ночах", затем еще, быть может, несколько человек, миру неведомых. Какая пустыня вокруг этого проповедника имени Божьего! Отчего, почему?

Когда-то на все эти вопросы пытался ответить В. Розанов в своей статье "Среди иноязычных" ("Мир Искусства", 1903 г., NoNo 7 – 8 и "Новый Путь", 1903 г., No 10). Д. Мережковский – иностранец в русском обществе, в русской литературе; среди них он – "среди иноязычных". Он пропитан весь мировой культурой (и это, конечно, справедливо); но темы его для русской "интеллигентской" литературы, его Христос, его Дионис – не нужны, бьют в пустоту... А потому и судьба его трагична – никому он не интересен, никто его не понимает, он погибает – и "являет вид того жалкого англичанина, который года три назад замерз на улицах Петербурга, не будучи в силах объяснить, кто он, *откуда*, и чего ему нужно" (курсив В. Розанова). Кое-что (что именно – мы еще увидим) здесь очень верно подмечено; но все-таки сущность дела лежит не в темах Д. Мережковского, а в нем самом.

В этой же статье указывалось, что вот-де в России Д. Мережковского не понимают, а из Австралии он получил восторженное письмо... Письма этого мы не знаем; но знаем зато другое письмо к Д. Мережковскому от некоего "студента-естественника" (напечатано в "Новом Пути" 1903 г., No 1, стр. 155 – 159). Это – любопытнейший документ для характеристики тех нескольких человек, которые шли за Д. Мережковским, этих наших русских "австралийцев"... Бедняга студент уверовал в мысль Д. Мережковского о том, что конец мира – близко уже, при дверях, что если не наше поколение, то следующее (так верит "студент-естественник") воочию узрит светопреставление. "Уже два года – восклицает он – я испытывал ни с чем несравнимое чувство: я ждал, кто заговорит. И вот *началось*: раздались трубные призывы"... Этот трубный призыв автор письма видит между прочим в книге Д. Мережковского "Л. Толстой и Достоевский", а посему, относясь с презрением к текущей общественной работе (и это в 1902 году!), студент деятельно готовится к концу мира, слыша "трубные призывы" Д. Мережковского: "мое письмо – это крик: мы слышим, мы готовимся!"<sup>3</sup>).

Бедный "студент-естественник"! бедный русский австралиец! Какие годы проспал он, в чайнии светопреставления!.. И как мало надо иметь последователей, чтобы подобный документ торопливо оглашать в печати: вот, дескать, и я не один! и у меня есть ученики, последователи... стадо! Но если даже таких австралийцев наберется и десяток, и другой, после тридцати лет литературной деятельности, то все же – какая пустыня, какое одиночество! И это сам он видит, сам сознает. В предисловии к первому тому собрания своих сочинений (1911 г.) Д. Мережковский говорит: "я не хочу последователей, учеников – слава Богу, у меня их нет и никогда, надеюсь, не будет. – я хотел бы только спутников"... И далее: "немного у меня читателей-спутников, но я не один"... Малым же он довольствуется! И какой это добросовестный самообман: у него нет учеников, последователей, – и ему кажется, что он и не хочет их!

В области литературно-художественной мы найдем полную аналогию всему тому, о чем говорили только что про область "религиозно-публицистическую" (ибо все "богоискательство" Д. Мережковского есть типичная религиозная публицистика). Вспомните: за тридцать лет деятельности Д. Мережковского сколько создано литературных школ, какой громадный шаг вперед в области разработки формы сделала русская литература. Что сделал в этой последней области Д. Мережковский – это мы еще увидим; но где же литературная школа? Как может ее не быть у такого крупного писателя? Д. Мережковский и в этой области одинок, – без учеников, без последователей. Правда, его называют родоначальником русского декадентства; но он был только теоретиком его. Где практика, где действенность? Четыре – пять томов стихотворений, в бледной массе которых тонут несколько прекрасных, но старых по форме и стилю произведений. Валерий Брюсов (первого, революционного периода), Бальмонт – создали школы, внесли новое в русскую поэзию; что же дал Д. Мережковский? Об его поэзии эпигоны русского символизма отзываются теперь, как об изложении мыслей "гладенькими, банальными строчками, причем вся поэзия от прикосновения благонамеренного поэта исчезает, как бес от ладана" (см. № 2 журнала Аполлон, 1911 г.).

Одним словом – всюду одно и то же: полное гнетущее одиночество. И притом не то одиночество, о котором говорил Пушкин: "ты царь – живи один". Хотя Д. Мережковского, как мы видели, и венчают на царство, однако царственное пушкинское одиночество никогда не было и не будет его уделом. Пушкин в тридцатых годах был одинок, так как никто или почти никто не понимал величайших произведений его поэзии – "Бориса Годунова", "Капитанской дочки". Его не ценили, не признавали, говорили об упадке его творчества. Д. Мережковский одинок не потому. Его ценят, признают (вот даже на царство венчают), на все европейские языки переводят, но тут же, оценив и признав, отходят от него подальше... Это уже не царственное одиночество, это какое-то проклятие, за что-то тяготеющее над этим крупным писателем. У него много читателей и нет приверженцев, много слушателей и нет последователей. Д. Мережковский, всю свою жизнь только и делавший, что собиравший стадо, он – пастырь без стада. Еще раз и в последний раз: отчего это? Почему? Где причина? В чем загадка?

Эту причину мы должны найти в собрании сочинений Д. Мережковского – не в том "полном собрании сочинений", которое вышло в издании т-ва Вольф и которое является очень неполным: в нем мы не найдем многого, очень существенного, выброшенного Д. Мережковским из первых изданий его книг (а выброшены иногда целые книги). Надо обратиться к четырем томам его стихотворений, к его романам, его критическим статьям: в собрании сочинений Д. Мережковского – ответ на все наши вопросы и недоумения. Если нам удастся верно определить "пафос", скрытый в этих двадцати томах – все станет понятным, необходимым, справедливым, все тайное станет явным...<sup>4)</sup>

## II.

Однажды смастерил Дьявол зеркало, и в зеркале этом все отражалось в искаженном, смешном и страшном виде. Слуги Дьявола захотели добраться с этим зеркалом до неба, чтобы посмеяться над Богом, но зеркало вырвалось у них из рук и разбилось на миллионы мельчайших осколков. Осколки эти до сих пор носятся по свету, иногда попадая людям в глаза или в сердце; у таких людей сердце превращается в кусок льда. Так случилось с мальчиком Каем – и его похитила Снежная Королева; он посинел, почернел от холода, но не замечал этого, – сердце его было куском льда. Кай живет в чертогах Снежной Королевы и играет плоскими остроконечными льдинками, складывая их на всевозможные лады. "Есть ведь такая игра, – складыванье фигур из деревянных дощечек, – которая называется "китайскою головоломкой". Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, но из льдин, и это называлось "ледяной игрой разума". В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первой важности... Он складывал из льдин целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, – слова вечность. Снежная Королева сказала Каю: Если ты сложишь это слово – будешь сам себе господином... Но он никак не мог его сложить. Он сидел один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало, и сидел бледный, неподвижный, словно неживой"...

Эту известную сказку Андерсена ("Снежная Королева") пересказывает в одной из своих книг Д. Мережковский, применяя сказку эту к Гоголю и заменяя слово "вечность", которого не мог сложить Кай, словами "вечная любовь", которую не удалось осуществить Гоголю. Интересно было бы знать, приходило ли в голову Д. Мережковскому, когда он сравнивал Гоголя с Каем, что сравнение это в тысячи и тысячи раз подходит ближе к нему, Д. Мережковскому, что это о нем самом *fabula narratur*, что следует ему на себя оборотиться? Поистине: сказку Климычу читают, а он украдкою кивает на Петра... Трудно человеку "познать самого себя"!

Но нам, со стороны, виднее; и в образе этого ледяного Кая мы можем представить себе в русской литературе только Д. Мережковского. Вот уже несколько десятилетий складывает он разные затейливые фигуры из льдин, и мы, читатели, видим перед собой Юлиана, Леонардо-да-Винчи, Петра – холодных, мертвых, неживых. Эта ледяная игра разума продолжается Д. Мережковским и в другой области – в области религиозных исканий, где он строит из льдин такие же затейливые фигуры: Царство Духа, Третий Завет, Религиозная Общественность. Все эти теоретические, холодные построения ему иной раз и удаются, но нет и не может быть духа жизни в этих ледяных формулах и фигурах. Целое учение, даже целые учения одно за другим может сложить Д. Мережковский из ледяных, холодных слов; одного только слова никак не может он сложить, – того слова, сложить которое ему особенно хотелось бы: Вечность – Вечная Любовь, по толкованию самого же Д. Мережковского. Он прекрасно знает, что стоит ему только сложить это слово, стоит только полнобить людей, – и он станет "сам себе господином", избавится от власти ледяных оков. Только подлинная горячая любовь к

людям могла бы растопить эти мертвые ледяные формулы и фигуры, прекратить эту холодную ледяную игру разума, в которой заключается все творчество Д. Мережковского. В сказке Андерсена ледяного Кая спасает великая любовь его маленькой подруги Герды: горячие слезы ее растопляют ледяное сердце Кая, и он становится живым человеком. Но в жизни бывает иначе: сам человек должен победить свое ледяное безразличие великой любовью; это не дано Д. Мережковскому, и сам он это знает и сознает. Людей, о которых он так хлопочет в своей ледяной игре разума, он не любит и никогда не любил.

Я хочу, но не в силах любить я людей:  
Я чужой среди них; сердцу ближе друзей –  
Звезды, небо, холодная, синяя даль...  
И мне страшно всю жизнь не любить никого.  
Неужели навек мое сердце мертво?  
Дай мне силу, Господь, моих братьев любить! (I, 21).

Как видите, сам Д. Мережковский хотел бы растопить эту ледяную кору, войти в жизнь, но дар жизни, как и пророческий дар, не берется. Правда, можно ненавидеть людей и быть живым человеком: вспомним Лермонтова, вспомним Байрона. Но, во-первых, только нравственно глухой, только душевно слепой может не заметить великой любви в великой ненависти Байрона или Лермонтова, а во-вторых, эти люди великого гнева не считали, не провозглашали себя проповедниками учения Христа. Именем Христовым, употребляемым всуе, пестрят все книги Д. Мережковского; но если Христос есть действительно Вечная Любовь, – то это именно то самое слово, которого не дано сложить Д. Мережковскому. Не любовь и не ненависть, а холодное безразличие к людям под маскою любви, – вот удел Д. Мережковского.

Так было с самого начала, так это продолжается и до сих пор, в течение тридцати лет литературной деятельности этого писателя. Характерно: еще в первом стихотворении первой книги Д. Мережковского мы находим настойчивые самоубеждения автора: "не презирай людей!.. Войди в толпу людей и оглянись вокруг!.. Сочувствуй горячо их радостям и бедам, узнай и полюби"... (I, 7). Но тут же поэт чувствует, что все эти самоубеждения бессильны, напрасны, тщетны, что не удастся ему взвинтить себя до пафоса любви к людям, любви к человеку. Любить "весь род людей во мгле веков" (I, 19) – это еще куда ни шло, да это и не трудно; но любить живого человека!.. И поэт откровенно сознается в своем бессилии:

Могу любить я все народы,  
Но людям нужно от меня,  
Чтобы в толпе их беспредельной  
Под небом пасмурного дня  
Любил я каждого отдельно, –  
И кто бы ни был предо мной,  
Ничтожный шут, или калека,  
Чтоб я нашел в нем человека...  
Не мне бессильною душой

Не мне принять с венцом терновым  
 Такое бремя тяжких уз.... (I, 20).

Приведенные стихотворения относятся к началу и середине восьмидесятых годов, и с тех пор вот уже тридцать лет повторяет Д. Мережковский эти мотивы с упорной безнадежностью. То он признается: "я людям чужд" и просит небо, чтобы оно дало ему быть "лучезарным, и бесстрастным, и всеобъемлющим"... (III, 23); то он заявляет: "полно мое сердце такого бесстрастья, что любить на земле никого не могу" (III, 70); то огорчается, что на земле "душа должна любить и покоряться вечно"; то мечтает, стоя на холодных альпийских вершинах: "о если б от людей уйти сюда навеки"... (III, 72); то еще раз сознается:

Пред собою лгать обидно:  
 Не люблю я никого... (III, 79);

то рассказывает нам, как даже в детстве "не людей бесконечной любовью – я Бога любил и себя, как одно" (IV, 69). Иногда он готов молить Бога о ниспослании ему этой любви к людям: "о, дай мне чистую любовь, о, дай мне слезы умиления!" (III, 44), но тут же он молится и о другом: "очисти душу мне от праха, избавь, о Боже, от любви!" (III, 38). И снова перед нами – заключительное сознание человека, лишённого способности любить людей и даже страдающего от этого:

О, если бы душа полна была любовью,  
 Как Бог мой на кресте – я умер бы любя.  
 Но ближних не люблю, как не люблю себя,  
 И все-таки порой исходит сердце кровью... (IV, 67).

Все это очень и очень верно. Вот только разве одно: кровью ли исходит сердце Д. Мережковского?

Христос, распятый на кресте, "прободен бысть" и истекал кровью; так истекает кровью сердце каждого, кто носит в душе великую любовь к людям и видит все горе человеческое, – и много на свете таких крестовых сестер и братьев. О, как хотел бы, наверное, Д. Мережковский приобщиться к этому человеческому страданию и тем самым подойти ко Христу, имя которого он может только употреблять всуе! Нет Христа там, где нет любви; и участь Д. Мережковского – истекать не кровью, а словами. В этом – трагедия всей его деятельности. И эта бесплодная слово-точивость, которою Д. Мережковский тщетно пытается "заговорить", обмануть сам себя – очень характерна для человека с оледеневшим сердцем: именно в такую форму "словоточивости" только и может вылиться мертвое мастерство ледяного Кая. Как говорит в романе Д. Мережковского римский эрудит Гаргилиан – "litterarum intemperantia laboramus"... Мы страдаем от словесной невоздержанности. Да, да, вот наше горе"... Опять спрошу: думал ли Д. Мережковский, что и здесь он говорит о самом себе? Быть может, думал, быть может сознавал; по крайней мере в одной из позднейших статей он чистосердечно признает: "мы все – эпигоны, последыши, александрийцы; слово для слова, а не для дела – вот наша бледная немочь" (XVIII, 22).



Да, Д. Мережковский несомненно страдает бледной немочью, "litterarum intemperantia"; да, он истекает не кровью, а словами. Недаром такое большое значение придает Д. Мережковский слову, быть может, бессознательно. Людей он не любит, но слова он любит, и не от понятия идет к слову, а от слова к понятию. И это крайне характерно. Первый, если не ошибаюсь, подметил это Михайловский, но отметил это только как курьезную частность, как "узор" письма, как "каламбурное мышление", т.-е. мышление по пути не логической и фактической связи между мыслями и фактами, а по пути звукового сходства между словами (Русское Богатство, 1902 г., No 9). Михайловский приводит много курьезных примеров; я остановлюсь только на одном, который уже не мог быть известен Михайловскому, – на пророческом фельетоне "Петербургу быть пусту"; здесь на протяжении двух-трех газетных полустолбцов мы находим яркий образчик каламбурного мышления Д. Мережковского, ассоциации мыслей по сходству слов.

Обращаясь к истории Петербурга, Д. Мережковский говорит, что "сооружение Петропавловской крепости стоило жизни 100 тысяч рабочих"; слово "стоило" сейчас же, по звуковой ассоциации, приводит Д. Мережковского к фразе какого-то врача, что "весь Петербург стоит на исполинском нужнике"... Отсюда переход, по той же ассоциации, к стиху Пушкина из "Медного Всадника":

Красуйся, град Петра, и стой  
Неколебимо, как Россия!

Прочитывая это, Д. Мережковский вспоминает о "Медном Всаднике" и приводит еще несколько стихов о Петре, который, как на памятнике Фальконета,

На высоте, уздой железной  
Россию вздернул на дыбы.

Последнее слово тотчас приводит ему на память, что "дыбой называлось орудие пытки", и что Петр "вздернул на дыбу" своего сына, царевича Алексея. Это в свою очередь наводит его на мысль о ненависти к Петру, о бедном герое поэмы Пушкина, пустившемся бежать от Медного Всадника; "бежать, как мыши от кота", – комментирует Д. Мережковский, и тут же, по богатой словесной ассоциации, вспоминает лубочную картинку "мышь кота хоронят". А это последнее слово переносит мысль Д. Мережковского к похоронам, к мертвецам, – и вдруг цитата из гоголевской "Шинели" о том, что "у Калинкина моста стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника". После этого – все образы и понятия, добытые путем звуковой ассоциации, соединяются в одно целое: "Навстречу Медному Всаднику несется Акакий Акакиевич", встают мертвецы, на чьих костях построен Петербург, окружают глыбу гранита с Медным Всадником, все это падает в бездну и – "Петербургу быть пусту"... Все это читатели могут найти на трех крошечных страничках книги Д. Мережковского (XVIII, 10 – 12), причем замечу, что мною еще пропущен целый ряд более мелких, промежуточных словесных ассоциаций!

Я взял очень резкий пример, но тысячи подобных можно указать по всех произведениях Д. Мережковского. И это крайне характерно: мы воочию видим процесс ледяной игры разума, складывания из льдин разнообразных фигурок. Слово само по себе – мертво; оно получает трепетание жизни только тогда, когда идет из глубины души человека. Когда из переживаний рождается связь слов, это – живой организм; когда из слов рождаются понятия, это – мертвая игра разума. Можно точить и обтачивать слова и быть великим воплощением жизни. Так Пушкин, набросав начерно вылившееся из души стихотворение, прилагал громадный труд, чтобы из живого, но еще бесформенного наброска создать соразмерное и по-прежнему живое творение; так А. Ремизов – чтобы взять современный пример – громадным трудом рождения, собирания и вытачивания слов достигает вершин поэтического творчества. Но можно также вытачивать слово за словом, фразу за фразой и сделать красивую вещь, не заботясь о духе жизни. И эта способность тоже не всякому дана; это особый дар не творчества, а мастерства. Творчество всегда исполнено трепетом жизни; мастерство же, идущее от слов к понятиям, всегда может быть только мертвым. Но и в этой области мертвого мастерства могут быть разные степени дарования; Д. Мережковский в этом смысле принадлежит к достаточно крупным мастерам. Он не художник, ибо всякий художник есть творец, ибо над всяким милостию Божией художником веет дух жизни; но в своем мертвом мастерстве Д. Мережковский достиг значительного искусства. Читая его "трилогию", ясно видишь, как искусно обтачивается и прикладывается льдинка к льдинке, как соразмерно проявляются антитезы лиц и положений, как из всего этого возникает если не живая красота, то по крайней мере мертвая красивость.

"Каламбурное мышление" с одной стороны, "власть слова" – с другой: на них построено все мастерство Д. Мережковского. Приводить примеры было бы и скучно, и утомительно, и бесполезно: достаточно указать на власть слова – власть цитат над этим писателем. Вечные, бесконечные цитаты! Не он ими, а они им владеют. Интересно было бы подсчитать (громадный труд!), сколько раз герои Д. Мережковского – т.-е. он сам – сколько раз они "вспоминают" по любому мелкому поводу чужие слова, цитаты, евангельские тексты и т. д. Если хотите видеть типичный пример – просмотрите последние страницы четвертой главы девятой книги "Петра и Алексея": там автор, спрятавшись за манекенного Тихона, вспоминает, не давая бедному читателю ни отдыха, ни сроку, целый ряд цитат из Ньютона, из Брюса, из Писания, из Леонардо-да-Винчи – и все это связано словесными ассоциациями, шито белыми нитками каламбурного мышления. И таких примеров десятки, сотни! Другой пример той же "власти слова" над Д. Мережковским: типичные для него "обращенные фразы" – обращенные ксаты и нексаты. Святая плоть – бесплотная святость" одухотворение плоти – воплощение духа; бесплотная духовность – бездушная святость; воплощаемый Бог – обожествляемая плоть: умерщвленная плоть – мертвая плотскость: какая поистине это ледяная игра разума! Из двух-трех льдинок складывает холодный Кай все те же, все те же слова – и никак не

может только сложить самого простого: любовь к людям. И это без конца, без предела, настойчиво, холодно, утомительно. Так и мелькают на страницах "преступная мученица" и "добродетельный палач", "раздвоенное сознание" и "бессознательное раздвоение", "неразумный Бог" и "безбожный разум"; или: "начали богословием, кончили сквернословием", "начали гладью, кончили гадью". Или еще сложнее: "у Л. Толстого мы слышим, потому что видим: у Достоевского мы видим, потому что слышим"; "потому ли он ни на кого не похож, что болен, или потому болен, что не похож ни на кого?" И так далее, и так далее, без перерывов, без конца, строго следуя знаменитой формуле:

Горе мое от запоя,  
Или от горя запой?

Мог ли ожидать автор этих пресловутых строк, что сущность их ляжет некогда в основу литературного метода Д. Мережковского?

Но почему же, однако, если Д. Мережковский так любит слово, почему оно не живет в его мастерстве, почему он не творец, а мастер, не поэт, а стихослагатель? Внутренняя причина этого лежит глубоко – в самом существе, самой сущности этого писателя (о чем у нас еще будет речь); но достаточно уже ознакомиться с четырьмя томами его стихотворений, чтобы убедиться в "бледной немочи" Д. Мережковского. Прежде всего, слушая слова Д. Мережковского, не всегда можешь поверить его чувству. Мне всегда вспоминается, как, произнося свою статью о Тургеневе на вечере, посвященном его памяти, Д. Мережковский прочел по тетрадке: "у меня сейчас такое чувство, как будто И. С. Тургенев, которого кое-кто из пришедших на эти поминки знал при жизни – ... у меня, говорю я, такое чувство, как будто он присутствует здесь, видит и слышит нас"... (XVIII, 197). Вот вам "экспромт", тщательно заготовленный дома! Как же после этого верить во все слова Д. Мережковского?

Другая причина бессилия его поэтического слова – еще важнее. У него нет своего эпитета. В стихах его поражает прежде всего обилие эпитета пушкинского, намеренная подражательность, заимствование. Так и рябит в глазах: "безмолвная печаль", "медлительная ночь", "безумная надежда", "пленительный смех", "багряная листва", "поэтов ветренное племя", "стих унылый", "веселье прежнего напева", "Нева, закованная в гранит", "вдоль сумрачной Фонтанки влчатся медленные санки", "царственная Нева", "увлекательный обман", "печальная суровость", "обвив его руками, еще холодными устами припала к трепетным устам" – и снова, и снова, еще и еще: "дым багровый", "свободный ум", "младенческая радость", "буйная радость", "беспечная улыбка", "беспечная нега", "пленительная грусть", "сень дубрав пустынных"... В автобиографических "Старинных октавах" Д. Мережковский рассказывает о том, как в детстве начал он писать "глупые стихи", которые казались ему "пределом совершенства", и прибавляет: "я Пушкину бесстыдно подражал". Как видим теперь, он мог бы повторить это и о позднейших своих стихотворениях, пронизанных пушкинизмами. Не говорю уже о прямых списываниях с Пушкина (например, в тех же "Старинных октавах" вторая строфа первой песни и сто одиннадцатая строфа второй).

Все это было бы вполне допустимо, если кроме этих пушкинизмов у Д. Мережковского был бы также и свой эпитет. Но его нет. Кроме Пушкина, встречаешь в стихах Д. Мережковского многих других поэтов (например, Лермонтова: "недремлющие думы", "угрюмый жребий", "холодный ум"), а затем – буквально тонешь в море шаблонных и бесцветных эпитетов, ходячей пошлости, прозаизма. На каждой странице вы найдете что-либо вроде "жгучего стыда", "жгучего сомнения", "жгучей тоски", "упоительных грез", "восторженных слез", "пламенных клятв", "роковой любви", "необъятного простора благовонных лугов", "горького предчувствия", "безумного ужаса", "вечной лазури", "мучительной борьбы", "упоительного отдыха" (и это – в стихотворении "Если розы тихо осыпаются", которое считается одним из лучших в поэзии Д. Мережковского!)... Я мог бы еще удесятить эти примеры, взятые на-удачу, привести еще разные "бледные цветы воспоминаний", "сладкие волнения", "сладкие тайны" и так далее, и так далее, – но и приведенного уже достаточно. Можно только прибавить, пожалуй, еще эпитет "таинственный", который прилагается Д. Мережковским решительно ко всему, чему угодно. На страницах его стихотворений пестрят "таинственные огни", "таинственные мечты", "таинственные жужжания", "таинственные кручины", "таинственные лампы", "таинственные печали", "таинственные леса", "таинственные закаты", "таинственный ил в пруду", "таинственное горение елки", "таинственные приговоры"... Я не берусь перечислить все те имена и предметы, которые квалифицируются Д. Мережковским, как "таинственные": кроме перечисленных, здесь еще даль, гармония, храм, мгла, думы, голос, пророчество, привет, огонь, пучина, прелесть – и все, что вам угодно. Это симптоматично. Д. Мережковский думает, что, приставляя куда ни попало слово "таинственный", он действительно говорит о таинственном. Да, он говорит – но и только; а ведь задача художника и поэта – заразить, внушить, а не только отделаться словом.

Возвращаюсь, однако, к отсутствию эпитета, к его шаблонности у Д. Мережковского: этот вопрос значительнее, чем кажется с первого взгляда. И в доказательство этого позволяю себе привести слова одного писателя, с которыми, в их применении к Д. Мережковскому, я согласен, от буквы до буквы.

"...Где бы я ни открыл книгу, мелькают все те же цветы красноречия, подобные цветам провинциальных обоев. Не живые сочетания, а мертвая пыль слов, книжный сор. Слова, налитые не огнем и кровью, а типографскими чернилами (подчеркнуто мною. Как все это верно!). Я знаю, что значит: "огурец соленный", "стол круглый", но что значит: "мучительные воспоминания", "жгучая тоска" – я не то что не знаю, а знать, не хочу, как не хочу знать, что опротивевшие обойные цветочки имеют притязание на сходство с полевыми васильками и маками: мало ли чего хотел обойный фабрикант, да моя-то душа этого не хочет. (Кроме "мучительной тоски" и "жгучих воспоминаний", просмотрите еще раз целый ряд подобных обычных эпитетов Д. Мережковского, приведенных страницей выше). – Существует два рода писателей: одни пользуются словами, как ходячей монетой – стертыми пятиалтынными; другие – чеканят слова, как монету, выбивая на

каждом свое лицо, так что сразу видно, чье слово: кесарево – кесарю. Для одних слова, – условные знаки, как бы сигналы на железнодорожных семафорах; для других – знамения, чудеса, магия, "духовные тела" предметов; для одних слово стало механикой; для других – "слово стало плотью". Д. Мережковский, если не везде, то больше всего там, где старается быть художником, принадлежит к первому роду писателей. – Мне могут возразить, что все это мелочи; но ведь достаточно опустить палец в воду и попробовать на язык, чтобы узнать, какая вода – пресная или соленая; достаточно сделать химический анализ капли крови, чтобы узнать, какою болезнью заражено тело. Каковы слова, таковы и мысли".

Этот отрывок принадлежит – знаете, кому? – Д.Мережковскому. Так он характеризует Л. Андреева (XVII, 6 – 7). И в который это уже раз он, думая, что говорит о других, говорит о себе! "Слова, налитые не огнем и кровью, а типографскими чернилами" – лучше этого о Д. Мережковском никто никогда не говорил. И если я так долго останавливаюсь, на словах Д. Мережковского, то именно потому, что каковы слова, таковы и мысли. каковы слова, таковы и чувства. И если слишком очевидно, что слова Д. Мережковского являются только наглядным проявлением его "бледной немочи", то этой же болезнью, несомненно, заражены и его мысли, и его чувства. Но что же это за болезнь?

Надо, впрочем, оговориться: есть один эпитет, который принадлежит самому Д. Мережковскому и встречается у него в разных комбинациях. "Мертвенные очи"; "мертвенное небо"; "мертвенный сон"; или, несколько иначе – "мертвая скука", "могильная красота". Это у него свое, не заимствованное, внутреннее... И это очень характерно.

### III.

Внимательный анализ такой "мелочи", как эпитет в стихах Д. Мережковского, избавляет нас от необходимости разбора внешней стороны других его художественных произведений. Ведь "стих" – это именно то, в чем должна проявиться в насыщенном виде вся художественная сила писателя, ведь "стих" это – кристаллизованный стиль. И о чем же говорить дальше, если эпитет, стержень внутренней силы стиха, является таким бесцветным и мертвенным, как в стихах Д.Мережковского? О внешней форме его стиха я уже и не говорю: бессилие Д. Мережковского в этой области слишком общеизвестно. В избранном томе своих стихов, которые только и известны читающей публике, есть несколько счастливых исключений, как и всегда, еще более подтверждающих правило; но вряд ли многие знают, что Д. Мережковский мог быть автором таких, например, поистине ужасных рифмованных строк:

Нам, наконец, чувствительная ложь  
И Надсону плохие подражанья  
Наскучили. Как Надсон ни хорош,  
А с ним одним недалеко уйдешь.  
Порой стихи у нас по форме дивны,  
Но, все-таки, мы слишком субъективны... (II, 104).

Вот уже пример от противного: очень "не-дивные" по форме стихи... И таких не оберешься. Говорить к тому же об однообразии размера, о бедности рифмы – не приходится: незачем ломиться в открытую дверь. Курьеза ради можно только заметить, что автор подобных стихов боялся нападения критики "за смелость рифм"! (см. II, 129). Или вот в другом роде: многим ли известно, что Д. Мережковский мог петь фальцетом такие невозможные вещи, справедливо переложенные впоследствии на "цыганскую" музыку:

Голубка моя,  
 Умчимся в края,  
 Где все, как и ты, совершенство,  
 И будем мы там  
 Делить пополам  
 И жизнь, и любовь, и блаженство... (I, 150).

И это – "отец русского декадентства"! Но я уже сказал, что "отцом" он никогда не был (чтобы быть "отцом", надо быть творцом), а был только теоретиком "нового искусства" девяностых годов. И когда он теоретически верно определял элементы этого нового течения, как "мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности" (V, 43), то практикой своей он не мог подтвердить этой теории: в его мастерстве вместо мистического содержания были только мистические слова ("таинственный", "святой"), вместо символов – словесные антитезы, "мертвые аллегории" (его же выражение – см. V, 47), а расширение художественной впечатлительности убивали шаблонные и мертвые эпитеты. По-видимому, и сам он скоро это понял, и от внутренне-живой "лирики", ему недоступной, наметил переход к доступному ему "эпосу":

О, светлого искусства торжество,  
 Привет тебе, эпическая муза!  
 Твои жрецы – титаны... Ничего  
 Не может быть желанней твоего  
 Спокойного и верного союза.  
 Пускай шумит лирический поток, –  
 Ты, эпос, тих, и вечен, и глубок! (II, 106).

Так перешел Д. Мережковский к романам. В лирике он был неудачным любовником слова, в эпосе он вышел на свою дорогу. Исторический роман позволил ему применить к делу глубокую свою "культурность", позволил ввести в дело артиллерию цитат, чужих слов, бытовых и исторических подробностей, бесконечной массы "вещей". Ему хотелось, чтобы для него слово было "духовным телом" вещи – мы слышали уже об этом подлинными его выражения; ему хотелось бы уметь перейти (так он характеризует творчество Л. Толстого) "от видимого к невидимому, от внешнего – к внутреннему, от телесного – к духовному". Этого достичь ему опять-таки не дано, и мы снова можем сказать про него словами одного писателя: "так называемые вещи, смиренные и безмолвные спутники человеческой жизни, неодушевленные, но легко одушевляющиеся, отражающие образ

человеческий, у Д. Мережковского не живут, не действуют". Ну, конечно, это слова опять самого Д. Мережковского (о Л. Толстом), но мы к этому вечному qui-pro-quo в суждениях Д. Мережковского уже привыкли... "Вещи" в романах этого писателя остаются мертвыми, ибо только подлинное творчество может вдохнуть душу живую в неодоушленное: мастерству Д. Мережковского это не дано. Но зато подлинно с большим мастерством умеет он использовать ту массу исторического материала, из которого создает свои эпические повествования. Так с вещами, так и с людьми. Возсоздать живой образ может только творец, художник; Д. Мережковский, подобно Сальери, может только "разъять, как труп" историческое лицо и с кропотливым мастерством начать прикладывать льдинку к льдинке, цитату к цитате, историческую фразу к фразе. И это, повторяю, делает он подлинно с большим мастерством.

Стиль его, слог, эпитеты – не стали более выработанными; но умение интересно вести диалог, варьировать эпизодами фабулу – делают его романы, выражаясь литературским воляпюком, вполне "читабельными"; красивость мастерства этих романов находится вне всякого сомнения: подобно Сальери, он "в искусстве безграничном достигнул степени высокой". И слава ему улыбнулась – уже до царской мантии дело дошло. Но удалось ли ему достигнуть и в романах своих того, чего он так желал: достичь магии слов, воплощения их, чеканить их, как монету, выбивая на каждом свое лицо, чтобы сразу видно было, чье это слово? Нет, этого "ex ungue leonem" ему не дано достигнуть. Правда, открыв иной раз незнакомую книгу и встретив несколько раз на одной странице "обращенные фразы" по формуле "горе мое от запоя, или от горя запой" – легко догадываешься, что это книга Д. Мережковского: но разве же это львиные когти? Не по другому ли признаку узнаем мы здесь писателя?

Эти обращенные фразы, антитезы – тоже не мелочь: они составляют стержень мастерства Д. Мережковского, самую сущность его. Вечная тема его – раздвоение: в своих последних пределах раздвоение это является раздвоением Христа и Антихриста – так и озаглавлена его трилогия. Но всякое раздвоение есть распадение, всякое распадение есть смерть. Задачей Д. Мережковского и является преодоление смерти, приведение распада, раздвоения к высшему единству; но этот высший синтез неизбежно оказывается у Д. Мережковского только словом, налитым типографскими чернилами, только условным знаком, сигналом на железнодорожных семафорах. Антитеза вместо синтеза, которого он дать не может.

Антитеза, повторяю – главный, если не единственный прием Д. Мережковского для выяснения лица его героев, для построения самого хода его романов, для определения самого количества действующих лиц. Если одна дочь жреца Олимпиодора – красавица язычница Амариллис, то другая, Психея, – бледная, больная христианка. Одной такой антитезы ему мало; он выводит на сцену в том же романе и другую такую же персонафицированную антитезу (Арсиноя и Мирра). Видения Юлиана построены строго по антитетическому методу. Если Леонардо строит "птицу", то непременно живая ласточка попадет, как в западно, в крыло летательного

аппарата и запугается "в сетке веревочных сухожилий своими маленькими живыми крыльями". В чертежах Леонардо план дома терпимости рядом с рисунком мавзолея для богов: раздвоение души человеческой, две "антитетические бездны" ее. Покинув неоконченный рисунок Девы Марии, Леонардо срисовывает "мерзостные рожи" уродов "тем самым карандашом, с тою же любовью". Рисунок головы апостола Иоанна он покидает для исследования мушиных лапок: "антитетическая широта" души человеческой. Леонардо идет писать "Тайную Вечерю" и по дороге останавливается полюбоваться на то, как паук сосет муху. Петр после бурного заседания в сенате едет на шутовские похороны царского карлика; вытачивая за токарным станком паникадило в Петропавловский собор, Петр тут же вытачивает Вакха с виноградной гроздьёю. Такими внешними антитезами переполнена вся "Трилогия" Д. Мережковского; но эти строго-размеренные противопоставления остаются чисто-словесными. "Раздвоение" – это общее место всех героев Д. Мережковского, а также и решительно всех, о ком бы он ни писал: Л. Толстого, Достоевского, Гоголя, Лермонтова и Герцена ("трагедия Герцена – в раздвоении", см. XIII, 19); у всех его героев – "двоящиеся мысли", и все они молятся, подобно Д. Мережковскому: "Господи, спаси меня, избавь от этих двоящихся мыслей! Не хочу я двух чаш! Единой чаши Твоей, единой истины Твоей жаждет душа моя, Господи!".

Но все это – сплошное недоразумение. Никаких "двоящихся мыслей" нет ни у Д. Мережковского, ни у его героев: у них есть только простые рассудочные противопоставления, примеры которых мы только что видели. Если одно действие романа Д. Мережковского происходит в подвале, то другое, соседнее – конечно, на шпиге башни (см. VIII, книга V, главы III и IV); это характерно для Д. Мережковского, без этого он не был бы самим собою. Такое же рассудочное противопоставление может он показать нам и в душах своих героев. Но и души-то у них нет; все они – только ходячие соединения двух противопоставленных мыслей, двух противоположных слов, все они – только ходячие антитезы.

Добрая фея дала однажды двум детям волшебный алмаз, один поворот которого превращал все мертвое в живое; и дети увидели души животных, души деревьев, души воды, огня, хлеба. Так рассказывает Метерлинк в своей "Синей птице". С Д. Мережковским случилось обратное: какая-то злая фея дала писателю волшебное перо, от прикосновения которого все живое обращается в мертвое. Возьмите самых различных героев Д. Мережковского и посмотрите, во что превратил он их в своем мертвом царстве. Леонардо-да-Винчи, протопоп Аввакум, Петр Великий, Франциск Ассизский, – какие все это разные, непохожие, живые люди – и в какие мертвые фигуры превратились они под пером Д. Мережковского! Если хотите убедиться в этом, прочтите хотя бы подлинное "Житие" протопопа Аввакума и рифмованный пересказ этого "Жития" Д. Мережковским; здесь даже и словесного мастерства нет, – просто вялые рифмованные строки, из-за которых глядит на нас не вечно мятущийся протопоп, а какая-то восковая двигающаяся фигура. И что интересно, почти все изблюбленные герои



Д. Мережковского – вечно-мятущиеся, по контрасту с ним, вечно живые, исполненные духа жизни. Протопоп Аввакум, Леонардо-да-Винчи, Петр, – много ли на свете людей с таким вечным кипением жизни? И вспомните Петра или Леонардо под пером Д. Мережковского, с их строго-размеренными "антитетическими" поступками, действиями и душевными движениями.

Прочтя три кирпичеобразных романа Д. Мережковского, тщательно стараясь потом вспомнить лицо всех его антитетических героев: они без лица, они все на одно лицо. При описании "обстановки", Д. Мережковский, подавленный обилием материала, нагромождает вещи на вещи, предметы на предметы – и в результате перед нами незапоминаемое общее место, пустота: точно так же и при описании лица, он дает нам такую нагроможденность черт, что в результате перед нами только безличность. Какая разница, например, с Л. Толстым, который одной-двумя чертами обрисовывал незабываемо и внешность и душу героя! А вот как рисует нам своих героев Д. Мережковский – например, мону Кассандру в "Леонардо-да-Винчи":

"У нее было лицо, чуждое печали и радости, неподвижное, как у древних изваяний, – широкий, низкий лоб, прямые, тонкие брови, строго-сжатые губы, на которых нельзя было представить себе улыбки, – и глаза, как янтарь, прозрачно-желтые... Лицо это, особенно нижняя часть, слишком узкая, маленькая, с нижнею губою, немного выдававшейся вперед, – выражало суровое спокойствие и в то же время детскую беспомощность. Сухие, пушистые волосы, живые, живее всего лица, точно обладавшие отдельную жизнь, как змеи Медузы, окружали бледное лицо черным ореолом, от которого казалось оно еще бледнее и неподвижнее, алые губы ярче, желтые глаза прозрачнее..."

Попробуйте увидеть за этим нагромождением черт – живого человека; попробуйте вспомнить лицо моны Кассандры через пять минут после того, как вы прочли это слишком подробное описание! Невозможность этого доходит иногда до такой степени, что начинаешь путаться в этом лабиринте действующих лиц, как среди шпалер одинаково подстриженных деревьев. Попробуйте различить, например, в "Петре" – Феофана и Федоску! И когда читаешь протоколы-описания лиц в романах Д. Мережковского – вроде только что приведенного выше – то невольно приходит на память рецепт приготовления портрета, приводимый из средневекового русского "Иконописного Подлинника" самим же Д. Мережковским: "Богородица – росту среднего, вид лица ее, как вид зерна пшеничного; волоса желтого; острых очей, в них же зрачки, подобные плоду маслины; брови наклоненные, изрядно черные; нос не краток; уста, как цвет розы, – сладковесия исполнены; лицо не кругло, ни остро, но мало продолжено; персты же богоприимных рук ее тонкостью источены были; весьма проста, никакой мягкости не имела, но смирение совершенное являла; одежду носила темную"... Разве это не похоже на нагроможденные, но мало говорящие описания Д. Мережковским лиц его героев?

Герои без лица, герои без души, ходячие антитезы, персонифицированные рассудочные противопоставления, без всякой надежды на возможность

"высшего единства". Их раздвоение, их распадение лежит в самом Д. Мережковском, который вечно пытается перепрыгнуть от "бездны верхней" к "бездне нижней" и построить между ними словесный мост. Он восхищается словами Леонардо, что "арка есть сила, рождаемая двумя соединенными и противоположными слабостями", но именно и не может он перебросить арку через свои рассудочные противопоставления: две "слабости" у него есть, но соединяющая их "сила" у него не рождается, ибо для него дуализм – это только два слова, которые надо заменить третьим словом. Тщетно он углубляет две свои "противоположные крайности", обостряет их, преувеличивает, заполняет ими все свое мастерство – антитезы остаются чисто словесными, раздвоение остается непреодоленным.

И опять-таки никто лучше самого Д. Мережковского не охарактеризовал "антитетическую сущность" его мастерства. Вот как ученик Леонардо-да-Винчи определяет творчество своего учителя: "Все с природы списано – каждая морщинка в лицах, каждая складка на скатерти. Но духа живого нет. Бога нет и не будет. Все мертво – внутри, в сердце мертво! Ты только взглядишь, какая геометрическая правильность... Геометрия, вместо вдохновения; математика, вместо красоты! Все обдуманно, рассчитано, изжевано разумом до тошноты, испытано до отвращения, взвешено на весах, измерено циркулем..." Конечно, это не Леонардо-да-Винчи, – это сам Д. Мережковский собственной персоной, это о себе говорит он, о своих мертвых схемах по гегелианской триаде. Пусть схемы неизбежны, неизбежны хотя бы по одному тому, что всякое познание есть схематизация по линиям причинности и целесообразности: но схемы всегда должны обростать плотью – особенно в искусстве. И этого нет у Д. Мережковского.

В тщетной погоне за этим, не дающимся ему в руки, даром жизни. Д. Мережковский хватается за "обострение крайностей", за углубление и нагромождение антитез, за всяческого рода "черезмерности". Это стремление обострить, преувеличить – является очень характерным для всей литературной деятельности Д. Мережковского: рядом с "антитетичностью" вырисовывается и непосредственно связанная с нею гиперболичность его мастерства. На этом характерном свойстве Д. Мережковского следует тоже остановиться внимательно.

Д. Мережковский всю жизнь свою стремился убежать от "середины", от мещанской узости, плоскости и безличности. В "серединности" он, как известно, увидел "чорта небытия" и, чтобы избавиться от него (а небытия он страшится больше всего на свете), Д. Мережковский поспешил к концам и началам. Так он и к вере в конец мира пришел. Конец русской литературы, конец истории, конец мира – все это одно время проповедывал и исповедывал он с полной серьезностью. Еще раньше он думал войти в жизнь через декадентскую "черезмерность", он думал, что преодолет "чорта небытия", серединности, мещанства, если будет воспевать крайности, восклицая:

...дерзай,

И все преграды, все законы

С невинным смехом нарушай!

Или:

Мы для новой красоты.  
Нарушаем все законы  
Преступаем все черты!

Или еще:

Люблю я зло, люблю я грех,  
Люблю я дерзость преступленья! (III, 5, 19, 44).

Он пугает, а нам не страшно: под маской из слов мы различаем середину, стремящуюся быть крайностью. Усиленная "черезмерность", в чем бы она ни проявлялась, свидетельствует о "небытии" в еще большей степени, чем "серединность". А эта нарочитая черезмерность, нарочитая гиперболичность проходит через все писания Д. Мережковского, от начала и до конца.

Какое отсутствие чувства меры во всех романах этого писателя! Какая нагроможденность! Какие натяжки и преувеличения! Самый маленький художник, не обладающий и сотой долей мастерства Д. Мережковского, никогда не позволил бы себе такого невыносимо-фальшивого эффекта, как последняя встреча Юлиана с Арсиной: такого бесвкусия, как километрические разговоры Юлиана с Ямвликом и других героев между собою (томительная первая часть "Обрыва" Гончарова оказала несомненное влияние на диалог в романах Д. Мережковского). Совершенно невероятно в устах старца-пустынника Памвы, просидевшего десятки лет в глубине какого-то колодца в далекой пустыне Малой Азии и только-что пришедшего в город, следующие речи к язычникам: "довольно нам одной томной ночи и двух-трех факелов, чтоб отомстить!.. Мы – всюду, мы – среди вас, бесчисленные, неуловимые! Нет у нас границ, нет отечества; мы признаем одну республику – вселенную! Мы – вчерашние, и уже наполняем мир..." – и так далее, целых две страницы. Но это еще что: девочка Мирра, за десять столетий до Д. Мережковского, буквально превосхищает его слова и его мысли – убедитесь в этом сами, просмотрев девятнадцатую главу первой части "Юлиана". Особенно поразительны в этом отношении две последних сцены из "Петра", когда Д. Мережковский заставляет с одной стороны Тихона, с другой стороны царевича Алексея "узреть" в разное время и в разном месте одного и того же седенького старичка (взятого на прокат из видения Алеши в "Братьях Карамазовых"): старичек этот оказывается Иоанном сыном Громовым и проповедует Тихону, текстуально и дословно, все учение Д. Мережковского (заимствованное им из романов Гюисманса) о трех Заветах... Когда Анна Каренина и Вронский видят одновременно почти одинаковый сон – мы не только верим этому, мы знаем, что не могло быть иначе: так убедительно и ярко вскрыл перед нами художник неизбежную здесь созвучность напряженных душ Вронского и Карениной. Но когда Д. Мережковский заставляет нас верить на-слово, что заимствованный старичек обращается с одинаковыми словами, взятыми из сочинений Д. Мережковского, к двум героям его романа – мы не только не верим, мы смеемся, видя в этом только бессилие и произвол мертвого мастерства.

## IV.

И такими "черезмерностями", доходящими до смехотворности, переполнены не только романы Д. Мережковского. Тонкие критические сопоставления и замечания Д. Мережковского бесспорны: но я затруднился бы сказать, чего больше – их или совершенно невероятных и бесвкусных критических суждений и совершенно голословных, невероятнейших утверждений в книгах этого писателя. Если бы я захотел собрать все подобные примеры – пришлось бы написать целую книгу; ограничусь первыми попавшимися под руку из одного только "исследования" Д. Мережковского о Толстом и Достоевском.

Начинается с первых же страниц: "все будущее не только русской; но и всемирной культуры" зависит от вопроса – ...победил ли Нитцше Богочеловека, а Достоевский – Человекобога (конечно, и тут словесная антитеза). "Если в наше время люди боятся смерти с такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало" – то этим они "в значительной мере обязаны Л. Толстому" (интересное субъективное признание о страхе смерти). Когда в "Идиоте" Достоевского Ипполит видит сон, что собака его, Норма, бросается на какую-то кошмарную ядовитую гадину, а та жалит собаку в язык – то не все бред в этом бреду: "здесь решается какая-то наша собственная, реальная, хотя и премирная судьба..." Когда чорт говорит Ивану Карамазову: "все, что у вас есть, есть и у нас" – то подобные же "нуменные мысли должны были смущать... Канта, когда обдумывал он свою трансцендентальную эстетику" (?! – разве же это не прелестно?). Отлучение Л. Толстого от церкви Синодом в 1901 году есть глубоко положительное явление и "имеет огромное и едва ли даже сейчас вполне оцененное значение: это ведь в сущности первое, уже не созерцательное, а действенное и сколь глубокое, историческое соприкосновение русской церкви с русскою литературою пред лицом всего народа, всего мира"... Наполеон всей своей жизнью потряс "глубочайшие основы всей христианской и до-христианской нравственности" (почему Наполеон, а не Лжедмитрий, не Тимур и не кто-нибудь третий или сотый?). "Анархизм – есть ужасное русское слово, русский ответ на вопрос западно-европейской культуры. Этого мы не заимствовали у Европы, это мы дали Европе. Россия впервые договорилась здесь то, чего не смела сказать Европа" (какой вздор!). Написанное Л. Толстым о православной церкви – "самые позорные страницы русской литературы"; когда дописывалось "Воскресение" – для Л. Толстого "окончательно все рухнуло, так что уже и поднять нельзя". Л. Толстой и Нитцше боялись друг друга: "другим и себе казались они дерзновенными; но для этой беседы (между собою) не хватило у них дерзновения: каждый из них боялся другого, как двойника своего..." Нитцше притворялся, что не знает Христа, и хотя он и скрыл эту тайну свою от себя самого, то все же – не от Д. Мережковского: он был "невольным учителем" второго пришествия Христа на землю...

Я перечитывал книгу Д. Мережковского о "Л. Толстом и Достоевском" и брал буквально первые попадавшиеся на глаза примеры, брал не исключения,

а типичные фразы. Если когда-нибудь это произведение Д. Мережковского будет подвергнуто детальной критике, то окажется, что "черезмерность" – его общее место, что подобных произвольных утверждений в ней столько же, сколько страниц. Еще один пример: Д. Мережковский утверждает, слепо повторяя мнение Тургенева, что в "Войне и Мире" слаба историческая сторона, что (это уже продолжает Д. Мережковский) "поразительна скудость не только исторической, но и вообще культурно-бытовой окраски в его произведениях", что на всем протяжении "Войны и Мира" встречается только одно упоминание о домашней обстановке русского вельможи александровского времени. Это достаточно определенно сказано – по-видимому, человек знает, что говорит. Однако такое категорическое и мало вероятное утверждение оказывается сущим вздором при ближайшей проверке: доказательства этого читатель может найти в статье "Историческая сторона романа "Война и Мир" (А. Бороздина. – см. "Минувшие годы" 1908 г., No 10). Но если на каждое голословное утверждение Д. Мережковского писать опровержительную статью, то ведь, пожалуй, может произойти целый литературный потоп! Тогда, пожалуй, и свершится предсказание Д. Мережковского о "конце русской литературы"...

Во избежание этого можно только посоветовать читателям крайне осторожно относиться и к утверждениям, и к цитатам Д. Мережковского. Если он утверждает, что еще Достоевский свидетельствовал "об отпадении Л. Толстого от русского всеобщего и великого дела, то-есть от исторического народного христианства" – то не торопитесь верить объяснительному "то-есть" Д. Мережковского: при проверке окажется, что Достоевский говорил здесь вовсе не об историческом народном христианстве, а о турецкой войне и освобождении славян. Если вы услышите, что, приводя слова Ивана Карамазова: "не хочу я, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына", Д. Мережковский комментирует: "здесь, конечно (!) разумеет он Великую Матерь, упование рода человеческого" – не верьте: ибо Иван Карамазов решительно ничего подобного не имеет в виду. Если вы прочтете у Д. Мережковского, что "Гоголь под церковью восточною, православною разумеет не прошлую или настоящую, историческую, а грядущую, сверх-историческую, мистическую церковь христианства воистину вселенского", – то будьте уверены, что Гоголь никогда ничего подобного не "разумел" и далек от чести быть Иоанном Предтечей Дмитрия Мережковского: здесь Д. Мережковский просто навязывает Гоголю свои взгляды. Если, наконец, говоря о знаменитом письме Белинского к Гоголю, Д. Мережковский заявляет, что – "залаял собакою, завыл шакалом, зажмурил глаза, и весь отдался бешенству", так выразился сам Белинский о своем тогдашнем состоянии", – то опять-таки не торопитесь верить, а поищите, где это мог сказать сам Белинский... Десятки и сотни подобных примеров – дело будущего критика писаний Д. Мережковского; я ограничиваюсь лишь подчеркиванием наиболее характерного.

Возвращаясь к "черезмерностям" в критических суждениях Д. Мережковского, не буду подробно на них останавливаться: приведенные примеры говорят сами за себя. Отмечу только, для будущего историка литературы,

невероятные суждения Д. Мережковского о Григоровиче ("один из совершеннейших классиков русской прозы", произведения которого полны "дивной гармонии и законченности, неподражаемого изящества формы"...); о Чехове ("избыток равнодушного здоровья"...), о Ясинском ("таинственная прелесть обаятельного мистицизма"...), о Шеллере-Михайлове (роман "Эсфирь" – "великолепная экзотическая картина"...); об Апухтине ("один из самых нежных, изящных и благородных преемников Полонского и Гютчева"); о гр. Голенищеве-Кутузове (его поэма "Рассвет" – "чудная поэма, совершенно не понятая и не оцененная критиками" – см. V, стр. 68, 82, 85, и 94). С тех пор Д. Мережковский, вероятно, во многом изменил свои мнения; но мог же он доходить до таких геркулесовых столпов бесвкусия и критической слепоты! Но и в более позднее время – какое частое непонимание вершин европейской и русской литературы! В статье об Ибсене (см. X) "Призраки" рассматриваются, как "лучший ответ строгим защитникам семейного начала, которые осуждают Нору за то, что она покинула детей"... Вот как можно упростить те мучительно-острые вопросы о безвинном страдании, которые ставит в этой потрясающей драме Ибсен! Из всего Кальдерона Д. Мережковский разбирает, в скучнейшем пересказе, одну из самых слабых драм Кальдерона "Поклонение Кресту" – только оттого, что в ней любезное ему слово "крест" склоняется во всех падежах: такова постоянная власть слова над Д. Мережковским. В прекрасной статье о Пушкине он все же позволяет себе утверждать, совершенно ошибочно, будто "гармония" Пушкина была "естественным и непроизвольным даром природы", будто Пушкин "не сознал и не выстрадал своей гармонии"... До чего это неверно! Белинского наш автор снисходительно и иронически именуется "может быть недостаточно пронизательным, но в высшей степени благонамеренным человеком"... Защищать Белинского от Д. Мережковского я, конечно, не буду; но не могу не указать быть может слишком пронизательному Д. Мережковскому, как раз на одно проникновеннейшее определение Белинским "гармонии" Пушкина. Белинский обращает внимание "на эту бесконечную грусть, как основной элемент поэзии Пушкина, на этот гармонический вопль мирового страдания, поднятого на себя русским Атлантом; на эти переливы и быстрые переходы ощущений, на эти беспрестанные и торжественные выходы из грусти в широкие разлёты души могучей, здоровой и нормальной, а от них снова переходы в неумолкающее гармоническое рыдание мирового страдания"... С наслаждением делаю эту выписку, преклоняясь перед гениальной пронизательностью великого критика (с тех пор о Пушкине никто не сказал ничего лучше) и отдыхая от "антитетических" и гиперболических построений Д. Мережковского. "Миросозерцание Пушкина – включает Белинский – трепещет в каждом стихе, в каждом стихе слышно рыдание мирового страдания... да не всякому все это дается и трудно открывается, потому что в мир пушкинской поэзии нельзя входить с готовыми идейками"...

Но я увлекся и отвлекся в сторону: надо же было хоть раз показать, что к критическим суждениям, цитатам и голословным утверждениям Д. Мережковского следует относиться с величайшей осторожностью, помня, что когда середина пожелает быть крайностью, то перед средствами не остановится.

Стоит только вспомнить, что позволял себе Д. Мережковский, задавшись целью во что бы то ни стало "опорочить" религию Л. Толстого. Он начал копаться в его личной, интимной жизни; он не постеснялся дойти до совершенно неприличных неистовых выпадов против Л. Толстого, выбрав мишенью – его "неблагородное" происхождение от "петербургского случайного" графа Петра Андреевича Толстого, получившего свой титул благодаря успехам в сыскных делах Тайной Канцелярии". Это он с грубостью, что называется, "тычет в глаза" читателю на протяжении всего "исследования" своего о Л. Толстом и Достоевском. Мало того, даже в романе "Петр", выводя на сцену этого Петра Андреевича Толстого, не один раз заставляет его Д. Мережковский мечтать о том, как за свои "иудины" поступки при поимке царевича Алексея получит он графство и сделается родоначальником нового дома графов Толстых: "будут, будут графами Толстыми и, ежели в веках грядущих прославятся, достигнут чинов высочайших, то вспомнят и Петра Андреевича"... Все это слишком явный камень в огород Л. Толстого; нужно ли прибавлять, что камень этот падает на голову самого Д. Мережковского, что все эти места о Л. Толстом – поистине позорнейшие страницы русской литературы!

И если доходить до "концов", так уж во всем, от мелочи до крупного. Так дошел Д. Мережковский и до своей заветнейшей мысли о конце всемирной истории, о светопреставлении, которое "уже близко, при дверях". Близятся последние времена. Все идет к развалу, концу, смерти. И уже первым показателем этого является конец русской литературы, переживаемый нами. Какой же однако возможен конец того, что еще не начало существования? По крайней мере Д. Мережковский упорно утверждал, а г-жа Мережковская-Гиппиус усердно подтверждала, что у нас еще нет литературы и не было ее, как воплощения народного сознания (см. V, 7, 10). Как это решаются г-да Мережковские буквально повторять юношеские слова "недостаточно проницательного" Белинского? И как это может притти к концу то, чего не было? Правда, скоро сам Д. Мережковский сконфузился этого своего утверждения и стал сопровождать его разными оговорками: "конец русской литературы (после Л. Толстого и Достоевского), или, по крайней мере, совершенно определенный, неповторяемый круг ее развития" (см. XI). Вот это другое дело! Да и на правду похоже: много таких "совершенно определенных, неповторяемых кругов развития" русской литературы уже было, много еще и будет. Или: "конец русской литературы, т. е. конец чисто-художественного, бессознательного пушкинского творчества" (см. XII). Это хотя и совершенно неверно, но оговорка "т. е." – здесь все-таки очень интересна...

То же случилось и с более общим вопросом о конце мира, конце вселенной, о светопреставлении. Сперва Д. Мережковский категорически заявил нам (и откуда только это стало ему известно?), что "конец" уже близок, "при дверях", что скоро мы узрим Сына Человеческого, грядущего по облакам, и истерически восклицал: "ей, гряди, Господи Иисусе!"<sup>5</sup>). Я уже приводил по этому поводу слова русских папуасов, услышавших "трубные призывы" в подобных писаниях Д. Мережковского, который довольно ясно обрисовывал и свою роль в подготовке этого Второго Пришествия. "...Время

близко, – говорил Д. Мережковский, – тайна уже открывается: когда начнет совершаться Второе Пришествие (а оно уже невидимо начало совершаться)... тогда совершатся последние судьбы христианского мира... Кажется, второе Возрождение это и начинается действительно... именно в русской литературе, до такой степени проникнутой веяниями нового таинственного христианства Иоаннова, как еще ни одна из всемирных литератур"... (XI). Нужно ли прибавлять, что "христианство Иоанново" составляет spicialiti de la maison именно Д. Мережковский? И таких мест в писаниях Д. Мережковского – не одно и не два. Он глубоко уверен, что именно на нем и на его поколении лежит миссия приготовления человечества к светопреставлению. Отсюда его постоянные сокрушения, что поколение это "находится в таком трудном и ответственном положении относительно будущего русской культуры, как, может быть, ни одно из поколений со времени Петра Великого"; отсюда для него "страшная, почти невыносимая тяжесть ответственности"; отсюда его уверенность, что "от какого-то неуловимого последнего движения воли" в нем, Д. Мережковском (как, впрочем, и вообще "в русских людях нового религиозного сознания") – "зависят судьбы европейского мира" – и так далее, и так далее... (см. XI). И эти избранные – "русские декаденты": "когда ударит молния, они вспыхнут первые, а от них – весь лес", – весь мир (XV, 101). Как все это выйдет – неизвестно: "сначала нужно сделать, и только когда будет сделано или, по крайней мере, начато – можно будет об этом говорить" – так заявляет Д. Мережковский, и продолжает говорить, говорить, говорить...

Я имею основания думать, что Д. Мережковский теперь сам стыдится многого из пророчески-предвозвещенного им немного лет тому назад. По крайней мере, уже давно начались с его стороны различные оговорки. В последних своих книгах он уже отрешивается от русских декадентов, не предполагает, что судьбы мира зависят "от неуловимого движения воли в каждом из них"; он уже стыдится своего многоглаголания на религиозные темы (см. XVII, 92 и след.). Он не издает уже "трубных призывов" о конце мира, но скромно оговаривается, что пред лицом вечности два тысячелетия – только два мига, что от Первого пришествия ко Второму ведет "необходимый и желанный, медленный всемирно-исторический процесс" (см. XIII, 126). Быть может, он понял, наконец, и то, что идея "конца мира" уже давно принята наукой, что идея бесконечного существования мира никем не мыслится, что наша "вселенная" раньше или позже достигнет старости и умрет, что результатом "старости" элементов мира (как учит теперь наука о радиации) будет колоссальный мировой взрыв этого мира – и такие "мировые катаклизмы" давно уже известны науке и происходят совсем не редко (так называемые "новые звезды"). Когда это будет – еще неизвестно, но что это когда-нибудь будет – известно уже с давних пор. Конечно, ни трубные призывы Д. Мережковского, ни ожидания русских папуасов, ни чаяния Второго Пришествия – не ускорят этого момента, который, во всяком случае, далеко еще не "при дверях". Пройдут еще десятки и сотни тысяч лет, быть может миллионы, быть может выродится и род человеческий, прежде чем наша вселенная умрет от холода или сгорит во взрыве...



Все это слишком элементарно, да к тому же и находится в совершенно иной плоскости, чем вера Д. Мережковского во Второе Пришествие. Однако, повторяю, проявления этой веры стали впоследствии со стороны Д. Мережковского значительно менее шумными; он значительно сузил круг своих предсказаний, и, одно время, стал только настойчиво предсказывать, что-де "Петербургу быть пусту" (в полном согласии с г-жой Мережковской-Гиппиус – смотрите ее стихотворение "Петербург"). Но и это семейное пророчество нас не особенно пугает, потому что и без г-д Мережковских мы хорошо знаем, что все на свете имеет свое начало и свой конец... Но, как бы то ни было, особенно сильных трубных гласов и апокалипсических предсказаний мы уже не находим за последние годы в писаниях Д. Мережковского: он несколько приблизился к земле. Правда, все его попытки стать на историческую почву оканчиваются неудачами, об "историчности" его взглядов лучше и не говорить. То вдруг заговорит он о "воинственном свидании в Свинемюнде" и заявит, что "это не реальное событие, а идеальное знамение современной европейской культуры" (XIII, 21); то безапелляционно заявит, что переход общества в церковь "действительно совершается в всемирно-историческом процессе" (XIV, 45), и прибавит с математической точностью, что переход этот "осуществится, как, историческая реальность, при конце всемирной истории, но до конца мира" (XIV, 48); то начнет проповедывать, что русская интеллигенция неизбежно станет религиозной, уверует во Христа (XVII, 131 – 2). Давно ли Д. Мережковский озлобленно восклицал, что "мир с интеллигенцией невозможен до тех пор, пока интеллигенция не признает богочеловечества Христа. Аще кто не признает Христа, пришедшего во плоти, есть антихрист. Интеллигенция не признает Христа, и потому тайна беззакония уже деется в интеллигенции" ("Новый Путь", 1903 г. No 1, Приложение, стр. 30). Прошло два, три года – и Д. Мережковский стал восхвалять безбожную русскую интеллигенцию, объявив ее религиозной (XIII, 38) и стал веровать, что она уверует... Вообще с 1905 – 1906 года началась новая полоса в писаниях Д. Мережковского, в его построение вошла "общественность" и соединилась, по обычному антитетическому методу Д. Мережковского с "религией" (см. XIII, 37): "религия" для него отождествилась с "революцией" (см. XVII, 58, 161, 216), и он стал ее апологетом...

В 1905 – 1906 г. Д. Мережковский, по-видимому, впервые открыл Америку – узнал, что у русской интеллигенции есть свои святые, свои мученики, узнал их имена и жизнь, узнал – и понял, каким кощунством были его прежние выходки против интеллигенции. Он начал трубить отбой. Идя в хвосте революции, пользуясь заслуженным недоверием "интеллигенции", он стал задним числом превозносить гениальность Карла Маркса (XII, 23), учеников которого он не так давно называл "поросятами эпикуровыми, у которых пар вместо души"; он стал восклицать, что партия русских социал-демократов есть "соборно-вселенская и, следовательно, бессознательно-религиозная"... Дальше еще лучше: "пролетарии всех стран, соединяйтесь! – этот призывный клич, напоминающий крик журавлей (?), нигде еще не раздавался с такой недосыгаемо-далекой и торжественно-грозною, словно

апокалипсической, надеждою или угрозой, как именно в русской революции" (XIV, 39). Как легко связать словесно даже социал-демократию и с журавлями и с апокалипсисом!

Впрочем, есть одно литературное свидетельство, которое показывает, что теперь Д. Мережковский уже не пытается соединить несоединимое, связать Карла Маркса с Иоанном сыном Громовым. Я говорю об интересной статье В. Розанова, посвященной Д. Мережковскому – "Трагическое остроумие" ("Новое Время" 1909 г., 9 февраля). К статье этой я еще вернусь, а пока возьму из нее только одну очень важную для нас цитату:

"Мережковский сам себе изменил, сам себя предал, сам от себя отказался: в каком-то новом обобщении он решил привлечь к себе и Христу марксистов, эсдеков и проч., и проч., слить политику и Евангелие, и притом просто то Евангелие от Матфея, Марка и Луки, какое читает церковь, с учением Карла Маркса из Берлина, без всякой новой мечты об Апокалипсисе, о грядущем Христе и Третьем Завете. Здесь я должен определенно назвать тот важнейший мотив, который побуждает меня сказать, что Мережковский отрекся от себя: именно, он мне сказал, что находится теперь совсем в других мыслях, чем прежде, что я, должно быть, не читал его последних книг, а если бы читал, то знал бы, что ни о каком грядущем Мессии теперь он не думает, ни о каком Третьем Завете. Когда же я изумился и спросил: как же он раньше об этом говорил? то он ответил: это было так, слова! Я позволяю себе этот единственный и последний раз сказать из личных бесед, во-первых, по крайней важности этого для всех, кто заинтересован его проповедью, во-вторых потому, что это будто бы (чему я не верю) уже сказано где-то у него в книгах, вероятно в намеках"...

Это действительно "важное" для читателей Д. Мережковского сообщение не было им, насколько мне известно, опровергнуто: по-видимому, нечего было и опровергать. Это было так, слова! Если Д. Мережковский действительно сказал это про свою былую деятельность, про свои трубные апокалипсические призывы, то, значит, открылись же хоть на минуту глаза его! Быть может, теперь он снова, разочаровавшись в революции, взялся за прежние слова, от которых он отказался, которые он заменил другими словами в эпоху революции. Все мы помним Д. Мережковского в роли апологета интеллигенции, помним его полемику с "Вехами", его попытки войти в политическую работу. Лично я помню чтение Д. Мережковского о "Вехах", помню с эмфазой и пафосом произнесенную последнюю фразу: "да здравствует русская интеллигенция! да здравствует русская революция!" И я помню, что в ответ раздалось только несколько жиденьких хлопков среди многочисленной аудитории...

Да, на "страстную любовь" Д. Мережковского интеллигенция отвечает таким же молчанием, как и на былую ненависть; ответом на заигрывания Д. Мережковского с интеллигенцией служит молчание... И если справедлива наша характеристика писаний Д. Мережковского, то понятно и то, почему все живое – и "народ" и "интеллигенция" – чурается этого крупного мастера и талантливого писателя... Почему же? – Здесь мы и подходим к разрешению этой задачи.

## V.

До сих пор мы говорили только о симптомах, а не о самой сущности "бледной немочи" в писаниях Д. Мережковского. Отсутствие любви, "каламбурное мышление", равнодушие к людям, "словоточивость", "антитетичность", "гиперболичность", одиночество, скука – все это только симптомы той болезни, которую мы хотели определить, и которую уже много раз мимоходом называли, говоря о мертвом мастерстве Д. Мережковского, о мертвой красоте его художественных произведений. Его "бледная немочь" – не случайная и временная болезнь, а вечное его состояние; перечисленные выше "симптомы" – в сущности, постоянные его свойства. Это состояние – состояние мертвенности, эти свойства – свойства мертвого писателя, в произведениях которого "все полно могильной красоты" (II).

Гончаров когда-то требовал, чтобы критика, говоря о писателе, не затрагивала в нем человека. Это, разумеется, по существу невозможно: изучая характерные черты писателя, невольно говоришь этим самым и о характерных чертах его личности. Недопустимо только вторжение критики в личную, интимную жизнь живого писателя, копание в сплетнях, мелочах, дрызгах – одним словом, недопустимо многое из того, что в свое время проделал Д. Мережковский над Л. Толстым. Прodelывать подобную операцию над Д. Мережковским я, конечно, не стану; но о свойствах его, как писателя, считаю себя в праве говорить все, что думаю и чувствую.

Д. Мережковский – мертвый писатель: вот разгадка, вот ответ на все поставленные нами недоумные вопросы об его одиночестве, его оторванности от людей. Перечитайте с этим ключом в руках всю настоящую статью – и вам все станет ясно и понятно в судьбах этого писателя: вы поймете, почему Д. Мережковский так безнадежно одинок, почему он пастырь без стада, почему от него все отшатываются раньше или позже, почему все слушают его со скукою, почему он "являет вид того жалкого англичанина, который замерз на улицах Петербурга, не будучи в силах объяснить, кто он, откуда, и чего ему нужно" (эти слова В. Розанова я уже приводил). И быть может, сам Д. Мережковский действительно не в силах объяснить даже самому себе, что он – тот самый "великий мертвец" русской литературы, о котором он говорит в своей книге о Гоголе, тот самый "бесплотный, бесплотный, страдающий бледною немочью христианский старец Аким, живой мертвец, который хочет и не может воскреснуть", о котором Д. Мережковский говорит в книге о Толстом и Достоевском.

Когда умер Д. Мережковский? Или он был изначально мертв? В самых первых его книгах есть еще хоть словесные порывания к жизни; он восклицал тогда – Здравствуй, жизнь и любовь, и весна (I, 125).

Он хотел тогда бороться, действовать, жить (I, 73); он убеждал себя и других – Жизнь любви, – выше нет на земле ничего

.....

Есть одна только вечная заповедь – жить... (III, 14).

Ему хотелось всей полноты жизни – "всей дивной музыки аккордов мировых" (I, 15, – какая банальщина!). Но тут же какой-то черный жук-могильщик вел в его душе свои подкопы, протачивал его душу, отравлял ее:

Тишь и мрак в душе моей:  
 Ни желаний, ни страстей.  
 Бледных дней немая цепь  
 Без конца уходит в даль,  
 И мертва моя печаль,  
 Словно выжженная степь... (I, 25).

В первом, втором и третьем томе его стихотворений (1883 – 1895 г.) словно присутствуешь при борьбе живого человека с каким-то упырем, который высасывает из него кровь. И мы слышим, как живой человек кричит: "пока есть капля крови в жилах, я слишком жить хочу, я не могу не жить!" И тут же – слабость, изнеможение, сознание, что грозят "дни, месяцы, года тяжелой, мертвой скуки" (I, 52). И, наконец, признание:

Ты сам своей души безжалостный палач!  
 Порой ты рвешься в даль, надеждой увлеченный,  
 Но воля скована тяжелым, мертвым сном:  
 Ты недвижим, – как труп, в бессильи роковом,  
 Ты жив, – как заживо в могилу погребенный.  
 Хотя бы вечностью влачился каждый миг,  
 Из гроба вырваться на волю не пытайся... (I, 33).

Гробовой червяк все больше и больше протачивает душу Д. Мережковского. В стихах появляются его эпитеты, единственные принадлежащие ему – и мы знаем, что эти эпитеты – "мертвенный" и "могильный" в разных комбинациях: мысль его уже направлена в эту одну сторону. "Синее небо – как гроб молчаливо"; "в сияньи бледных звезд, как в мертвенных очах – неумолимое, холодное бесстрастье"; "мертвенное небо"; "как из гроба, веет с высоты" – все это у Д. Мережковского свое, незаимствованное (I, 96 – 101). И хотя не один еще раз вопил жадным голосом Д. Мережковский: "жить, жить!", но голос этот становился все слабее и слабее; ему, как чеховскому Чебутыкину, становилось "все равно": он чувствовал, что "все замерло в груди... Лишь чувство бытия томит безжизненную скукой" (I, 99). Призывы жизни становились для него мучительными:

Пощады я молю! не мучь меня, Весна,  
 Не подходи ко мне с болезненной лаской  
 И сердца не буди от мертвенного сна  
 Своей младенческой, но трогательной сказкой.  
 Ты видишь, как я слаб, – о, сжался надо мной!  
 Меня томит и жжет твой ветер благовонный.  
 Я дорого купил забвенью и покой –  
 Оставь же их душе, страданьем утомленной... (I, 101).

Мертвое, гробовое, могильное – победило в душе Д. Мережковского. Ему становятся противны леса, "где буйный пир весны томит его тревогой, где душно от цветов, где жизни слишком много"... (какое признание! – см. I, 94); он уходит к морскому берегу, "где перед ним бездушная краса"... Бездушная краса, это – море! Он уже не видит в говоре волн жизни, там для него "все – движенье, блеск и шум, но все – мертво"... Иногда он молит – молит ласточек научить его "жизни крылатой, жизни веселой" (III, 20), но тут же покорно складывает руки и устало продолжает умирать (см. его "Усталость", III, 43):

Привет тебе, ночная тень!  
Я жду с улыбкою блаженной,  
Я рад тому, что жизнь пройдет... (III, 46).

Он начинает воспевать счастье – не мыслить, негу – не желать; он продолжает видеть "в сердце безбурном, в небе лазурном – вечный покой" (III, 63, 64). Ведь это уже погребальная песнь, похоронное пение... "Чем больше я живу – сознается этот мертвец русской литературы – тем призрачнее мир, страшней себе я сам"... (III, 75). Неужели же он понимал, чем он может быть страшен и себе и всему живому?.. Вряд ли: в автобиографической поэме он, сознаваясь в своей мертвенности ("тревоги страстной, бурной и весенней я не люблю – душа моя полна и ясностью, и тишиной осенней... О, вечная, святая тишина"), в то же время прибавляет о своей жизни:

Тому, кто хочет слышать, расскажу:  
Живым – живое сердце обнажу... (IV, 175).

Он считает себя "благородным любителем увядания, предпочитающим старость – молодости, вечер – утру и неизменяющую осень – лживой весне" (X); он хотел бы думать, что и от его произведений "веет этим благоуханием осени", не чувствуя, что не благоухание осени, а трупный запах веет с его страниц... Настал, наконец, момент – его установят будущие биографы Д. Мережковского – когда пришел упырь и выпил последние капли теплой его крови. И всеми своими произведениями он обнажает перед живыми людьми свое мертвое сердце.

Он чувствовал свою судьбу, но бессознательно. Недаром уже первая поэма Д. Мережковского носит заглавие "Смерть", которую он восхвалял в монотонных стихах: "О, Смерть, тебя пою!"... "Тебе, о грозная богиня, тебе несу к подножью ног сплетенный музою венок"... Недаром герой поэмы – "мертвый человек" (II, 38); недаром и в позднейших автобиографических поэмах Д. Мережковский говорит о себе, что "мертвая душа была пуста" (IV, 232). Правда, герой первой поэмы в конце ее "воскресает" – к жизни вечной; но, говоря словами самого Д. Мережковского, такими воскресениями нас не удивишь, мертвечинкой от них пахнет, тем более, что только что воскресив героя, автор заканчивает безнадежно:

О, трудно жить во тьме могильной,  
Среди безвыходной тоски! (II, 04).

Важно, однако, самое желание Д. Мережковского – воскресить своего мертвого героя. Так поступает он во второй своей поэме ("Вера"), герой которой такой же мертвец и так же подозрительно воскресает. Герои воскресают, – а в поэмах царит могильная скука, которую признает и сам автор, обращаясь к читателю с выходкой *pro domo sua*:

... ты прав! Мы – слабы, мы – ничтожны;  
Все эти новые поэмы – невозможны.  
В них скука царствует!.. (II, 281).

Будущий историк русской литературы свяжет, конечно, эту "мертвенность" Д. Мережковского с той почвой, на которой он вырос – с восьмидесятыми годами; указания и намеки на эту связь очень многочисленны в первых книгах самого писателя. Сам Д. Мережковский подчеркивает скуку и безжизненность литературных кружков той эпохи (V, 14), – а ведь именно на этой почве возрос Д. Мережковский. Он много мертвенных соков взял из этой почвы (как отчасти и все русское "декадентство"); кое-чем из этого он гордился до последнего времени – например, политическим и социальным индифферентизмом (просмотрите в "Леонардо-да-Винчи" конец десятой главы, десятой книги – таких мест десятки). Но ведь па почве восьмидесятых годов одинаково возросли сотни других-людей, а "мертвенность" осталась свойством одного или почти одного Д. Мережковского – она была в нем самом, в его духе. В этом его пафос. Недаром и описывает оп лучше всего именно постепенное обращение человека в состояние мертвенности: тут и медленное умирание Юлиана, и смерть заживо Леонардо, и "ужасы конца" Тихона. Недаром он живет только в мертвом, хотя бы и вечном; недаром, когда попал он в Акрополь, то подумал не о вечно-живой красоте, а обрадовался, что жизнь осталась "там, позади, за священной оградой, и ничто уже не возмутит царящей здесь гармонии и вечного покоя". Если бы вдруг совершилось чудо, и Д. Мережковский был перенесен за две тысячи лет назад, в шумный и кипящий жизнью Акрополь – как ему, вероятно, опять сделалось бы "скучно" от одного соприкосновения с жизнью! Недаром Великий Пан для него еще мертв и только "должен воскреснуть" (XIX, Вступление), в то время как он вечно жив – для живых людей. Недаром сказывается его тяготение к "кватроченто", поскольку главным мастерам этой эпохи присущ элемент не только "духовности", но и "мертвенности". Недаром чудится ему иногда "в мертвом небе – мертвый Бог" (IX, Эпилог). Недаром он так часто говорит о "нас" – "мертвых в жизни", о том, что даже умерший Чехов среди "нас" – "не как мертвый среди живых, а как живой среди мертвых" (XVII, 86, 107). Это все он о себе говорит...

Но он этого не сознает. "Поэзия – говорит он – самое дыхание, сердце жизни, то, без чего жизнь делается страшнее смерти" (V, 26); но он никогда не поймет, что именно в его мертвом мастерстве нет поэзии, ибо нет творчества. Мало того: он о других говорит именно то, что приложило только к нему самому, к нему одному. Признаюсь, не без жуткого чувства читал я отрывок, в котором этот мертвец русской литературы считает живых людей мертвецами:

"В сказочных новеллах Эдгара Поэ являются мертвецы не надолго воскресшие, одаренные искусственной жизнью. Они действуют, ходят, говорят, даже смеются, совсем как живые. Ничего доброго не предвещают их лица, без кровинки, напряженный, лихорадочный блеск в глазах. И настоящие живые люди с недобрый предчувствием смотрят на них и думают: быть худу... Д. Мережковский всегда казался мне таким мертвецом из рассказов Эдгара Поэ, одаренным какою-то противоестественною жизнью. Пишет он статьи, проповедует Бога, громит материализм, даже проявляет попытки юмора, совсем как живой, и все-таки я ничему не доверяю и думаю: быть худу. – Когда вы смотрите на почтенных людей старого поколения, на окаменевших редакторов, на критиков, подобных г. Протопопову и г. Скабичевскому, и вдруг чувствуете, что люди эти в сущности – давно уже мертвые, что от них даже как будто пахнет смертью и тленом, такое ощущение – надо признаться – довольно страшно. Но, впрочем, с ним еще можно примириться, – была же и у них своя молодость, своя жизнь. Но когда в литературе начинают появляться молодые люди, или, лучше сказать, молодые мертвецы, как Д. Мережковский, когда от самых юных, только что начинающих веет уже холодом могилы, страшным запахом смерти и тлена, это – признак последних дней целого поколения: уже тут несомненно быть худу!" (V, 34 – 35).

Д. Мережковский говорит все это, конечно, не о себе (еще один раз!), о ком – нам здесь безразлично; но ведь это же только и можно сказать о нем самом, до слова, до буквы! В своей литературной молодости он уже был мертвым, после небольших проблесков жизни; и теперь у него – "головка виснет", "земля во рту" (см. XVIII). Он говорит о "попытках юмора" – вот чего у Д. Мережковского никогда не бывало. "Нет освобождающего смеха. Ни разу, читая произведения Д. Мережковского, не только не рассмеешься, но и не улыбнешься. Словно висит надо всем безоблачно-грозное, низкое, медное небо и давит так, что сердце, наконец, сжимается от тоски, и, кажется, нечем дышать, нет воздуха"... Так глубоко-неверно говорит Д. Мережковский о Толстом (см. XI) – и это является лишним примером голословности и неверности утверждений Д. Мережковского; но как это верно в применении к Д. Мережковскому, в произведениях которого поистине нет освобождающего смеха! А почему нет – об этом опять-таки скажет сам Д. Мережковский: "печать живого – печать смеха. Среди нас; увы, редчайший дар. Кажется, нам легче умереть, чем усмехнуться" (XVIII, 23).

Иногда, вероятно, и самому Д. Мережковскому непонятно – живой он или мертвый, как и одна из героинь его, Джиневра: "она не могла понять, живая она или мертвая, во сне ли все это происходит, или на яву" (VI, 16). Но Джиневра жива, для нее была "любовь сильнее смерти"; Д. Мережковский же сам сознается, что в сердце его нет любви, что "навек его сердце мертво", – а потому и смерть для него сильнее любви. Смотря на него, в его произведениях мы видим

– взор тяжелый

И странное лицо, в котором жизни нет,

Как маска, мертвое, похожее на бред... (II, 350).

И мы видим, как этот мертвец русской литературы начинает, подобно Джиневре, стучаться в сердца всего живого – только бы избавиться от своего могильного савана, только бы согреть свое мертвое сердце... Мертвый человек жаждет найти приют в живых сердцах. Отсюда – вся его деятельность последних двадцати лет. Но тщетно; двери всего живого закрываются перед Д. Мережковским...

Двери живого открываются не перед мертвыми словами, а пред живыми делами; Д. Мережковский же и сюда пришел с чисто-словесными схемами, с двумя словами, которые надо заменить третьим словом... Чтобы спастись от мертвенности, он ухватился за Христа, за Третий Завет, за "Святую Плоть", позднее – за "религиозную общественность", за "народ", за "интеллигенцию", – и всюду с одинаковым результатом, ибо всюду с одними и теми же словесными схемами. Проповедь "Третьего Завета", которую мы когда-то слышали от этого писателя, разве это – не такое же скользкое по поверхности явлений "третье слово", которое заменяет для Д. Мережковского два других, таких же мертвых слова? Первый завет – Ветхий, царство Бога-Отца: второй завет – Новый, данный Сыном; третий завет – грядущий, царство Духа: все это – ледяная игра разума, к тому же отчасти и заимствованная (Гюисманс, "En route", "La cathedrale"). И если Бог-Отец есть начало земной жизни, – жизни мира и природы, – то он всегда был мертв для Д. Мережковского. Прочтите внимательно все многочисленные "пейзажи" в романах Д. Мережковского; вас поразит их сходство с тщательно выписанными, холодными пейзажами в творчестве Гончарова, конечно, неизмеримо более талантливого. Это – люди, которые по земле могут ходить только в резиновых галошах; для них всегда был мертв Великий Пан. Но вот, по выражению Д. Мережковского, "родился Христос, и умер Великий Пан"; началось царство Сына Божия. Но если Сын Божий есть Сын Человеческий, если он есть полное выражение идеи живого личного человека, то и Сын Божий был изначально мертв для Д. Мережковского. Мы это уже отметили выше. Живая человеческая личность чужда Д. Мережковскому; полюбить он ее не может и только бессильно восклицает: "Неужели навек мое сердце мертво? Дай мне силы, Господь, моих братьев любить!..." И вот, человек, которому одинаково чужд и великий Пан, и Христос, проповедует "Третий Завет", в котором желает видеть "синтез" Великого Пана и Христа. Таким путем должен получиться новый человек на новой земле. Так проповедует писатель, который не любит ни человека, ни землю. В результате этой ледяной игры разума мы имеем по-прежнему только новое "слово", а не нового человека: или, если угодно, имеем такую же восковую куклу, какую мы видели во всех романах Д. Мережковского. Это – те самые "кристаллизованные люди", которых фаустовский Вагнер хотел выделять в реторте химическим путем:

Was die Natur organisiren liess,  
Das lassen wir krystallisiren.

"Религиозная общественность", к которой пришел позднее Д. Мережковский, это – такое же мертвое слово, каким раньше в его устах были и "Третий Завет", и "Святая Плоть", и еще десятки других "слов", из области которых не суждено вырваться Д. Мережковскому. Христос в его



устах так же мертв, как и всякое другое слово. И если выше мы вспомнили по поводу Д. Мережковского о злой фее, которая дала ему волшебное перо, превращающее все живое в мертвое, то теперь невольно приходит на память другая сказка, о двух девушках: у одной из них при каждом слове вылетало из уст по живой розе, у другой при каждом слове – по мертвой жабе. Из уст Д. Мережковского вылетают, быть, может, и розы, но розы эти – мертвые. Прислушайтесь, как мертво звучит в этих устах слово "Христос", именно – только слово, бесконечно часто употребляемое.

"Я хоть и мертвец, но и мертвым сердцем чту живого Бога" – говорит сам Д. Мережковский (см. XI), конечно, – кажется ему – не о себе и, разумеется, о себе. Да, он хочет чтить живого Бога мертвым сердцем – но, повторяю, чтить надо не мертвыми словами, а живыми делами; не говорить, а делать; любить живое. Это недоступно Д. Мережковскому – и он начинает мучительно метаться от двери к двери, он ищет новых ключей, он торопится скорее открыть, скорее войти, скорее излить свою душу и найти спасение, хотя бы обманув самого себя словом. Все это я не умею определить иначе, как термином – недержание душевной трагедии. Часто приходится слышать и читать, будто Д. Мережковский неискренен в своих поисках живого Бога; но это, думается мне, есть "противоположное истине" объяснение личности и книг Д. Мережковского. В том-то и беда его, что он настолько искренен, что не может ни на минуту удержаться для себя одного свои мысли, свои слова, свою трагедию. Трагедия эта – бесплодное усилие ледяного Кая сделаться живым человеком. Для этого надо только одно – великая любовь к живому личному человеку, но этого-то как-раз нет и никогда не будет у Д. Мережковского. Быть может, сознавая это, а может быть, и бессознательно, [он] разменивает эту свою основную трагедию на ряд производных, вторичных; он судорожно хватается за каждую из них, немедленно формулирует ее в словах, – и ждет спасения от слов. "Красота", "Третий Завет", "Святая Плоть", "Религиозная Общественность" и т. д., и т. д., – вот эти слова Д. Мережковского, которыми он проявляет и думает разрешить свои внутренние трагедии; торопливо сыплет и сыплет он этими мертвыми словами, думая, что это живые розы вылетают из его уст... Он мучительно искренен в этом случае, и потому так мучительно читать подряд разные его произведения: воочию видишь, как неживой, ледяной Кай хочет растопить свой ледяной саван не горячею любовью, а холодными, мертвыми словами. В словах он ищет спасения; и словоточивость его есть только внешнее проявление внутренней болезни, – недержания душевной трагедии, а трагедию свою он не хочет таить про себя потому, что верит в силу "слов". Тут заколдованный круг, из которого нет ему выхода в живую жизнь.

Мертвое мастерство, мертвая религиозная публицистика, мертвое богоскательство. Всюду горение слов, – но горение холодное, точно радуга надо льдами; всюду кипение фраз, – но кипение холодное, точно, – извиняюсь за вульгарное сравнение, – точно внутри сифона с зельтерской водой: не под бесстрастием – великая страсть, а под страстью – великое бесстрастие; не "огненный напиток в ледяном хрустале", а зельтерская вода в стеклянном стакане... (XI). Самому Д. Мережковскому, быть может, кажется, что страсть

его – поистине вулканическая, но нам при этом вспоминается приводимое им же словцо: "Везувий, извергающий вату" (XVII, 151) – мертвую вату тягучих слов, которые – опять выражение Д. Мережковского – "самый огромный из вулканов превращают в какую-то безопасно коптящую курилку, самое пьяное, играющее из вин – в какую-то выдохшуюся зельтерскую воду" (XVII, 305). Как метко умеет Д. Мережковский характеризовать себя, сам того не сознавая!..

Извержение словесной ваты не есть еще жизнь; кипение зельтерской воды не делает ее горячей. Все мертво, все покрыто саваном ваты. И все-таки ледяному писателю страстно хочется приобщиться к живому, – и вот он бросается то к народу, к его "религиозности", то к интеллигенции, к ее "революционности", – все напрасно. Живое чурается мертвого; вот почему жуткое, вечное одиночество – удел Д. Мережковского. "Темный ангел одиночества" шепчет ему страшную истину: "я всегда с тобой"...

О, страшный ангел одиночества,  
 Последний друг!  
 Полны могильной безмятежностью  
 Твои шаги...

Да, бесконечно одинок Д. Мережковский, – и сам видит, сам сознает это. Но он пытается бороться с этим фактом; "преодоление одиночества – такова задача!" – восклицает он в предисловии к собранию своих сочинений. Какая это безнадежная задача для Д. Мережковского, которому "темный ангел одиночества" шепчет на ухо свое вечное: "я всегда с тобой"! И мы теперь знаем, почему и отчего [он] так фатально одинок, почему у него нет последователей и спутников, почему он один или почти один, почему он "пастырь без стада": все живое чурается мертвого. А мертвец этот – ненавидит свое одиночество, хочет быть проповедником имени живого вселенского Христа, все свои произведения посвящает теме "Христос и Антихрист". Но если Христос есть жизнь и любовь, а Антихрист – противоположность его, то мертвый, ледяной Кай, мертвыми, ледяными устами проповедующий Христа, без капли любви к живой человеческой личности, – не является ли он представителем и выразителем всего "антихристового" во всех смыслах этого слова?

## VI.

И все-таки есть что-то глубоко-трогательное в фигуре мертвого человека, который ищет спасения в религии, который безумно верит в свою Дульцинею – "бессмертие", и который во имя ее готов на все нелепости, на насмешки, на унижения... Эта трогательная красота бессильной любви несомненно есть в Д. Мережковском...

Шлем – надгреснутое блюдо,  
 Щит – картонный, панцырь жалкий...  
 В стременах висят, качаясь.  
 Ноги тощие, как палки...  
 В красной юбке, в пятнах дегтя,

Там, над кучами навоза –  
Это царственная дама,  
Дульцинея де Тобозо...  
Все довольны, все смеются  
С гордым видом превосходства,  
И никто в нем не заметит  
Красоты и благородства...  
Смейтесь, люди, но, быть может,  
Вы когда-нибудь поймете,  
Что возвышенно и свято  
В этом жалком дон-Кихоте... (I, 215)

Возвышенно и свято в Д. Мережковском – безумное стремление мертвого человека к жизни – хоть после смерти. Здесь ему суждено влачиться по земле, как мертвецу среди живых ("видите, как по земле я влачусь, скорбный, больной и тяжелый, – так я и в темную землю вернусь"... – III, 20); остается надежда, что *там* получит он жизнь и прощение... Изумительно, как этот мертвый человек боится физической смерти, как при мысли о ней дрожит он "холодной дрожью" (XI); он боится, что если никого "там" нет, то никогда и нигде нельзя ему будет очутиться живому среди живых. По-видимому, и сама вера Д. Мережковского в Бога выросла на почве страха смерти; еще в первой своей поэме Д. Мережковский именно поэтому убеждал верить и себя и других:

О, я завидую глубоко  
Тому, кто верит всей душой:  
Не так в нем сердце одиноко,  
Не так измучено тоской  
Пред неизбежной тайной смерти:  
Друзья, кто может верить – верьте!.. (II, 21).

Надо верить, ибо если нет Бога, то кто же поможет Д. Мережковскому, кто превратит мертвое в живое? А потому – Бог должен быть: "Он есть, а если нет Его, все равно – Он будет. И ты говоришь: да будет Он – я так хочу" (VII, глава VII). И когда Юлиан говорит, что "если нет ни чудес, ни богов, вся моя жизнь безумие", – то это Д. Мережковский сам о себе говорит: безумие или ужас его жизнь, если нет воскресения мертвых. Нет воскресения мертвых, если Христос не воскрес. Отсюда – обращение Д. Мережковского к вере во Христа, к "тайне и откровению о том, что человек Иисус, распятый при Пилате Понтийском, был не только Человек, но и Бог, истинный Богочеловек, Единородный Сын Божий, что вся полнота Божества обитала в Нем телесно, и что нет иного имени под небом, коим надлежало бы нам спастись" (XIII, 181), и что Богочеловек этот умер, а потом воскрес. Как понятно, что именно Д. Мережковский ухватился за эту веру в возможность воскресения мертвого! А до какой степени вера эта ему дорога, можно видеть из следующих замечательных в своем роде его слов: "если бы мы могли увидеть, рассмотреть, осязать мертвое, истлевшее во гробе тело Иисуса, то мы

отвергли бы тут, именно только тут во всей истории, во всей природе свидетельство нашего конечного разума и нашего чувственного опыта" (XI). С такой верой – как и со всякой верой вообще – спорить бесполезно; но как это характерно именно для Д. Мережковского, которому надо воскреснуть, чтобы не быть мертвым!

Конечно, свои чувства и настроения Д. Мережковский готов распространить на все человечество. "Если Христос не воскрес, – говорит он, – то все человечество – проклятое мясо, гниющая падаль" (XVII, 56). Да, настанет раньше или позже для каждого из нас день, когда обратимся мы в "гниющую падаль" – но теперь мы живы, и эта земная жизнь есть для нас воистину бесконечная по глубине жизнь. Мы можем понимать, что живой мертвец и здесь смотрит на себя, как на "проклятое мясо", если там не существует; напрасно только он обобщает это и на живых здесь людей. И как же он негодует, когда от одного из несомненно живых людей, В. Розанова, слышит такое, например, признание: "не имею интереса к воскресению. Говорят: мы воскреснем... Ну, что же... Зажмем глаза, не будем смотреть. Не осудим друг друга. Не заставит же Бог плевать нас друг на друга, не устроит такой всемирной плевательницы... Нет, это так глупо, что, конечно, этого не будет. Просто, я думаю, умрем"... ("Новое Время", 1908 г., 4 января). Д. Мережковский, в негодовании, называет это мешанством и хулиганством; (XVII, 252); ему, мертвому, непонятно, что живой человек может вовсе не желать загробной жизни, воскресения из мертвых: "я был, я есмь – мне вечности не надо"...

Если к слову пришлось упомянуть о В. Розанове, этой во многих отношениях противоположности Д. Мережковского, то кстати будет привести здесь еще один отрывок из его уже цитированной выше статьи о Д. Мережковском. В. Розанов прекрасно характеризует одну черту, обыкновенно мало отмечаемую в этом мертвце русской литературы. Еще в начале своей деятельности высказывал он мнение, что он сам и его поколение – люди живые, ибо носят они в душе своей "возмущение против душающего мертвенного позитивизма, который камнем лежит на нашем сердце. Очень может быть, что они погибнут, что им ничего не удастся сделать. Но придут другие и все-таки будут продолжать их дело, потому это дело – живое" (V, 40). Мы знаем теперь, что дело это не погибло, что литература наша пережила сильный романтический период, что крайности позитивизма (также как и романтизма) давно уже пережиты русской мыслью. Д. Мережковский тоже боролся с "мертвенным позитивизмом" – то есть тщетно боролся сам с собой, ибо и мертвенность, и позитивизм были и остались его постоянными свойствами...

"Такого трезвого и аккуратного писателя я еще не встречал, – восклицает В. Розанов. – Несмотря на вражду к позитивизму, чисто словесную, на вражду как пьяницы к погубившему его вину, он на самом деле весь позитивен, трезв, не пьянен, не задурманен, не зачарован никакими чарами. Темноты в его книгах много, но это просто путаница мысли. В его книгах нет ночи, а от этого нет и тайны Божией. Сумрака много, но это просто – чердак, куда не

пробивается дневной свет от плохого устройства, а не оттого, чтобы чердак имел какое-нибудь родство с ночью. И уж если сделать экскурсию к давно-прошлому Мережковского, то на этом чердаке и всегда-то возились одни мыши, а отнюдь не "интересные" демоны... Все это страшно грустно. Он так много читал... Так много учился, знает... Все обещало в дальнейшем хотя и трезвую, позитивную, немного мещанскую работу, однако отличного ученого. На Руси их так мало! Никто не умеет так хорошо сопоставлять и критиковать идеи; таким верным глазом оценивать недостаточность какой-нибудь идеи для того-то и того-то, или способность идеи к тому-то и тому-то; так разбирать источники идей, исходные пункты грядущих умственных и нравственных переворотов... Но он не пророк, именно не пророк. Он ученый, мыслитель, писатель – и только"... ("Новое Время", 1909 г., 9 февраля).

Многое из этого – очень верно сказано. Позитивист, стремящийся к мистике; середина, стремящаяся быть крайностью – это как раз Д. Мережковский. Уж если мистицизм – то до конца, уж если вера в чудо – то во всякое: таков своеобразный позитивизм наыворот Д. Мережковского. Сначала принимаешь это за какое-то религиозное простодушие: Д. Мережковский хочет верить в Бога и верить в чудо, "как дурак", по выражению Достоевского. Особенно много курьезнейших примеров можно найти в статье его "Последний святой" (XV). Юродивая Параша удостоилась узреть "видение" Божией Матери, после чего упала замертво, и по всей церкви "бесы зашумели"... Д. Мережковский вполне серьезно спрашивает: "что же собственно означает этот бесовский клич?.." (XV, 165). Серафим Саровский, современник декабристов, ходил по воздуху, и по молитве его преклонялись до земли вековые деревья (XV, 168); Д. Мережковский умиленно пересказывает это. И почему бы ему не верить в это чудо, раз он верит во всякое? Простодушие его доходит иногда до таких границ, что, желая быть трогательно верующим, Д. Мережковский оказывается высоко комичным. Он рассказывает чудо с "невидимым медведем", которого видела только одна сестра Матрена (XV, 147); или передает об иеродиаконе Нафанаиле, который приглашал в свою келью девушек, приходивших к Серафиму: "иные по простоте и заходили" (повествует "житие"), да сам батюшка Серафим "растровожился", что Нафанаил "хочет сироточкам вредить"... Он взял да и проклял иеродиакона Нафанаила, и тот спился, пропал совсем. "Чем же собственно – комментирует все это с институтской наивностью Д. Мережковский – бедный иеродиакон вредил Серафимовым девушкам?.. Он только говорил с ними, смотрел на них – и за то пропал, может быть не только в здешней жизни, но и в будущей"... (XV, 163).

Сперва все это считаешь религиозным простодушием Д. Мережковского, по слову: "если не будете веровать, как дети"... И только вчитываясь во все его произведения и сопоставляя их, начинаешь видеть во всем этом типичный позитивизм наыворот.

Бог – в тайне, Бог – в тишине, Бог – в глубине души человеческой. Но Д. Мережковский думает, что слово это надо вынести на всенародное позорище, что чем чаще он будет говорить святые слова, тем больше скажет

он о святом, чем чаще будет употреблять слово "таинственный", тем больше скажет о таинственном. И вот страницы его книг начинают пестреть "божественными" словами. Недаром один от малых сих, бывший ученик Д. Мережковского, скоро от него отшатнувшийся, Александр Блок, "соблазнился о имени святе" и вознегодовал: "открыв и перелистав книги Д. Мережковского, можно притти в смятение, в ужас, даже в негодование. Бог, Бог, Бог, Христос, Христос, Христос – положительно нет страницы без этих Имен, именно Имен, не с большой, а с огромной буквы написанных, такой огромной, что она все заслоняет, на все бросает крестообразную тень, точно вывеска "Какао" или "Угрин" на загородном и без нее мертвом поле, над холодными волнами Финского залива, и без нее мертвого"... ("Золотое Руно", 1908 г.). Устами младенцев истина глаголет; и все, писавшие о Д. Мережковском, единогласно признают, что забыл он третью заповедь и постоянно произносит имя Господа Бога своего – всуе. Но ведь это же и есть типичный признак позитивизма навыворот... "Приму ли я мир огулом, или огулом не приму – результат все тот же": эти слова своего комментатора и популяризатора, Д. Философова, приводит в одном месте Д. Мережковский (XVII, 253). Буду ли я умалчивать о Боге, не признавая его, или буду на каждой строке поминать его дважды – результат все тот же: "мертвенный позитивизм" по отношению к Богу...

Впоследствии Д. Мережковский, под влиянием подобной критики, стал понимать всю "религиозную безвкусоность" (выражение В. Розанова) такого отношения к Богу. Слово Христос – пишет он, например, Н. Бердяеву, – "такое великое и святое, что вы его не хотите произносить, и я произнести не смею" (XIII, 164). Вот какой, с Божьей помощью, поворот – и это после десятка томов, перегруженных именем Бога, всуе произнесенным! "Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, надо было столько нагрешить, сколько мы нагрешили святыми словами, чтобы понять, как Чехов был прав, когда молчал о святом" (XVII, 92): это позднейшее признание делает честь искренности Д. Мережковского; но религиозный позитивизм его каким был, таким и остается.

Стремясь найти в христианстве личное свое бессмертие (мы знаем, для чего оно ему нужно), Д. Мережковский в то же время хотел попытаться войти с ним в живую жизнь. Отсюда – былое "дионисианство" Д. Мережковского, попытка слить образ Христа с ликом Диониса, реабилитировать "Святую Плоть", кроме "жизни будущей" попытаться войти и в жизнь настоящую... Мне незачем, после всего сказанного, объяснять – почему не могла удалась такая попытка, почему мертвое не могло прирости к живому. Мне незачем также доказывать, насколько все эти построения были анти-историчны. Христос был "воплощенное веселие сердца, и все вокруг Него были веселы, пьяны от веселия" (XI) – вот один из бесчисленных примеров анти-историчности, мертвой попытки связать Христа с Дионисом, слить христианство с дионисианством, объявить христианство религией "Святой Плоти". Насколько глубже, насколько правее В. Розанов, в своем отождествлении мистической и исторической стороны христианства! И какие

натяжки позитивного духа, бессильного в мистицизме! Какое наивное желание слить себя со всеми, утверждать, что и неверующие во Христа все-таки верят в него: "отрица Христа, они утверждают Его так, как еще никогда никто не утверждая, по крайней мере, сознательно"... (XI). Не напоминает ли это вам анекдота – его рассказывает Чорт Ивану Карамазову – о патере, который утешал свою безносую прихожанку, что "оставшись без носа – тем самым осталась она с носом"...

Мертвенный позитивизм в религии – еще и еще раз судьба Д. Мережковского; попытка этого мертвеца воскресить то, что исторически умерло – была обречена на неудачу. Новое "религиозное движение", проповедывавшееся Д. Мережковским, было движением не вперед, а назад, не к живому, а к мертвому. Великолепно выразил это Чехов в письме к С. Дягилеву, письмо это перепечатано Д. Мережковским в одной из его книг (XIII, 79).

"Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России, – говорит Чехов. – Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию, и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили, и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Хорошо это или дурно – решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором вы пишете, само по себе, а вся современная культура – сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первого – нельзя<sup>6</sup>). Теперешняя культура – это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога – т.-е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает"...

Эта прекрасная оценка "нового религиозного движения" – осиновый кол в могилу верований Д. Мережковского. Человеку не дано власти воскрешать мертвое – и как характерно, что Д. Мережковский, спасаясь от дождя, прыгнул в воду, ища спасения от мертвенности, обратился не к живому настоящему и будущему, а к мертвому прошлому... "Будьте не мертвые, живые души – говорит Д. Мережковский в последних строках своей книги о Гоголе (XII) и спрашивает: – что нам делать, чтобы исполнить этот завет? Одни говорят: нельзя быть живым, не отрекшись от Христа. Другие: нельзя быть христианином, не отрекшись от жизни. (Замечу в скобках: и то, и другое утверждает В. Розанов; здесь не разделение, здесь соединение). Или жизнь без Христа, или христианство без жизни. Мы не можем принять ни того, ни другого. Мы хотим, чтобы жизнь была во Христе и Христос в жизни. Как это сделать?"

С таким вопросом обращается Д. Мережковский к современной православной церкви... Не нам, следовательно, отвечать на него. Но мы можем

ответить на начало этого вопроса: что Д. Мережковскому делать, чтобы исполнить завет – будьте не мертвые, а живые души?.. Мы знаем: для этого надо любить живого, реального человека, а не отвлеченное понятие о нем, хотя бы персонифицированное в любом историческом или мифическом лице. Но... –

И хочу, да не в силах любить я людей:

Я чужой среди них...

И мне страшно всю жизнь не любить никого.

Неужели навек мое сердце мертво?

Дай мне силы, Господь, моих братьев любить!

Но "силы" этой Бог ему не дал. Напрасны все мольбы, напрасна вера в бессмертие, в будущую жизнь: здесь – нет для него жизни, здесь он проходит по земле, "как призрак темный... отверженный, бездомный и бедней последних бедняков", проходит мертвый среди живых, неся в душе "к людям – великое презренье" (III, 6). И живые люди отшатываются от этой мертвой души, как ни трогательны его донкихотские черты, его бессильная любовь к Дульцинее, которая "в красной юбке, в пятнах дегтя" сидит "над кучами навоза", и которую он готов считать первой красавицей мира... Безумное стремление мертвого человека к жизни, хотя бы потусторонней – трогательно, возвышенно и свято, но это не помогает ему исполнить завет: будьте не мертвые, а живые души. В этом он трагически бессилен – и в трагедии этой есть и красота, и благородство, и трогательность; нет только возможности стать из мертвого живым. Ибо для этого нужна любовь к человеку, а ее у Д. Мережковского нет, не было и не будет.

## VII.

"Надо разуместь безусловный, религиозный, человеческий, божеский смысл этих двух слов – "душа" и "смерть", чтобы выражение мертвые души зазвучало престранно и даже престрашно", – говорит Д. Мережковский в своей книге о Гоголе. И однако же сам он признает, что есть люди, признаком которых является именно мертвая душа. "Вот отчего так страшно с ними, – продолжает Д. Мережковский: – это – страх смерти, страх живой души, прикасающейся к мертвым" (XII, 56 – 63). Страшно, да; но есть еще и другое чувство, которое мы испытываем в присутствия таких мертвых людей: это чувство томительной скуки. Есть у А. Ремизова два автобиографических рассказа, героями которых являются именно такие мертвые люди: один из них вызывает чувство страха (рассказ "Жертва"), другой (рассказ "Чертопханец") – чувство скуки, томительной и бесконечной. И сам такой человек испытывает в мире мучительную серую скуку, от которой нет спасения.

Именно эта мертвенная скука сопровождает Д. Мережковского через всю жизнь, а читателя – через все "мертвое мастерство" Д. Мережковского. Откройте поэтическую автобиографию этого писателя, – его "Старинные октавы" ("Octaves du passИ"), – и сразу на вас повеет мертвым дыханием скуки, – скуки той жизни, которая рисуется в этих октавах. "Скукою



томительной царил в семье казенный дух, порядок вечный", – так начинается автобиография Д. Мережковского, его жизнь "в мертвом доме" (по его же выражению). И это – лейтмотив всего произведения... "Томительная скука сердце давит", – это рефрен песни жизни Д. Мережковского. И даже "лампа бледная горит, скучая" в этом "мертвом доме", символе всей жизни Д. Мережковского. "Только-б мертвую скуку в груди заглушить!" – тоскливо восклицает Д. Мережковский (I, 48); он предчувствует в своей жизни "дни, месяцы, года тяжелой, мертвой скуки" (I, 52). И немудрено: для него, мертвого, жизнь и скука – синонимы: "все замерло в груди – лишь чувство бытия томит безжизненною скукой" (I, 99). И еще, и еще: "мы в нашем я, ничтожном и пустом, томимся одиночеством и скукой"; "нам как-то скучно... в сердце мрачно, как в могиле" (II, 119). Он бодрится: "не бойся мертвой скуки" (III, 59), но он близок к истине, когда вопрошает:

Почему так скучно жить?  
Или, мертвые, умеем  
Только мертвых хоронить?

Да, здесь он близок к истине... И еще ближе к ней он в более позднем стихотворении, где он почти догадался о том, кто он и что он:

Так жизнь ничтожеством страшна,  
И даже не борьбой, не мукой,  
А только бесконечной скукой  
И тихим ужасом полна,  
Что кажется – я не живу,  
И сердце перестало биться,  
И это только наяву  
Мне все одно и то же снится.  
И если там, где буду я,  
Господь меня, как здесь, накажет, –  
То будет смерть, как жизнь моя.  
И смерть мне нового не скажет... (IV, 64).

Поразительно! Это граничит с ясновидением... Вся сущность большой моей статьи заключена в этих немногих строках, в которых Д. Мережковский – сознательно или бессознательно – открыл самого себя: мне оставалось только показать и доказать, что такое самопонимание – глубоко соответствует действительности.

Да, глубоко искренен, как всегда, Д. Мережковский, когда мы слышим от него еще и такое признание:

Все мимолетно – радости и мука,  
Но вечное проклятие богов –  
Не смерть, не старость, не болезнь, а скука...  
О, темная владычица людей,  
Как рано я узнал твои морщины,  
Недвижный взор твоих слепых очей,  
Лицо, мертвее серой паутины...

А в особом стихотворении "Скука" Д. Мережковский жаждет смерти, лишь бы избавиться от скуки: "страшней, чем горе, эта скука". Но тот, кто видит спасение от скуки только в смерти, – тот уже давно не живет, тот уже давно мертв душевно, о том можно только сказать известными стихами Полежаева:

Всем на свете чужой,  
Никого не любя.  
В мире странствую я.  
Как вампир гробовой...

И эта же самая скука сопровождает читателя через все пятнадцать – двадцать томов сочинений Д. Мережковского. Это скука – особого рода: скука живой души, прикасающейся к мертвому, – говоря словами самого Д. Мережковского, слегка измененными. Прочсть четыре тома его стихов вряд ли кому под силу, без продолжительных роздыхов: серая паутина мертвой скуки охватывает душу читателя. "Трилогию" легче читать: в ней есть хоть интерес фабулы, хоть ловко схваченные положения, не говоря уже о литературном "мастерстве"; но когда уяснишь себе сущность этого мастерства, вскрыешь причину вечных словесных антитез, поймешь эту ледяную игру разума, ты торопишься скорее выйти из этого мертвого царства, вполне признавая даже его красоту. Читая критические исследования Д. Мережковского, часто любишься игрой разума, иной раз тонко схваченными деталями – и отступаешь перед схематичностью целого, перед мертвым, в устах Д. Мережковского, Богом, мертвым Христом, – а этими именами пестрят целые страницы.

Скука – "тайная язва души, скука", "безнадежная скука", "скучающее любопытство", "скучающая покорность": вот эпитеты, которые с добрый десяток раз встречаются хотя бы в одном "Леонардо" Д. Мережковского. Все скучно, ибо все мертво. Все скучно и все мертво – ибо все одинок. "Нечеловеческие голоса ночного ветра говорили о понятном человеческому сердцу, родном и неизбежном – о последнем одиночестве в страшной, слепой темноте в лоне отца всего сущего, древнего Хаоса – о беспредельной скуке мира" (VIII, конец книги XIV-ой). Вот что слышит и чувствует Д. Мережковский в своем последнем одиночестве: мы снова возвращаемся к тому, с чего начали речь о Д. Мережковском. Но теперь мы знаем, почему он так фатально одинок: мы теперь знаем, отчего Д. Мережковский –

Томимый грустью непонятной –  
Всегда чужой в толпе людей... (II, 256).

Да, он сам всегда сознавал свое одиночество, не всегда понимая его глубокие причины. Разное бывает одиночество, и например, одиночество Л. Толстого, сказавшего: "мне надо самому одному жить, самому одному и умереть" – совсем не то, что одиночество Д. Мережковского, тоже ведь заявлявшего когда-то: "я жил один, один умру" (III, 39). Только зная ключ ко всей деятельности Д. Мережковского, можно понять причины его одиночества.

Я не люблю родных моих, друзья  
Мне чужды, брак – тяжелая обуза  
В томительной пустыне бытия  
Гонимая, отверженная Муза –  
Единственная спутница моя... (IV, 246).

Ему хотелось бы объяснить свою "отверженность" приблизительно так же, как объясняет он своего Юлиана Отверженного или Леонардо. Юлиан молится Аполлону: "благодарю тебя за то, что я проклят и отвержен, как ты, за то, что один я живу и один умираю, как ты"... А говоря о Леонардо, Д. Мережковский объясняет причины этого одиночества: "он подобен был человеку, проснувшемуся в темноте, слишком рано, когда все еще спят. Одиноким среди ближних, писал он свои дневники сокровенными письмами для дальнего брата, и для него, в предутренней мгле, пустынный пахарь вышел в поле пролагать таинственные борозды плугом с упрямою суровостью"...

Так понимает и сам себя Д. Мережковский – это легко можно увидеть, обращаясь к его лирике. Но это – одиночество гения, опередившего свое время; Д. Мережковский может обольщать себя подобной мечтой, но не прельстит он ею других – по крайней мере тех, которым удалось вскрыть более глубокие причины его одиночества. Эти причины – мы видели – он иногда сознает; но иногда спешит спрятаться от них, уйти от своего одинокого "я" в какое-нибудь коллективное "мы" – хотя бы этот "коллектив" и состоял всего из трех человек, – Д. Мережковского, Д. Философова и г-жи Мережковской-Гиппиус, которые так и пишут en trois коллективные драмы, коллективные книги... "Дело не в численном количестве, – замечает Д. Мережковский: – ...какая таинственная неодолимая сила и власть в этом троичном символе: 1, 2, 3" (XIII, 164).

Три – это все-таки не одиночество; есть возможность спрятаться за "мы". Достоевский не сознавал, – говорит в одном месте Д. Мережковский, – что чорт есть начало срединное: "если бы он это сознал, то был бы весь наш, а таков как теперь, он только почти наш, хотя мы и надеемся, что... будет совсем наш"... С каким упоением повторяет он здесь "наш, наш, наш": видите, он не один так думает, он не один так верит, есть какое-то коллективное "мы", от лица которого он в праве говорить... Какое это утешение для одинокого в своей мертвенности человека! Какое счастье хоть словесно слить себя с живыми людьми и сказать: "я – член образованного русского общества... По мне можно судить если не о всех, то о множестве подобных мне" (XVII, 120).

Какое это удовольствие говорить "о нас всех" – верующих и думающих одинаково с Д. Мережковским: "сказанное мною принадлежит не мне одному, а нам всем, идущим от церкви Петровой к церкви Иоанновой" (XIV, 50; ср. XIII, 181); или: "говорю не от себя одного, но и от многих" (XVII, 312). Или еще: "религиозной работе посвящена моя – наша жизнь" (XIII, 169). В этом намеренном подчеркивании – какая радость души, осужденной на одиночество мертвого среди живых! И как подчеркивает он это "мы, мы, мы", – хотя бы

это "мы" было всего один, два, три – и обчелся. И хотя "в этом троичном символе, 1, 2, 3 есть таинственная, неодолимая сила и власть", однако, как радуется Д. Мережковский, когда ему удастся хоть на преходящее мгновение залучить в эту троицу ("трое нас, трое вас, помилуй нас"... ) кого-нибудь четвертого... Как он радуется: "вот уже в литературе я не один. Вы со мною? Или, может быть, я с Вами? Не все ли равно? Главное – мы вместе. Вы полюбили не меня, а мое. Это великая радость. Ибо для меня литература – вторая жизнь, не менее глубокая, чем первая"... (XIII, 164). Но если литература его есть мертвое мастерство, то и "первая" его жизнь является только истоком его литературной мертвенности.

Трое их, четверо или хоть в сто раз больше – ничем не спастись Д. Мережковскому от одиночества мертвого среди живых. "Мы бесконечно одиноки"; "одиноки теперь мы все" (II, 65, 118) – пусть Д. Мережковский подчеркивает это "мы", – он все же говорит только о самом себе. И опять-таки только о себе самом говорит он, думая, что говорит вообще о человеке:

Ты, бедный человек,  
В любви, и в дружбе и во всем  
Один, один навек!.. (II, 209).

Это вечная его судьба. Он кричит – от него отходят, он пророчествует – его не слушают, он проповедует новую религию – и остается пастырем без стада. Вечное одиночество. Иногда он не выдерживает, он "вопит", как раненый зверь: "лучше быть шутом гороховым, чем современным пророком. Лучше бить камни для мостовой, чем называться учителем"... (XVIII, 201). Иногда он сам открывает – себе и другим – причины своего одиночества, но потом, с вечной скукой в душе, снова начинает свою проповедь в пустыне. Кое-чего он этой проповедью достиг: он добился славы, стал известен европейской читающей публике – ей он пришелся более по плечу, чем Толстой или Достоевский, которых в Европе почти никто не понимает, которых даже знают только в отвратительных переводах-перделках. Даже в России – мы видели – кое-кто из услужливых рецензентов возложил на него после смерти Л. Толстого царский венец. И в результате – все то же мертвенное одиночество. Когда-то он был одинок и видел на себе венец забвенья:

Сладок мне венец забвенья темный.  
Посреди ликующих глупцов,  
Я иду, отверженный, бездомный  
И бедней последних бедняков... (III, 6).

Теперь на него возлагают царский венец – и в нем еще более жалким является этот пастырь без стада, вечно одинокий человек, мертвый среди живых: –

И жалок сам себе в короне золотой,  
Я, призрачный монарх – над призрачной толпой... (II, 331).

И теперь для нас уже понятно, почему таким кощунственным является возведение Д. Мережковского на трон Толстого, почему таким невыносимым

явилось бы сопоставление его с Толстым, как художником. Тут дело не в величине дарований: конечно, смешно сравнивать в этом отношении "Трилогию" Д. Мережковского с "Войной и миром" Л. Толстого; но даже если бы такое сравнение было возможно, если бы мертвое мастерство Д. Мережковского могло быть сравниваемо по размеру с живым творчеством Л. Толстого, то все же сравнение это сделалось бы тем кощунственнее. Дело тут не в количестве, а в качестве, не в размере, а в сущности дарования: мертвое мастерство и живое творчество несоизмеримы, приравнивать мертвое живому – кощунственно... Не великое и малое, а живое и мертвое – вот основной контраст между великим писателем земли русской и великим мертвецом русской литературы.

Мертвое мастерство Д. Мережковского – достаточно крупное явление, чтобы о нем следовало говорить подробно; но уж если говорить, то без недомолвок. Трогательные попытки Д. Мережковского приобщиться ко всему живому – не снимают с критики обязанности сказать то, что почти всякий чувствует, но не всякий сознает в мастерстве Д. Мережковского. Глубокая искренность, совершеннейшая "благонамеренность" всей деятельности Д. Мережковского – для меня несомненны; я думаю, что он глубоко прав, говоря о себе:

Я сердцем чист, я делал все, что мог, –  
Тебя, о Муза, оправдает Бог... (IV, 248).

Но вот тут-то и возник вопрос: почему чистый сердцем, "благонамеренный", очень талантливый человек, славный в Европе и Австралии, умирает под гнетом мертвенного одиночества?

На этот вопрос надо или промолчать, щадя если не живого, то живущего, или ответить искренно и правдиво. Надо или молчать, или сказать.

Но раз все сказано без недомолвок, то все становится ясным. Д. Мережковского называют "иностранцем" в русском обществе, русской литературе. В этом есть истина, – но не вся. Точно ли только у нас он "иностранец"? Не всюду ли был и есть он таким в своем мертвом мастерстве, мертвом богоискательстве? Он "иностранец" везде, он иностранец всему живому, он пророк и пастырь не живых, но мертвых, – и потому он пастырь без стада, был им, есть и будет. Это ответ самой жизни на вопрос о причине гнетущего одиночества Д. Мережковского.

Как-то раз в полемике с Д. Мережковским кн. Е. Трубецкой проронил удачное замечание, что в словах Д. Мережковского проглядывает "трупная психология". В ответ на это Д. Мережковский написал, что "назвать живого человека трупом есть мысленное человекоубийство" и что "если я кричу от боли, значит я еще не труп". Да, это верно, он кричит от боли, – но боль эта в том, что не дано ему растопить свое ледяное, мертвое сердце. И потому, думается мне, что если назвать живого человека трупом, значит совершить мысленное человекоубийство, то назвать мертвое – мертвым, значит воздать должное и мертвым и живым.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1)</sup> "Алый меч", четвертая книга рассказов. "Светлое Озеро" (дневник), стр. 380.

<sup>2)</sup> В романе "Чортова кукла" г-жи З. Мережковской-Гиппиус (1911 г.) описано заседание этого Общества, выведены на сцену современные писатели и искатели – почти под настоящими фамилиями (какой печальный "художественный прием"!)). Описание это показывает, что сами г-да Мережковские понимали всю мертвенность этого религиозно-философского Общества. Об этом см. статью "Клопные шкурки" в моей книге "Заветное".

<sup>3)</sup> Этот "студент-естественник" впоследствии раскрыл свой псевдоним и оказался... Андреем Белым! С тех пор он бесконечно далеко отошел от Д. Мережковского.

<sup>4)</sup> При ссылках и цитатах мы будем для сокращения обозначать книги Д. Мережковского следующими цифрами: I – "Стихотворения" 1883 – 1887 г. II – "Символы"; песни и поэмы. III – "Новые стихотворения" 1891 – 1895 г. IV – "Собрание стихов" 1883 – 1910 г. V – "О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы". VI – "Любовь сильнее смерти", новеллы. VII – "Юлиан Отступник". VIII – "Леонардо-да-Винчи". IX – "Петр и Алексей". X – "Вечные спутники". XI – "Л. Толстой и Достоевский", 2 тома. XII – "Гоголь и чорт". XIII – "Грядущий Хам". XIV – "Пророк русской революции". XV – "Не мир, но меч". XVI – "М. Ю. Лермонтов, поэт сверхчеловечества". XVII – "В тихом омуте". XVIII – "Большая Россия". – В этом перечне нами пропущены еще следующие книги Д. Мережковского, на которые не будет ссылок в дальнейшем изложении: XIX – "Дафнис и Хлоя" (перевод греческого романа эпохи первых веков христианства); XX – "Павел I", трагедия (одно из самых слабых произведений Д. Мережковского); XXI – "Маков цвет" (коллективная драма гг. Д. Мережковского, З. Гиппиус и Д. Философова); XXII – "Le Tsar et la Ri)volution" (одна цитата отсюда приведена выше; тоже коллективная книга тех же трех лиц); XXIII – "Александр I" (роман). – Целый ряд романов, пьес, статей был с тех пор (1911-го года) написан Д. Мережковским; изучение их только подтверждает все выводы настоящей статьи.

<sup>5)</sup> С 26. Еще более изумительно совершенно определенное утверждение Д. Мережковского, что Антихрист будет по происхождению русский! (см. XII, ч. I, гл. VII).

<sup>6)</sup> Чехов несомненно имеет здесь в виду следующие знаменитые слова Д. Мережковского: "русским людям нового религиозного сознания следует помнить, что от какого-то неуловимого последнего движения воли в каждом из них, от движения атомов, может быть, зависят судьбы европейского мира"... (XI).

## VII. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА

---

# О ПРИНЦИПАХ современной критики

### *Манифест*

*Текст построен на примерах критики литературной,  
но подходит для критики любой.*

#### *ОБ АВТОРЕ*

**Андрей Николаевич ДЕМЬЯНЕНКО.** 1974 год рождения, Ленинград. Образование высшее техническое. Работал осветителем в театре «Приют Комедианта», работал инженером-механиком. Работал главным редактором литературного журнала «Вокзал». Пишет стихи, прозу, песенки. Член Санкт-Петербургского городского союза писателей с 2008 года, участник нескольких конференций молодых писателей Северо-запада. Лауреат литературной премии «Молодой Петербург» (2009). Лауреат премии «Козьма в Пустынке» (2015). Руководитель городской литературной конференции «Северная Муза» (2016). Публикации стихов, прозы, графики в газетах, журналах, альманахах. Живёт и счастлив в Санкт-Петербурге.

### *Первооснова*

Все отрицают или поощряют. Мало кто может пояснить, почему происходит такая оценка. Закопавшись в поощрениях и отрицаниях, никто ничего не хочет предложить взамен.

Я предлагаю критерии современной критики, основанные (в духе времени) на нескольких «не».

#### *Не отрицать!*

Есть, и хорошо! Сегодняшний мир в основном состоит из отрицания, что выглядит несколько странновато.

У критиков, да и вообще у многих людей, есть обыкновение обругать что либо, и ничего не предложить взамен. Если вы ругаете, то аргументируйте толково и альтернативу дайте!

Каждый критик считает себя пупом мира, и конечно знает, что такое настоящая литература, или, по крайней мере, как она должна выглядеть. Но так как критик не один, то пупов получается много.

У критика есть право ценить свои знания, свой опыт.

Хотя знать все невозможно. А облик литературы постоянно меняется.

И предлагают критики автору иногда нечто невразумительное: «классику читайте!»

Это само собой. Это разумеется, господин хороший! Но такие заявления ставят под сомнения умственные способности заявителя.

Это то же самое, что прийти в магазин, попросить средство связи, под-разумевая, конечно, телефон, смартфон, планшет, ноутбук, в конце концов, и увидеть, как перед тобой выкладывают конверт, писчую бумагу, гусиное перо и чернильницу (что, само по себе без отделения почты, средством связи не является). Пишите письма, уважаемый!

Отрицать очень легко. Но отрицание с созиданием не имеет ничего общего.

Отрицание – это разрушение.

В данном контексте я рассматриваю критику, как созидающий процесс, позволяющий выявить контуры литературы.

#### *Не сравнивать!*

Не сравнивать авторов между собой. Объективной картины это не даст, а авторам бывает обидно. Единственное сравнение, которое допустимо – сравнение предоставленного текста с внутренним эталоном критика. Зная литературные параметры критика, можно тогда выстраивать цельную картину мироощущения.

Я заговорил о точке отсчета и системе координат. Нельзя сравнивать параметры, имеющие разные системы координат. Если нужно сравнение, – приведите в единую систему координат к одной точке отсчета.

Верным ориентиром может быть только текст. Абстрактные понятия – талант и гениальность – не рассматриваются. Взаимодействие критика с текстом и объяснение критика, плох ли, хорош ли текст с его точки зрения, могут принести более менее адекватный результат.



Если сравнивать тексты, то целесообразно говорить не то том, какой лучше, какой хуже, а изменения в текстах автора.

Все остальные сравнения – это сравнение теплого с мягким и соленого с кожаным.

### ***Опыты над собой. Лирическое неотступление***

Надевая на себя маскарадный костюм критика, я не сравниваю. Стараюсь не сравнивать. Я пытаюсь осознать – отозвалось прочитанное произведение в моем сердце или прошло мимо. Может, оно натолкнуло меня на размышления, которые помогут в жизни. Если стихи автора сегодня сравнивают со стихами Пушкина, Есенина, Маяковского и пр., то, на мой взгляд, это оскорбление. В некоторых случаях для тех, кого сравнивают, в некоторых – с кем сравнивают.

Я пытаюсь абстрагироваться от вещи, будто бы этот текст, вообще, мой первый текст в жизни. Я слушаю себя. Отзовется ли он во мне?

Отозвался – хороший знак.

Далее я помещаю это произведение в колбу сегодняшнего момента. Он делает богаче этот мир, учитывая опыт прочитанного? В контексте времени – это фигура? Значимая фигура?

Вот два критерия оценки произведения. Безотносительная – будто этот текст первый текст в своей жизни. И связанная со временем. С опытом освоенного критиком материала. Этот взгляд во многом зависит от кругозора критика, от особенностей его личности.

### ***Не создавать идола!***

Даже в примерах звучат одни и те же имена. В фильмах одной эпохи наталкиваешься на одни и те же типажи, на одних актеров. Это не значит, что больше нет талантливых. Такое стечение обстоятельств. А Мир намного обширнее, чем кажется.

Создание идола уничтожает Мир. Это все равно, как подойти к пшеничному полю, выбрать колосок и воскликнуть: «Какой прекрасный колосок!» – имея в виду только его, один единственный, а не сообщество колосков.

В каждой из областей искусства, науки таких несколько. Поклонение избранным уничтожает то хорошее, что в культуре было, что в культуре будет. Это уничтожает культуру, науку в целом. Пренебрежение к полю уничтожает поле.

Язычество не имеет ничего общего с идолопоклонничеством (? – прим. ред.). За бревном с фигурой Бога стоит Бог истинный. Вера тогда превращается в идолопоклонничество, когда из-за бревна Бог уходит.

### ***Не обижать!***

Не обижайте автора! Идея критики заключается в бережном отношении к автору. Не надо разрушать его текст, и в чужом огороде выращивать свои идеи.

Критика – это зеркало. Это способ донести до читателя (или до творца текста) образы произведения в другом изложении и взаимосвязи произведения с современными реалиями, современным миром. Донести отношение критика, как одного из членов социума, к данному произведению.

Автора надо беречь. Автор может не понять и не усвоить. Задача критика доброжелательно подать отражение в понятном удобочитаемом виде.

Действие совершается, чтобы получить результат. Иначе зачем?

Если это переходит в энергию непонимания, битвы, войны – то это энергоневыгодно, как для критика, так и для автора.

Вы видели, чтобы природа совершала энергоневыгодные действия? Только человек очень любит это занятие, потворствуя упрямству и амбициям.

### ***Не умничать!***

Критика должна быть интересной любому читателю. Иначе кому она нужна? Литературоведу? Так литературовед и так все знает. Критика должна быть написана простым, доступным, образным языком и адресована всем.

### ***Лирическое неотступление о постмодернизме***

Как-то меня пригласили на заседание секции критиков Союза писателей России. Критики размышляли о принадлежности того или иного произведения к постмодернизму. Мне показалось, что у этих людей нет общей цели, нет общего языка.

Эти люди были похожи на покупателя, пришедшего в магазин и рассматривающего товары, на которых нет ярлычков. Хорошо, если это курица. С курицей просто. А если это дуриан? М? «Что это за фрукт?! – кричит критик. – Почему он так воняет? Может, он испортился?» Выходит вежливый продавец и объясняет, только вот название фрукта никак вспомнить не может. И накладные потерял. И критик окрещивает этот фрукт постмодернизмом. Что за страсть к привешиванию ярлычков? К классификации? И теперь разгораются диспуты о том, так ли озаглавлено сие явление, и куда его отнести?

А нужно-то было откусить кусочек (сообразно инструкции) и вынести вердикт... Впрочем, скорее всего, он будет похож на вердикт тех, кто дуриан пробовал: «Вкусно безумно, но воняет отвратительно!»

### ***Что за зверь – критик?***

Критик – это зеркало, помогающее увидеть автору себя глазами читателя, та обратная связь, которой часто авторам не хватает.

Критик – это телескоп, помогающий читателю увидеть и оценить произведение издалека.

Несходство этих оптических приборов не противоречит особенностям критика. Критик и то, и другое, и третье. Просто в разных системах классификации. Критик по отношению к автору – зеркало, критик по отношению к читателю – телескоп.

Какие еще системы может совмещать в себе критик? Критик по отношению к социуму.

Критика – это протез для социума. Здоровому обществу он не нужен, а больному вполне может заменить конечность. Если брать аналогию из ряда оптических устройств, то это очки. Здоровому социуму очки могут только испортить ощущение от прочитанного.

Критик по отношению к социуму – это очки.

### ***О работе критика. Литературная кухня***

Роль современной критики заключается в формировании информационного потока и в его усилении (в некотором случае ослаблении).

В сегодняшнем море информации критики должны наладить течения, которые будут выносить к берегам читателей то достойное и лучшее, что есть в современной литературе.

Упорядочивание информации и доведение ее до читателя – это первейшая роль критики.

Хороших критиков, как всегда, мало. Хорошие те, у кого есть собственное мнение, дальновидность, чувство эпохи.

У каждого времени свой язык. Можно изучать время по текстам. Литературные произведения – это костюм определенной эпохи.

Информационные потоки – это особенность нынешнего времени. Ругая что-то, заостряя внимание, мы создаем информационные воронки вокруг того, кто их, возможно, и недостоин.

Дышите ровнее, хорошие критики, ваше дыхание нужно великолепным авторам, которых беспорядочно носит по волнам современной литературы.

### ***Работа критика с критикой***

Критикуй так, как хочешь, чтобы критиковали тебя.

Если хочешь применять жесткую критику, примени ее к себе. Так ли совершенны твои произведения?

Горько видеть, как горлопаны своим деланным величием притесняют творцов. Не обращаем внимания! Это не наше равнодушие, это намеренная акция незамечания. Кто надо, тот прорастет в читателях, во времени. А всех не спасти. Критик, есть место в ладонях? Берем, несем.

Критика должна обращать внимание и сопровождать произведения, имеющие отношение к созиданию. То, что к созиданию отношения не имеет, не имеет отношения и к критике.

В этом есть исключение: критика может и должна выполнять роль полицейского, если произведение угрожает жизни людей.

### ***Работа критика с формами***

Разговаривая о произведении, можно говорить лишь о форме, но не о философии, внутренней сути. О философии пусть философы рассуждают. У критиков задачи другие.

Порицание философии произведения может происходить в следующей форме:

Я не принимаю Вашу точку зрения, потому что она проповедует ... (вставить нужное слово).

#### *Работа критика с рекомендациями*

В своих рекомендациях важно не дойти до абсурда. Когда появляется нечто новое, особенное, – возникает желание это затоптать, выдернуть, вернуть к прежнему привычному виду, или хотя бы классифицировать, вогнать в формочку. В знакомую схему.

А если это совсем новое? Неизведанное. То, что изменит облик современности? Такое возникает постоянно и важно не затоптать, не уничтожить. Можно конечно, предложить переписать, но зная косность разума, получится опять классика – это в лучшем случае. Или же ничего не получится. Если расцвела кувшинка, – не надо делать из нее лютик.

Произведения – это дети. Давайте и относиться к ним, как к детям. Есть, конечно, сторонники телесных наказаний. За то, что написал в штаны, можно выпороть. Можно и расстрелять. Вы бы стали так поступать со своим ребенком? Есть много других средств воспитания, кроме расстрела и порки. И вроде как гуманизм в моде.

Иногда должны последовать резкие действия по отношению к ребенку. Когда его жизни или здоровью что-либо угрожает – тогда! Только тогда можно одернуть. Без повышения голоса, без побоев и угроз, в обстановке дружбы и любви вырастают хорошие люди.

Если произведение не угрожает жизни людей, – всё идет путем.

Можно отстегать произведение, автора. Но кто сказал, что знает, как воспитуемый воспримет урок? А если он озлобится? Если следующий акт будет сделан специально? Назло?

#### *Работа критика с подбором методов*

Тщательный подбор метода критики!

Есть такая математическая конструкция «необходимо и достаточно»

Не надо муравья уничтожать атомным взрывом. Не надо на медведя ходить с зубочисткой.

В разрезе критики это можно увидеть в страницах дифирамбов бросовому двустигию. Или в гениальном «ничто так» в сторону великолепного романа, который показывает срез современной личности.

Описывать свои восторги по поводу прочитанного несколько странно.

Критика – это все-таки некоторая отстраненность, взгляд со стороны. Надо написать необходимое и достаточное количество текста, чтобы читатель понял, стоит ли ему читать это произведение.

Критика – это и метод рекламы.

Черный пиар – один из самых действенных методов раскрутки бренда. Негативная критическая статья может работать на славу критикуемого.

Кто-то пытается сделать Мир хуже, чем он есть на самом деле. Задача критики, сделать его лучше. Не дать Миру упасть.

Обращай внимание на хорошее, плохое, если оно не угрожает окружающим, умрет само.

### *Медицина критики*

Принципы критики похожи на принципы медицины. *Не навреди!*

Но в целом по тексту:

Гуманное отношение к тексту, именно здесь применимо основное гиппократовское требование – не вредить; но также – щадить психику автора, стараться не причинять ему боли.

Соответствие поступков критика общественной функции, согласно которым критик ни не может участвовать в действиях, направленных против здоровья общества. (Ведь каждый писатель работает прежде всего с общественным сознанием, он настраивает звучание общества по камертону своего текста)

Обязанность критика - бороться за духовное совершенство людей.

Обязанность критика - помогать всем независимо от пола, национальной и расовой принадлежности, политических и религиозных убеждений. (Здесь надо уточнить: не навязывать помощь, а действовать либо по велению души, либо по просьбе).

Принцип солидарности и взаимопомощи между критиками.

Европейская медицина нацелена на устранение болезни, на избавление от симптомов, критике можно идти и по этому пути. Но бороться нужно с причинами, не с автором, автор – лишь инструмент отражения реальности. Убив автора, не избавишься от болезни.

Устранение причин болезни, излечение общества от никудышной литературы, прививание иммунитета, хорошего вкуса – задача критики.

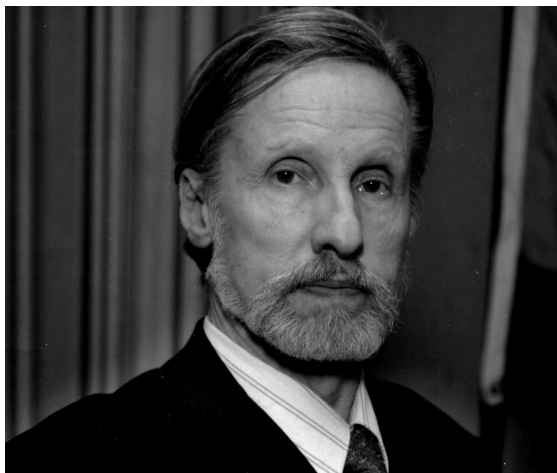
Если доводить до точки понимания упрощением, то врачи имеют принципы, критики – беспринципны.

Не пора ли современному обществу выработать принципы критики?

На одном из сайтов нашел такие слова «Сохранилась весьма любопытная молитва врача, относящаяся к XII в. В ней говорится: «Даруй мне любовь к людям, избавь меня от корыстолюбия, тщеславия, чтобы они не ввели меня в заблуждение и не мешали приносить пользу людям, сохрани мне силы моего тела и моей души, чтобы я мог помогать бедному и богатому, доброму и злему, врагу и другу, пусть в каждом страждущем я всегда буду видеть только человека»».

*Прекрасная молитва для современного критика.*

# Николай Николаевич Браун



**ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧАСТУШКИ**  
*Смех от пяток – до макушки*

27. эФ Дзержинский спозаранку  
Вдруг проделал – оп алле! –  
Памятник перед Лубянской –  
У подъемника в петле.
28. Два бомжа – какая встреча!  
В звездах ночь, Дворцовый мост.  
Каждый жизнью искалечен,  
Нищ и голоден как пес.
29. В новом веке окаянном  
Тот же в нас синдром тоски:  
Гибнут люди, тонут страны  
И горят материки.
30. Казнь возмущен Хусейна,  
Я подумал: ох, Саддам,  
Вдоль балтийского бассейна  
Сколько надо вешать нам!
31. Суд безбожный – суд в Гааге.  
С интер-совестью – беда.  
Приговор – лишь на бумаге.  
Зэк «замочен» до суда!
32. Мчат на Родину останки –  
Белых Армий наших честь.  
А от Родины останки  
Разбазаривают здесь!
33. Сел в рязанском огороде  
Рукотворный эНэЛО.  
На челябинском заводе  
Его сделал Н.Л.О.
34. Сносят и сады и скверы.  
А кустарники не в счет.  
Бандюкам-миллионерам  
От строительства доход.
35. Для маньяков и мздоимцев  
Я б отдельно сделал печь,  
Чтоб обычных проходимцев  
С ними вместе не испечь.

36. Были «правые уклоны»,  
«Левых» лозунгов парад.  
А теперь проникли клоны,  
Говорят, в госаппарат.
37. Апокалипсисом, братья.  
Не смешите нас зазря,  
Тех, кто выжил под проклятьем  
Дня 7-го ноября.
38. Кто нас хочет уничтожить –  
Нам оставит сапоги.  
К супервыдумкам пригоди  
В русском космосе мозги!
39. Не надейся, с Потомака  
Пентагоновский народ –  
Кто пришел к нам забиякой,  
Тот шакалом уползет!
40. Вновь российская держава,  
Где частушка так крепка,  
На просторах нелукавых  
Обезличит чужака!
41. Конституцию обмыли –  
Не последнюю, даст Бог!  
Ведь Россию в полной силе  
Только б Царь возглавить смог!
42. По цене обыкновенной,  
После Зла безбожных лет,  
Прейскурант мощей нетленных  
Предлагает Интернет!
43. Демократии образчик:  
Многим женам, без затей,  
Заменяет телеящик  
Мужа, друга и детей!
44. Чемпион борьбы без правил  
В мирной жизни тих и мил.  
Прокурор, законом правя,  
Пять безвинных душ сгубил.



45. В «женский день» Эсфирь Амана  
Вздёрнула на дереву...  
Мужики ж не ждут обмана –  
Все спешат на randevу!
46. Столько лет наш сленг «Mac Donalds»  
Изучал не без причин.  
На блины зовет влюбленных  
Молодежным словом: «Блин!»
47. Город с новым прокурором.  
Над Невой гремит салют.  
И Террор с Антитеррором  
На скамейке водку пьют.
48. В «Справедливой» нет «России»  
Единенья, хоть убей,  
А в «Единой» нет «России»  
Справедливости, ей-ей!
49. Деньги, лучше настоящих,  
Напечатал наш братан.  
Раньше парень был пропащий,  
А теперь и сыт и пьян.
50. Телик я включила рано.  
«Кама Сутрой» тешат Русь.  
Семя капает с экрана.  
Забеременеть боюсь.
51. Бизнес есть игра без правил.  
Правила диктует бес:  
Если на кон куш поставил –  
Ты возбух или исчез.
52. Про арапа Ганнибала  
Книгу я прочел вчера.  
Вот и в Питере настала  
Эфиопская жара.
53. «Югославский путь» искали.  
Югославии уж нет.  
В православных стран развале  
ЦеэРУ рогатый след.

54. Олигархи-эмигранты  
В деньгах счастья не нашли,  
И в любви свои таланты  
Не отрыли из земли.
55. Церковь нынче богатейка.  
Нищ обманутый народ,  
Что последнюю копейку  
За поминки отдает.
56. Вадик неприкосновенен –  
Он народный депутат.  
Чуть его коснутся деньги –  
Он народ ограбить рад.
57. Не зови к своим чертогам  
Ты меня, земляца-мать.  
Здесь я должен русским слогом  
Много тайн порассказать.
58. Попросил прощенья Ельцин,  
Уходя, под Новый год.  
Стал в прощениях умельцем  
Наш доверчивый народ.
59. Раньше в лагерях ГУЛАГа  
Хоронили без гробов.  
Гроб любой теперь – на благо  
Перестроечных рабов.
60. «Кто готов спасти Россию? –  
Шаг вперед!» - на этот крик  
Нынче в большинстве глухие  
И тупые в тот же миг.
61. Царским подданным когда-то  
Был прапрадед у него.  
А праправнук вдрызг поддатый  
И не любит никого.
62. Где-то чувства охладели  
Королевы к Королю.  
У нас даже на панели  
Пишут: «Я тебя люблю».

63. Мы живем как бы неплохо,  
Перестроясь в свой черед.  
С рынком мы вошли в эпоху  
Как бы задом наперед.
64. В Комарово у погоста  
Странный адрес: «Литер А».  
Литер мы распили просто,  
А с закуской – новых два.
65. Бог для ветхого Адама  
Зря не создал запчастей.  
Бизнес на крови той самой –  
Криминал, а не О КЕЙ!
66. Кто-то спроста верит в доллар.  
Верит в «евро» - кто хитрей.  
Лишь в копейку верит твердо  
Нищий Жора-богачей.
67. Нам привычна невесомость:  
Между ссылкой и тюрьмой  
Не было аэродрома  
Зэкам 58-й.
68. Запустили в космос Гулю,  
Зэка с кличкой «Три слона».  
Норму он давал тройную  
Там – без пищи и без сна.
69. Зэчка с кличкою «Могила»  
Тайно в космосе была:  
Чтоб врагу внедрить, родила  
Президента СЭШЭА!
70. На обочине эпохи  
Жизнь разорвана в куски:  
Лёня записался в лохи,  
А Ахмет – в боевики.
71. Костя жаждал эйфории  
И эротики слегка.  
Встретил порноиндустрию  
С бизнес-леди из ЧеКа.

72. Там – прорабы перестройки.  
Тут – прорабы нищеты.  
Стеклотары на помойке,  
Чтобы сдать – не същещь ты!
73. Часто в секты извращенцев  
Попадает молодежь.  
Комсомольцам-выдвиженцам  
Бог для бизнеса пригож.
74. Ох, земля наша богата!  
В ней могильный есть уют.  
Под Воронежем зарплату  
Вновь надгробьями дают.
75. Моника ловила шансы,  
Знала Клинтона штаны.  
Ельцин же – сосал финансы  
Из обманутой страны.
76. Красно-белая редиска,  
Бело-красный Штатов флаг.  
Мы вступили в зону риска,  
В полосатый дем-ГУЛАГ!
77. Мэр наш в тапочках больничных  
Тайно вылетел в Париж.  
Крыша в самолете личном –  
Лучше всех ГеБешных крыш!
78. «Новый русский» – с автоматом  
И со снайперским стволом.  
«Старый русский» всё с лопатой  
И его оружие – лом.

14 ноября 2007. Санкт-Петербург  
*Окончание следует*

**В. И. Чернышев**

***Из Старых записок Редактора***

***Боль мира и хрустальный замок...***



## **Из Старых записок Редактора**

### **Заметки о порче русского языка. Русские страницы. № 7\_2012**

Боролись за чистоту языка еще в 18-го веке, в пользу церковно-славянского, боролись и при советской власти и ныне.

Еще Потегбня определил два отношения к языку; одно из них он назвал нормативным, служители которого ПРЕДПИСЫВАЛИ языку Нормы, и пеняли даже Лермонтову, который не делал различия между родительными падежами *чулков* и *носков*, и говорил шинель вместо шинэль. Другое же направление следовало за языком и исследовало его текущую жизнь.

За три последних столетия в язык пришло множество слов, без которых сегодня он немьслим, и электричество, и революция, и механика, и нация, и социализм, и интеграл, и .... Ну, ясно. Но сегодня хлынуло вдруг снова. Но разница состоит в том, что тогда организму языка недоставало многих веществ, чтобы стать ВСЕМИРНЫМ, и он им стал, оставшись национальным, сегодня же словно в некую пробойну хлынули помои, заменяющие АНГЛИЦИЗМАМИ уже давно (в 18-19 веках) прижившиеся термины с латинскими и греческими корнями, и эта замена носит массовый направленный характер, словно дьявол отдирает от языка одно и пришивает другое, и лезут в наш дом «драйв, сингл, бутік, менеджмент, нарратив...» я, впрочем, не знаю, что эти слова означают, и знать не хочу.

Но это не вся правда. Редактируя ныне множество самодельных текстов, я столкнулся с неким новым стилем письма.

Вообще влияние малороссийской и украинской языковых манер я замечал давно, но язык им противостоял, несмотря на попытки Нины Петровны Хрущевой сделать нормой *карова, серце, лесньица*. Что опаснее, отход от грамматической **нормы** в сторону простонародной практики или южно-русское произношение? И оказывается, что свои опаснее чужих. Надсон, Пастернак, Ходасевич, Мандельштам, Кушнер и моя учительница русского языка, поволжско-казахская немка, – эталон хорошего русского языка, так что чистота языка не *стоит* в прямой связи с "чистотой крови".

Говорение короткими фразами свойственно некому пласту литературы, и если это ОДНО из ее течений, то – не беда, а даже разнообразие. НО – ВСЬ современный литературный язык СДВИНУЛСЯ в сторону РЕДУКЦИИ, чистой информационности и телеграфности (в ущерб эстетизму и эмоциональности). У нашего Овсянникова, у Зошенко, отчасти у Алексева – это их личный стиль, но ведь и ВСЯ литературная современность УТРАТИЛА ПЕРИОДЫ, сложноподчиненные и сложносочиненные предложения, вводные слова и обороты, МЕТАФОРЫ, гиперболы, эллипсы и *параболы* (то есть, *иносказания*). Понятие ТРОПА ушло из литературы.

Свежесть подлинного языка даже бóльшая даже у "инородцев", а "природные" русские стали говорить КАЗЕННО. Какие сочные описания у Чингиза Айтматова в Буранном полустанке! И какое было богатство в переводах иностранной классики!!! Так что мы даже не отличали тот переводной язык от подлинного русского.

Вот еще беда – отбрасывание предлогов. Миллионы наших соотечественников ринулись за рубеж, там говорят "по англички", и теперь уже не скажут "В последнее время", но "Последнее время"; не скажут "В половине второго", но "Полвторого", и тому подобное.

Но еще страшнее то, что язык обыденного разговора стал подменять язык письменный, литературный; скороспелое думанье, болтовня, интернетское общение начали подменять собою КУЛЬТУРУ, то есть *возделывание*, выплавление металла из руды, начали подменять собою *добычу радия*.

Все эти БЛИН и БЛЯ, и прочий мусор хлынули в литературу, заменили ее собою. ПРОСТОнародный язык (когда-то даже питавший наш литературный) подменил собою язык НАРОДНЫЙ, язык выражения смысла и чувства, а не коммуникации и производства.

Нужна ли литература сталевару в процессе варения стали? Семьдесят лет советского ига варилась сталь в домне и в гортани, и в голове, выделался не только новый язык, но и новый человек, не только пошло и тупо и скудно говорящий, но и скудно мыслящий и скудно чувствующий.

**Народ мой – враг мой** (как "*враги человеку домашние его*", по словам Христа)! Вот в чем дело.

Источник языка – "малый народ", творческий, не совпадающий с определенным племенем, – он проходил как Гольфстрим через все население Российской империи, и был в непростых отношениях с дворянами, купцами, крестьянами, греческими и малороссийскими попами, Рюриковичами и «немцами».

Что тут евреи и где тут евреи, и кто здесь русские, не понять через один только язык, надо еще говорить о народе и НАЦИОНАЛЬНОЙ культуре.

Тогда, может быть, что-нибудь пойдем мы и о языке.

### О благонамеренности

На всякий случай прочитал сии пассажи нескольким возможным читателям, чтобы посоветоваться, не обижаю ли я *графиню Марью Алексевну*, или священную Инквизицию, или, не дай бог, ЧК. И хорошо, что посоветовался, читатели вычеркнули из меня все крамольное, остальное велели печатать.

Про евреев нельзя, они обидятся. Если ты их будешь ругать, обидятся за ругательства, устали они от ругательств за две тысячи с лишним лет. Если ты их будешь хвалить, не поверят, скажут, что это замаскированная издевка. Лучше напиши, что некие жители страны Тамаюмы... и так далее.

Про чукчей нельзя, их уже и анекдоты достали. Про *негров* нельзя, за одно это слово уже могут привлечь к суду, *слово запрещено*.

*Краснокожих* упоминать запрещено тоже. И китайцев, и цыган. Нынче *толерантность*, обижать нельзя, слово «татарин» уже "тянет на десять лет".

Не советуем, говорят мне критики, писать про писателей. Они твои товарищи, а что хорошего ты можешь про них написать? Так что уж лучше молчи. Или пиши иносказательно, употребляя нейтральные термины.

Про православных писать тем более нехорошо, к тому же после того концерта котят, который устроили неназываемые персонажи... Нельзя про феминисток. Нельзя про тяжелый рок. Авангардизм и флеш-моб.

Про чужих мусульман я и сам боюсь, даже в похвалу, вдруг зарежут.

Не пишу про огнепоклонников – если им не хватает хворосту, подкинут в костер меня.

Не пишу о Никоне и Аввакуме, это задевает чувства. Не пишу про веру – это задевает разум.

Хотел написать, что земля круглая, но и то забоялся, не помню, разрешена ли папской конгрегацией уже книга Коперника или еще нет.

Не советовали мне употреблять союз НО, потому что таким образом я противопоставляю себя другим.

Союз А я сам решил исключить, он тоже какой-то несогласный.

Не упоминаю теорию относительности, черные дыры, дьявола, оппозицию и митинги. В каждом из этих слов заключен почти весь Уголовный кодекс.

Напиши ка ты, посоветовала мне самая осторожная, только то, к чему не придаться, что никого не заденет, никого не обидит, что согласно со всеми.

Я долго размышлял, наконец меня осенило.

Есть такое слово! Или, иначе говоря, есть такая буква в неназываемом слове! И именно ею я и заканчиваю свою несостоявшуюся речь.

Прощайте, товарищи! Простите за всё.

Постараюсь не ругаться, не сердиться, не обличать, не возражать! **И!**

### Покаяние

С ужасом я начал понимать, что я оказался не таким уж хорошим, каким надеялся стать. Не таким хорошим человеком, совсем никаким математиком, неудачливым Учителем – где мои ученики?

Надеялся в *редактировании* достичь совершенства, выругивал из себя Редактора, как папа Карло выругивал Буратино, из того полена, каким я был.

У меня (и у других) есть прекрасные образцы. Пушкин был прекрасным Редактором, он был ВСЕЯДЕН, и не исправлял авторов. Иванов-Разумник был прекрасным Редактором, он был терпим к авторам и мало их исправлял. Я исправляю тех, кого не боюсь, и не исправляю тех, кого боюсь.

Я хотел бы исправить свой народ, но не знаю, КАК его заманить в правильную печь.

Я хотел бы исправить нашего Бога, но Он меня не послушается, он слишком загордился (особенно тот, *всеобщий*).

Правда, у меня есть еще свой, не совсем тот, что у других... или совсем не тот... хотя и его я хочу исправить. Мой личный Бог ведет себя еще приемлемо. Он мне ни в чем не помогает, но зато не страшит геенной и не требует императорских почестей.

Я хочу исправить даже Дьявола, в романе мне это почти удалось.

Единственное, что мне не хочется теперь исправлять, это ЖЕНЩИНА.

Она прекрасна. Если она станет еще лучше, это ей будет во вред.

Ее надо только любить, терпеть от нее ярость и поношения, иногда равнодушие... и восторгаться ее любовью... Если бы мы знали, каких страданий ей стоит ЛЮБИТЬ нас такими, каковы мы есть, мы никогда не посмели бы ее ругать, ей пенять, даже только нахмуриться.



Но мы не знаем. Нам плохо удается роль положительного человека. Особенно мне, хотя я не самый худший. Худший из лучших. Или даже – лучший из худших... Впрочем, не знаю...

Итак, сосредоточусь на редактуре. Пить не буду. Гораздо меньше. К девушкам приставать тоже. Гораздо меньше. Почти совсем... И на этом заканчиваю, потому что речь, которую я начал как речь трагика, невольно превращается в речь шута (что, может быть, одно и то же, но не многие это понимают).

Р. С. Кстати, цех *редакторов* обширнее, чем я думал, к ним относятся и Учителя, и писатели (инженеры душ), и хирурги (инженеры тел), и политики, и судьбы, и цензоры, правители, даже палачи... Только за последними последнее и окончательное слово, мы же, остальные, ограничиваемся полумерами. 2013 - 2017

### **Новые правила отношений писателей и Издателя**

Журнал наш, оказывается, читают, даже присылают в него стихи и рассказы, отзывы и исследования. Не все удается печатать. И вот, чтобы не писать каждому автору, произведение которого не увидело свет, отдельное письмо с извинениями и объяснениями, напишу заранее сразу всем. Причин, по которым вы не напечатаны, несколько.

1. Во-первых, редактор, возможно, запил и статью потерял. Это бывало не раз в прошлом. Даже с Некрасовым. Отнесите к этому кротко и пришлите другую статью. Если и эта не будет напечатана, пошлите редактора к черту и не связывайтесь с ним больше.

2. Редактор – только исполнитель коллективной воли Издателя, символически объединяющего в себе несколько человек, скрывающихся за псевдонимом «Редакционный совет». Их несколько человек. Сколько, никто не знает, но это живые люди, у каждого свое своеобразное мнение, договориться с ними не всегда просто. Однако, все они влиятельны, они разговаривают, встречаются, изредка выпивают, звонят друг другу, пишут письма (вот и сегодня в три часа ночи я получил два письма). Именованье их каждого порознь мы решили не рисковать, если что, кого-то удастся скрыть, тогда посадят не всех и журнал сможет возродиться, хотя бы под другим именем, например «Старый антирусский журнал», хотя бы и без топора. Итак, если вас не напечатали, виноват Редакционный совет, он ретрограден.

3. И, наконец, могло не хватить места на страницах. Страниц всего 324, а текстов уже на 700.. В таком случае мы тянем рукопись из стола наугад.

Так что не требуйте ни от кого ответа, не будет лишних обид. Я никому не посмею сказать, что пишет он плохо, я и про себя не уверен, что пишу хорошо, к тому же Геннадий Муриков меня уверяет, что это пишу не я, а некий поток, не то сознания, не то «коллективного бессознательного». Желаю успехов в следующем номере. Не отчаивайтесь. Меня самого ни разу в жизни не напечатали ни в каком издании, только в тех, которые я печатаю за собственный счет по договору с типографией (и то лишь в последние 25 лет). Так что я издавался лишь в САМиздате, почти что **на заборе иль на стене**.

Почему так, не знаю. И не узнаю. Бесполезно. Ничего не изменится.....

## Боль мира и хрустальный Замок

*Раннее утро, 9 апреля, 6-38.* Проснулся в пять часов, не мог заснуть, сердце билось или слишком часто или, возможно, совсем не билось, и я сначала занялся телесной гимнастикой (вот оно, единство души и тела!), потом сел за компьютер.

Статьи Евгения Федоровича Ковтуна печатались в МЪре в 93 – 95 годах, уже забыты, да и кто в эпоху разгрома России и культуры читает искусствоведческие статьи?! Так что их уместно напомнить тем, кто еще остался жив и, может быть, напишет новую «Повесть о разорении русской земли Батыем».

Для меня же сие напоминание многосмысленно и многочувственно. С Евгением Федоровичем мне даже приходилось пить водку, хотя он уже был болен и ее почти не пил – но часто я поминаю эту проклятую водку потому, что она символизировала в разговорах и встречах сочувствующих друг другу интеллигентов словно бы *превращение воды в вино*, так что мы не для опьянения ее пили, а для *одухотворения*.

Человек он был мягкий и тонкий, к тому же несчастный, трагичный – как и почти всё в нашей России двадцатого – двадцать первого века, и почему нам плохо, мы друг у друга из деликатности не спрашивали, по определению хорошему человеку должно было быть плохо, за редкими исключениями (как плохому хорошо).

Публикации статей и сочинений из прошлого – напоминание и воспоминание, «времен связующая нить», без прошлого нет и настоящего, нет цельной судьбы, нет Истории, нет России (но и нет Личности, живого человека).

А я ведь не просто напоминаю, привожу примеры, словно бы со школьниками стремлюсь к повторению пройденного для лучшего уяснения – нет, я строю некий Замок, не то волшебный, не то хрустальный, кремневый, бронзовый, воздушный... я строю **Магический замок**.

Что нам, казалось бы, Хлебников, Малевич, Ахматова, Есенин и футуристы, русский авангард, религиозно-философское общество Мережковского, давно отгремевшая Русская революция, тоже давно отгремевшая Отечественная война, хотя многие герои лежат без могил, а многие негодяи в бронзе и граните, и «лепел Клааса стучит в моем сердце» – вот почему я никогда не умру... по крайней мере, пока НЕ воздам!

Друзьям и просто хорошим людям я воздаю долг памяти, русской культуре и истории мы все должны воздать долг истины.

И здесь короткое замечание, в котором сошлось всё.

Власов превращен в *символ предательства*. Рядовой генерал, попавший в плен по вине всего советского руководства и Верховного главнокомандования, а с ним ПОГИБЛА и частично попала в плен русская крестьянская армия (миллионы русских людей!!!!!!!!!!!!!! А это как будто никого не касается.) *Символ предательства* отдувается за всё. Посмел Солженицын поднять руку на Сталина и сказать о миллионах русских страдальцев, расстрелянных и

заклоченных, и вот уже он *литературный власовец*, и хотя новое правительство награждает его орденом, и сталинисты это новое (или новейшее) правительство любят, но так до сих пор я побаиваюсь в литературных компаниях заговорить об Александре Исаевиче. А ненавидевший Сталина Виктор Астафьев, обвинивший и его и Жукова в сознательном сохранении блокады? Что ж вы камни в него не метаете? А генералы Горбатов, Рокоссовский, Мерецков и десятки других, из застенков на фронт? И как же это не они, а неудачно на Ржев наступавший непобедимый генерал (с полутора миллионами погибших) стал маршалом Победы?

Но дело даже глубже, трансцендентно глубже.

Русский народ не хуже других. Есть у него святые и есть герои.

Есть и такие, кто с одной стороны черный, с другой светлый, и таких большинство. Я говорю о Хрущеве. Пятьдесят шестой год и двадцатый съезд психологически был судьбоносен не менее Реформ Петра Великого, он изменил отношения людей к власти, отношения между людьми, он произвел на свет хотя бы частично нового СВОБОДНОГО человека, еще невиданного в русской истории, еще не проявившего себя в ней – но наше время еще не истекло. Мы пытаемся найти правду и начинаем почти с нуля. Потому что иное уже – пепелище, иное вытоптано, иное оболгано. Но меня в моих поисках правды изумило даже не то, что на Руси столько страстотерпцев, а то, что **столько предателей**. Столько изменников и просто негодяев. Или нехристей. Или двурушников, троцкистов, кулаков, меньшевиков, пособников Пятой колонны, русофобов, доносчиков, расстрельщиков, штрафатовцев, чекистов, oprичников, крамольников, литературных и нелитературных власовцев, заградотрядовцев, особистов, оперуполномоченных, шпионов, вредителей, диверсантов и даже подкулачников... Это не считая просто **врагов народа**, недоносителей (тоже враги), и всех тех **кто не с ним и не с ними, а ЗНАЧИТ и против него и против них**.

Во всех вместе взятых народах мира нет столько внутренних врагов, как в России. И при этом, начиная от младенчества, все кто чему либо учился, кто пел песни и учил стихи, впитывал с молоком матери творчество и деяния этих врагов, ими гордился и на них молился, их сочинения изданы, многим из них поставлены памятники (посмертно). (Прижизненные памятники многие или не вызывают почтения или снесены с лица русской земли. Правда, пока не все.).

**Пушкин...** "*Умер, правда, как христианин*". Так сказал священник, причастивший его перед смертью. Все теперь повторяют. Отлегло. Хотя никого столько раз не опровергали (в шестидесятые - семидесятые годы 19-го столетия революционными демократами), не обличали в грехах (Владимир Соловьев и официальная церковь и даже Лев Толстой), не свергали с пьедестала и с корабля прошлого и современности.

**Гоголь.** Заставили отречься от Пушкина, сжечь свои «гнусные» Мертвые души (а уж даже и Мережковский с Розановым на него ополчились, сами бог весть какие христиане!) и отречься от творчества. Но умер зато *как христианин*, выбросив Пушкина на помойку.

**Лермонтов.** На этом клейма негде ставить. Кто только не писал о нем гнусностей. И кто только не доказывал, что он третьестепенный автор! И даже Розанов сначала был против. А русский народ, состоящий из предателей, почему-то приговорил: **Пушкин И Лермонтов** (вместе). А его прошлое и слабое прокламационное стихотворение, в котором ни грана поэзии ("На смерть Поэта") единственная неопровержимая аксиома, и *невольник чести, и презренные потомки известной подлостью прославленных родов, и но есть, есть Божий суд, наперсники разврата! и он убит и взят могилой...* и каждая строчка вспоминается, как ни зайдет разговор, более и доказательнее исследований. И так же Бородино, оно нас обучает русской истории. И «люблю Россию я, но странную любовью...» И «настанет год, России черный год...» Да все остальное в творчестве юноши, не успевшем стать взрослым. (и странно, что даже те, кто его признали, как Розанов, все говорят о том, что обещал он написать многое выдающееся – как будто бы не написал достаточно, чтобы стать вровень с Россией и русской поэзией, а не ниже их).

**Есенин.** Подкулацкий поэт. За чтение его стихов в 1940-м еще сажали. В 1995 поставили памятник в Таврическом саду. Я даже издал пятитысячным тиражом «*Шел Господь пытать людей в любви*» и отвез сам лично на грузовике в Константиново на Праздник дня Рождения и под проливным дождем воскликнул: *Налетайте и расхватывайте бесплатно!* (Все расхватали). (И не лучший ли это сборник стихов Есенина?)

**Достоевский.** Ту гадость, которая на него говорилась пролетарскими Инженерами человеческих душ, я упоминать не буду, мне лично повезло, как раз в эпоху отрочества в 1958 году издали его десяти томник, и я начал с «Записок из Мертвого дома». На слезах, пролитых мною тогда при чтении, и проросла моя душа. (И вот к слову о Большевицкой тюрьме, в которой был заключен тогда русский народ. Не только крестьяне при Хрущеве впервые получили свободу и были реабилитированы как остатки русского народа, но и русская литература была **реабилитирована**. И культура в целом, музыка, наука, отчасти и философия. Мое поколение получило возможность дышать ДУХОМ. Нам была возвращена, хотя не сразу вся, русская культура с 1817 по 1917 год, то есть вся душа русского человека). О чем тоскуют сталинисты и за что они проклинаят Хрущева, я не пойму никогда, мы сотворены из разного, как и я сотворен в частности и из математики, разгромленной христианами и проросшей через тысячелетие из черепков, из философии, разгромленной христианами и проросшей через тысячелетие из черепков, из искусства и наук в широком смысле этого слова... Что потеряли сталинисты с сталиным?

**Толстой.** Анну Каренину я прочитал в 13 лет. Потом перечитал в Тюрьме Большого дома. Войну и мир после девятого класса. Читаю теперь его статьи. Ругаюсь. Возможно, не более как я поругиваюсь иногда с своей женой. Мы не всегда одинаковы. И я с Толстым не всегда совпадаю. **Но...**

**Серебряный век русской культуры.** Звали и ждали новую зарю. Накликали Новое татаро-монгольское иго.

И вот теперь возвращаюсь к вопросу о предателях и врагах народа, которых стало в России больше, чем во всех народах вместе взятых.

К власти пришли революционеры, иноверцы, инородцы, как и всякая революция производится не тем, что внутри души, а что на ее окраине. Окраина всегда ненавидит исконное, стремится ее уничтожить и заместить. Но окраина душевно, духовно, интеллектуально несостоятельна, ни хозяйством ни армией она управлять не умеет, хлеб у нее не растет в труде и государство не развивается в творчестве, а только в цепях и на дыбе, и потому сознаться в собственном слабоумии Новый правящий класс не мог, и он объявил бесконечную войну русскому народу. Но его же и эксплуатировал, его же творческим гением и пользовался, и вот...

Сто лет мора и глада, зверств и насилия, *сто лет одиночества...*

Как еще что-то живо?

Но ныне даже **поклоняемся** мы бесчисленной банде предателей, врагов народа, недобитых, недострелянных, недозамурованных...

Одних новомучеников в возрожденной церкви миллионы! А даже в страшном сне чекисты не могли представить, пытая какого-нибудь Войно-Ясенецкого, что это будущий архиепископ Лука и даже (о, ирония Судьбы!!!) лауреат сталинской премии как великий хирург и ученый. И трудно было представить, что мы будем гордиться (*все как один поднявшие руки за их истязания и расстрелы!!*) и Туполевым, и Королевым, и Николаем Вавиловым, гениальным русским биологом-генетиком, создавшим полнейшую в мире коллекцию растений и Институт растениеводства, и Гумилевым-отцом, расстрелянным, и Гумилевым-сыном (трижды сидевшим), и Цветаевой и Маяковским (доведенными до самоубийства), и Есениным, убитым чекистами, и Ахматовой, женой и матерью врагов народа, будем гордиться маршалами Рокоссовским и Мерецковым, генералом Горбатовым, Варламом Шаламовым – естественно, прошедшими через Гулаг, как все, в ком было сколько-то личности и таланта.

Это вам не синодик Ивана Грозного... А, кстати, образованный человек, знающий русскую историю, разве не гордится князем Курбским, как и патриархом Кольчевым. убитым Иоанном, считавшим себя не русским а "ромеем"? О необразованных говорить будем позже. Подавляющее число нашего народа и нашей интеллигенции невежественно до белой горячки... но ведь и у всякого народа большинство невежественно, и во времена Пушкина даже в правящем сословии чернь составляла большинство – но не они задавали тон. Вот в чем наша беда – в семнадцатом году ЧЕРНЬ захватила власть в России, и уж она то нам **отомстила!** – не столько дворянам, а "книжникам"!

Но ведь и сказано было, что **блаженны нищие духом!**

Вот они наконец и блаженствуют.

А я, сын крестьянки и крестьянина, ставшего офицером на войне и оплатившего свое офицерство и свою верность родине смертью – что я скажу своему народу, если он вдруг вознамерится меня расстрелять?

Я, может быть, единственный поэт и философ и математик, народный и в духе и во плоти, по рождению и первоначальному воспитанию, и лишь с семи лет воспитываемый литературой и ученостью аристократии, их Гомерами, Фалесами, Евклидами и Аристотелями, но *научившийся читать при свете лучины*, при этом свете читавший протопопа Аввакума (и даже при *том свете* ... не помню что, но что-то я впитывал и узнавал)...

Я был рационален, как положено математику. Я вдохновлялся, как велели музы. И мне были видения. Но необычность моей судьбы состоит в том, что я нигде не перешел через край. Я создал в 17 лет нелегальный марксистский кружок, но посадили меня как нового русского националиста.

Я плакал, слушая пение хора во храме, но вот ныне я и с Пушкиным, и с Гоголем, и даже с Толстым, и даже читаю Владимира Соловьева, и не всегда чертыхаюсь, и... много еще...

Мы, враги народа, пособники Пятой колонны, предатели, еретики, последователи чуть ли не антихриста, последыши чуть ли не нацистов, подкулачники, самодельные философы – мы плохи для всех.

Православные нас с радостью потащили бы на костер, только пока не настало вполне их время. Коммунисты бы нас расстреляли или отправили на лесоповал. Западники, либералы и «низкопоклонствующие перед Западом» сторонятся с негодованием нашей бересты и лаптей. Впрочем, марксисты тоже. Впрочем, и православные, ибо их славянофилы уверили, что русские без православия одна мерзость.

Я завидую тому, что все они счастливы, обрели истину, даже ныне пытаются объединиться в некое православно-коммунистическое братство. Они ясно видят дорогу, по которой идут – но их истина отделена от **мира**.

Быть с миром гораздо труднее, чем быть с Богом. Для этого надо быть прежде всего с культурой. Но ведь я не такой уж образованный, и как им удалось стать невеждами большими чем я, уму непостижимо.

Я слушаю Шостаковича, слушаю Шаляпина, Русланову, Плевицкую, Смирнова, Нетребку, Скрыбина! Когда праведники потащат меня куда-нибудь вбок от светлого мира, в тьму кромешную, я спрошу их: А вы слышали, как играет на флейте Машенька З., как поет Анечка Ш.? Они мне промчат что-то ненавидящее, и я их пожалею. Потому что я родился среди них, среди них вырос, в них влюблялся, с ними пил водку – пока я не пойму, в чем их вина, почему они не читают и не любят читать, почему остановились на Марксе, на Горьком, на апостоле Павле, на частушках, не знакомы с Пенелопой, Кассандрой, Электрой, Ксантиппой, или если и знакомы, то почему-то предпочли каких-то других, не таких интересных... пока я не пойму, в чем их вина, я их не смогу обвинять. И пусть они меня расстреляют. Они не хуже меня оттого, что не любят Достоевского. И я не лучше их оттого, что в детстве читал Пришвина. И что у меня были красивые и умные родители...

Но я народнее всех, говорю я тем, кто меня обвиняет. И это правда.

Но я и враг народа, я ненавижу его рабление, его ненависть к свободе, его **забвение долга перед Россией**.

*12 апреля 2017 г.* В 1962 году в этот день мне лень было идти на лекции и я с друзьями отправился выражать (с самодельным плакатом) свой патриотический восторг, в результате за нами по Невскому пошла многотысячная демонстрация, закончившаяся митингом на Пушкинской площади (плакат я отдал в Музей). Чем отличаюсь я от других? Я люблю классическую музыку и ее слушаю, даже с пластинок, или по Интернету, или в Филармонии и на концертах. Почему? **Я слышу**. Я слышу шум водопада, грохот грома, шум

ветра и его завывания, слышу и воспринимаю красоту звуков и их сочетаний (в музыке и в речи). **Я вижу.** Смотрю на закат, на небо, на деревья, на цветы и на девушек. Не все девушки мне нравятся, как и не все деревья. И все же я люблю природу, девушек, человека, русский народ. *Люблю* даже «негров преклонных годов», если они не мешают любить. Я не только вижу окружающий мир, но чувствую и переживаю его красоту в красках и линиях. Большая часть богословских сочинений посвящена презрению и ненависти к миру, его отрицанию, и я **отрицаю отрицание**. Собственно говоря, защита человека и возражение потоку ненависти, направленного на него то христианством, то марксизмом, то буржуазным оскудением жизни и человека и низведением его до «механизма присвоения» и есть мои подлинные **анти**, и чрезмерно приписывать мне анти-христианство, анти-индивидуализм, анти-социализм. Я бы охотно выпил с олигархом и попытался понять, почему ему жалко подарить мне даже рубль на мой *самый умный журнал в России*. Я бы охотно выпил с настоятелем монастыря, озабоченным развитием и процветанием монастыря и спросил у него, зачем ему Исаакиевский собор (мы ведь разрешаем православным ездить по улицам, дышать воздухом, пить воду, летать в самолетах, хотя преимущественно все, что в России, создано совокупным трудом народа, большинство которого не читало Новый Завет, тем более Ветхий). Я бы выпил даже с Лимоновым (Проханов, боюсь, и не пьет, а с Зюгановым побоюсь, вдруг дух Сталина на минуту воскреснет при нашем распитии). Но я никогда не пойму, почему они стремятся к тому, чтобы мир стал однородным, что если они глухие и слепые, то и никто не должен видеть краски и слышать звуки. Или все должны всё слышать и видеть одинаково: например, "в режиме" растворения в Боге, или в режиме растворения в обществе, или в режиме растворения в присваивающей, потребляющей и отдающей ничего никому индивидуальности.

Но я понимаю, что никому из слепых и глухих я ничего не смогу объяснить. Ибо для того **«надо сеять очи, и должен придти сеятель очей!»**

Но ведь я еще обоняю, чувствую запахи, даже розы и тюльпаны все мне пахнут, и ночные фиалки, и лилии, и все эти запахи я люблю, и **аромат женщины** тоже. (Две тысячи лет ненависти к женщине... Разве можно от этого отмахнуться? Помимо ненависти к культуре и образованности... А разве эта ненависть не в сердце христианства?)

В моей любви к миру (ибо, впитывая запах цветка, я же не собой восхищаюсь и не себя люблю!) важно еще и осязание, и я **прикасаюсь!**

Прикосновение губ и рук, / Прикосновение... ах: / в словах, улы, я только вру, / когда ласкает страх.

Прикосновение рук и губ... / Целуй меня еще! / ...Стихов, дождя, органичных труб, / волос и глаз и щек...

Да, я люблю прекрасный мир, / жалея и скорбя, / за то, что он несчастен, сир... / и рядом нет тебя...

Я соберу вас всех за стол... / нет, лучше – в огород! / Нас дождь польет, прочтет *простой* / и непрстой народ.

И пусть не скоро, но взойдут / те очи, что в слезах / мы закопаем в землю тут... / Мы все умрем, стихи умрут... / *Но оживем в стихах!*

Я всю жизнь опровергал чужие мнения, наконец, сдаюсь, смиряюсь с тем, что они неопровержимы. **Тот, кто приходит, чтобы слушать, смотреть, обонять и прикасаться, пробовать на вкус, мыслить и трудиться, любить и творить, сострадать и заботиться** – не нуждается в опровержениях. Даже если он будет иногда не прав, он увидит свою неправоту, вглядываясь в мир. Я понял, что похожу на человека, стоящего под дождем, чувствующего порывы ветра и мокрый дождь, и пытающегося доказать нечувствующему, что на улице дождь. Но есть ведь и не чувствующие боли, тем более много тех, кто не чувствует чужую боль, не чувствует боль мира, не жалеет его. И что с того, что кто-то скажет, что в нем вся истина мира, если он не страдает чужой боли?

Итак, я решил стать Редактором, отчасти создателем, отчасти режиссером и дирижером. Я не буду больше писать плохих стихов, потому что не буду писать никаких. Моя задача – соединить в единство литературно-музыкального представления тех, кто умеет говорить, читать и писать. Наш журнал – это спектакль. Нет, это концерт. Нет, это прекрасный архитектурный ансамбль, Площадь искусств, Исаакиевская площадь, Летний сад, Павловский парк... Может быть, это нечто еще более высокое, это строительная площадка Нового мира. Но я не восклицаю, что *«теперь новое небо, все новое!»*, потому что никогда не повторю отвратительных слов «Весь мир ...насилы... мы разрушим», а поэтому не будем мы строить другого нового мира, но *отредактируем* тот, что есть. *Преображение – вот наша созидательная работа. Сеянье очей – вот наше призвание.*

Зачем же теперь опровергать чуждые мнения?

Вот есть гениальный автор, написавший «Чтения о русской поэзии». Я с ним спорил, я его ругал, поучал, потому что он страстен, увлекается, вот, например, его возмутил Лермонтовский Демон, и он начал ниспровергать Лермонтова. Так ведь и Розанов ниспровергал и Гоголя и Лермонтова, переболел ниспровержением и зарыдал: «О, если бы Лермонтов пожил еще полгода!!!» Он как-то почувствовал наконец, что через полгода Лермонтов превзошел бы Пушкина. Но зачем? «На смерть поэта» – гениальное стихотворение, потому что в тысяче житейских обстоятельств мы вспоминаем то одну то другую его строку... И «но жизнь, как посмотришь с холодным вниманье вокруг...» – тоже гениально, в этой строке он предвосхитил наше сегодняшнее разочарование, отчаянье... *«В небесах торжественно и чудно, спит земля в сияньи голубом»* равновелико *«Буря мглою небо кроет»*... Итак, Лермонтов-юноша поднялся, стал вровень с Пушкиным, но Лермонтов – всемирный дух, не ущербным богословам его понять, и Лермонтов знал, что необходимо стоять чуть-чуть позади Пушкина, юноша должен быть вторым, а Пушкин, рано состарившийся, первым. Так и осталось. И умерли они по необходимости, тогда и так, как надо. Ибо не надо же было бы им двоим вскопать и засеять все наше поле, надо было что-то оставить для нас. Не они виноваты, что мы так плохо и неуклюже пишем. Они умерли, потому что так было надо, и не нужно были ни кольчуги, ни снайпера в кустах подле Мартынова.



И все же Н.И., при всей христианством заданной несправедливости то к одному, то к другому поэту, пишет глубоко, и противостоит православному мракобесию профессора духовной Академии, взявшегося писать о стихах (еще бы Филарет Московский подвинулся бы о них писать, еще один сапожник, вместо того, чтобы тачать сапоги)... (И, к слову: а что это царей и *подвижников божьих* церковь и Писание поставило неизмеримо выше поэтов? Разве Бог не через Поэта говорит с человеком? С чего это Николай Иванович взял, что Откровения Иоанна-Лествичника **выше и нужнее**? Или что сочинения Дионисия Ареопагита выше Аристотеля? Или так высок Блаженный Августин? Или Тертуллиановские «Размышления о душе»... или **о девстве** блаженного Иеронима? ("Невероятно, но факт" – а это ведь я, по собственному почину, их всех издавал в девяностые годы, я первый, перее всех, вместе с "Россией и Европой", "Радзивилловской летописью" и "Житиями святых"... многих ... за что благодарный православный народ меня и посадил... но и за это я благодарен народу! Никто меня не обижал даже в тюрьме, живу я хорошо, и даже баню в деревне построил! (Но до нее еще дойдет разговор!) Но хватит оспаривать мракобесие! Есть умные, талантливые, образованные, пусть они даже думают, что русская литература чем-то обязана «духовным традициям», что Гоголь и Маяковский, что Розанов и Мережковский писали хорошо благодаря им – но с мракобесием им и самим не по пути, потому что **те**, за которых **эти** ратуют, ни Гоголя ни Мережковского НЕ читают, или несут на помойку, и поэтому **мои** Калягин и Казин сами возразят *тем* лучше меня. Поэтому собираемся на огород и согласно работаем, я никого переубеждать больше не буду, переубеждайте меня, если хотите, только не будем ссориться, будем любить друг друга, хотя бы за великодушие.

*Вечер того же дня.* «Доказать ничего нельзя!» – справедливо сказал старец Зосима – но он надеялся, что «можно проверить». Нет, в большинстве случаев и проверить нельзя. Все те, с кем мы спорим, отделены от нас трансцендентной пропастью, мы существуем в разных пространствах бытия.

Можем ли мы понять друг друга с рыбами, можем ли мы с ними спорить и в чем либо их убедить, если они живут в воде, а мы в воздухе? Нормальный советский или постсоветский обыватель пребывает в бытийном пространстве, почти не содержащем общих элементов с нашим миром. Завод или фабрика, пивной ларек, дом, ужин с женой, диван, телевизор, встречи с друзьями, походы на стадионы, поездки на рыбалку, игра в домино. Он не слышал слов цензура, свобода слова, свобода политической деятельности, свобода совести, он не понимает, что такое свобода, если это понятие не доступно даже признанному авторитету в философии свободы Бердяеву, если в нем плавают, как студент на экзамене, Достоевский, отсидевший на каторге и в солдатские несколько лет. И вот постсоветский обыватель видит картинки советского быта, когда он был молодым и здоровым, когда в водку еще не добавляли психотропные вещества, когда и бутерброд с килькой был молодым и здоровым, видит запуск ракеты с Гагариным – и он вспоминает то время как

райскую жизнь. Мой товарищ вдруг узнает, что Королев, наша гордость, сидел, что Туполев – тоже, сидел Рокоссовский и Мерецков, и Мерецкову Берия лично выбил все зубы. И он говорит: Зачем вы, низкопоклонники Запада, нам это рассказываете, зачем омрачаете нашу гордость? Зачем мне знать, что сидел Королев, а Ольгу Берггольц били по животу коваными сапогами, так что выбили из нее ее антисоветское отродье? Зачем это знать? Мы были счастливы, когда пели «Спасибо Сталину за наше счастливое детство», враги народа лишили нас нашего счастья, мало вас расстреливал Сталин, жаль, не всех расстрелял!

В этом номере журнала приводится рассказ об учителе, уличенном в скрытой пропаганде христианского мракобесия, в следующем номере уличат и меня в пропаганде сомнения и безверия. В прошлом я рассказывал о комсомолках, призывающих распинать душу во имя насаждения духа. Но они никогда не слышали слов «духовная свобода» и не понимают, что это значит, если они не знают, что такое свобода в философии и литературе и зачем она была Пушкину... И так далее...

Романы, музыкальные произведения, живописные полотна, философские эссе – показывают и рассказывают. Возможно, они сдвигают что-то в душе зрителя и читателя. Образ, символ, метафора (троп) действуют сильнее нагромождения силлогизмов. Поэтому надо отказаться от спора, надо отказаться даже от доказательств и от проверок. Возможно, что существуют незримые пути от одного сердца к другому, эти пути, эти образы, символы и иносказания я и должен находить. Отныне я буду занят тем, чтобы в журнале было все совершенно, чтобы не требовалось никого ни в чем убеждать, чтобы происходило расширение и возвышение душ и прорезали очи.

Я, правда, давно знал, что школа способна поднять всякого человека, если учитель будет учить хорошо и талантливо. Если дети будут учить наизусть великих поэтов, изучать науки, возвышать вкус, руководствуясь великими образцами. Но для этого необходимо, чтобы в школе изучали Ломоносова и Толстого, Пришвина и Тургенева, Блока и Гумилева, но не Багрицкого и Демьяна Бедного. И вот здесь начинается погибель всякой истины, добра и красоты. Тирания всесильна. Государственная власть способна изъять из школы Платона и Фихте и насадить Ленина и Маркса, – и после этого я ничего не смогу доказать даже самым умным ученикам. То же самое при насаждении монбланов церковной литературы. Изменяется мышление, чувство, восприятие. Даже хороший поэт начинает звучать вульгарно. Я вдруг почувствовал, что не могу читать Тютчева, из каждой радиоточки я слышу пошлейшее «Умом Россию не понять, в Россию надо только верить!» – но это утверждает любой проходимец от Троцкого до Гитлера, прежде всего он призывает в него поверить, все остальное приходит само собой. Не читайте хотя бы временно Тютчева, это не третий писатель в нашей иерархии поэзии, он уступает Некрасову и Блоку, Вячеславу Иванову и Гумилеву.

Но это так, к слову.

Я не буду спорить о сравнительных достоинствах Сталина и Хрущева.

Я заведу поминальную книгу, на каждый день хотя бы по несколько

строк. Вот и сегодня, в праздничный день космонавтики, читаю из Интернета, почему СССР уступила лидерство США. Конечно, нищая страна не могла долго соревноваться в весьма дорогой программе с богатой страной (а что мы были нищими не только духом, хотя и блаженными, но и в вещественном значении этого слова, знает каждый, кто тогда жил и был озабочен не только ста граммами, но и хотя бы увлекался чтением, музыкой, фотографией, лыжами, коньками, красивой одеждой, походами и девушками... впрочем, я и тогда был странным... Я носил пальто с чужого плеча, в летних сандалиях зимой проходил ночью по снегу двадцать километров пешком, возвращаясь с свидания – а к девяти мне нужно было попасть в школу, где я учил математике..) – но не из-за одной нищеты мы проиграли в космической гонке, в которой главенствовали Глушко и Королев. Оба они **прошли ГУЛАГ**. Королев проходил по делу Тухачевского, а вот Глушко проходил по *доносу* Королева. (Но не спешите осудить Королева. Многие выдерживали пытки, и почти все подписывали *доносы* следователей, Королев не хуже других). В 1962 году Глушко получил свое дело из архива, где и увидел показания на него Королева, это сыграло роковую роль, вместо сотрудничества каждый из них развивал свою собственную программу, отрасль не выдержала затрат, на Луну не полетел ни один.



Не буду больше доказывать, что советская власть была изуверской, будем просто каждый день смотреть в *поминальник* – русский народ настолько талантлив, что на каждый день нетрудно будет выбрать сотни и тысячи замученных и расстрелянных поэтов, ученых, художников, инженеров, актеров, директоров заводов, председателей колхозов – не считая так называемых вредителей и диверсантов, в которые приписывались агрономы, офицеры, учителя, работающие крестьяне и совестливые рабочие. Причина проста – пролетариат не способен руководить ни наукой, ни промышленностью, ни сельским хозяйством, но расстреливать способен почти всякий.

Не надо вспоминать с ностальгией и умилением эпохи, в которые жили наши матери и отцы, дедушки и бабушки, за все столетия русской истории было убито в сто раз меньше русского народу, крестьян и дворян, чем за один злополучный двадцатый век. (Хотя это не решает автоматически трагическую проблему: была ли русская революция только новым татаро-монгольским погромом или необходимостью.)

Но кому не жалко русский народ, продолжайте любить своего Сталина. Некоторые любят и Троцкого, и они не хуже других. Студентом великий Варлам Шаламов был троцкистом, за что и был в первый раз посажен, затем по инерции **просидел двадцать лет**. (Нам же это не снилось. Даже замечательный Н. Н. Браун просидел только десять лет, а я всего три с половиной).

## Правда и справедливость.

Сначала нужно стать хотя бы той нервной клеткой, через которые проходят нервные импульсы бытия, только потом человек становится подобием человека и его рассуждения начинают относиться к бытию мира, до этого он только камень, лежащий на обочине, камень, из которого никто еще не пытался соделать детей Аврааму. В 1837 году умер Пушкин, Россия его хоронила. Но, следовательно, Россия сосредоточена была в тех пяти тысячах Петербургского народу, которые пришли проститься ко гробу и шли за ним. Был ли Россией весь остальной народ, даже если он верил в Бога?

Формальная попытка исследовать БЫТИЕ, найти его содержание, бес-содержательна, происходящее по большей части не имеет отношения к тому, что происходит. Двигались повозки, двигались люди, разжигались печи, шел снег или дождь... возможно, именно это и было содержанием истории, ленина или троцкого, рыкова или сталина, пять миллионов сидело в лагерях, еще пять лежало во рвах, еще семь миллионов умирало с голоду, затем по крайней мере двадцать миллионов легло по полям и перелескам, канавам и болотам, но стопятыдесят миллионов хотя и дрожало, но прожило свои пятьдесят или семьдесят лет и временами было блаженно (нищетой духа). О чем с ними разговаривать? Имеют они отношение к Истории? Только литература бросает отсвет и на ничтожного человека, только она позволяет иногда посмотреть не только на боярыню Морозову, умирающую ради торжества двуперстного крещения, но и на стражника, боящегося ей "*дать калачика*". Что входит в бытие, в историю, в происходившее, только ли то, что отразилось в «житиях», или и самая заурядная а иногда и паскудная жизнь? Хорошо ли было при Сталине? Это бессмысленный вопрос. Выжившим было хорошо. Хорошо было даже во время войны, если умирающие от голода блокадные дети не наполняют нас болью. Вот почему мне иногда хочется кричать, что я, сын погибшего командира взвода, приговариваю всех тех, чьи сердца не пронзались болью, к вычерку из истории!!! И я еще им отомщу! Хотя бы презрением! (Но не уподобляюсь ли я Судии, страшавшему малодушных варом и огненной пещью, за что я сам справедливо порицал Его в безжалостности к человеку?)

Оставим пока *праведный путь*, оставим пока и истину.

Что же движет мною, непризнанным писателем (да разве я рвусь в писатели?), непризнанным математиком (да разве я рвусь в математики?), но все же хотя бы для горстки авторитетным редактором? **Мною движет жажда правды и справедливости.** По поводу каждого высказывания, мысли и чувства, по поводу каждого поступка и каждого замышления (как в математике по поводу каждого утверждения) можно узнать, относится ли это к правде и справедливости или нет. Вот этим я и буду занят. Мне приходилось видеть кинохронику тридцатых годов, торжество в Германии национал-социализма, торжество в СССР социализма-интернационал. И там и здесь ликовали толпы (возможно, ни в толпах ни в народных «массах» правды нет). Кстати – народ – это ЛИЧНОСТЬ, *народная масса* составляет клеточки

его тела, возможно, почти все эти клетки не имеют почти никакого отношения к тому, что испытывает, переживает, что мыслит и чем одухотворена личность народа, потому и Германия не так безобразна, как ликующие миллионы при речи фюрера, но, следовательно, немецкий народ – это только Гете, Шиллер, Вагнер, Фихте и Гегель, может быть Бисмарк, все же остальные не имеют отношения к тому народу, частью которого они себя мнят? Так и в СССР, и в России?

Мне приходилось пить водку, и я могу отличить ее от воды. Но с вещественной точки зрения та жидкость, которую я называю водкой, только на две пятых спирт, а на три пятых чистая вода. Еще хуже с вином, превращая воду в вино, даже Христос оставил в превращенном шесть седьмых воды, и все же никто не подумал, что пьет воду. Так и король, заявивший «Франция – это я!» – быть может, был совершенно прав, хотя и был один из миллионов?

Литература поэтому не совпадает с историей, часто они противоположны, мнения населения, частных людей, тех толп, которые протекают мимо нас, пишущих и рассуждающих, оглядывающихся назад и всматривающихся в завтра, – надо ли их принимать во внимание, надо ли с ними спорить?

Жаль, что я никого не смогу убедить в своей правоте... жаль. Но я не могу и с обуви своей отряхнуть свой бездарный народ, не существующий в бытии, как к тому призывает нас христианство ...

Надо было бы мне написать роман, в котором добро побеждало бы зло, и на том успокоить больное сердце свое. Или ... Хорошо, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, но почему все остальное, что говорится о жизни, напоминает ту «пургу», которую несут то Бердяев, то Розанов, то Мережковский... но что несут мои попутчики в автобусе или трамвае, часто еще хуже. И что несут те безумные, которые высказываются в интернете... Может быть, не читать? Не читать такие высказывания, таких газет, а даже и никаких? Удивляется философ, что я влюбляюсь... Да ведь иначе сойдешь с ума. Не с кем поговорить. А с красоткой говорить всегда интересно, и почему то она никогда не несет пургу, в отличие от Бердяева...

Но все же попытаюсь на частном примере продолжить уяснение своей мысли о ПРАВДЕ.

Я вдруг понял, что дело не в том, что мы некий предмет или явление оцениваем по разному, один говорит, что вино плохое, другому оно нравится. Но дело, оказывается, в том, что мы называем одно и то же явление по разному. Некого беса я называю бесом, рядом со мною ему поклоняются и называют ангелом. А там ангела влачат на костер и все плюют на нее и называют ведьмой. Почему одно и то же мы видим противоположным образом? Чему же можно читателей научить, если способ смотреть у нас разный, если понятие о добре и зле не совпадает?

Вот я перепечатал из «МЪры» (двадцать пять лет назад я возлагал на нее, на эту МЪру, те же упования, что ныне на «Журнал с топором») статью Казина о **Святой Руси**. Разве не этой же идеей воодушевлялся и я в своих мечтах о грядущем преображении России – надеясь, что новое сословие честных и благородных возглавит ее после 75 лет коммунистического ига?..

И что же – не надо мечтать, говорит мне автор, вот эту кривобокую и косоглазую **назови** красавицей и введи в свой дом. Другой не бывает. Другие еще хуже... Хуже католическая Европа... Да, убивал Иван Грозный своих рабов, другие убивали еще больше. Да, он был убийцей, но он верил в бога.

Что тут можно возразить? Если Достоевский в своем романе «Преступление и наказание» рассказывает и показывает нам, что Раскольников *замочил* двух невинных баб, в общем-то, не пишущих романов (и не важно даже, веривших ли в Бога) и за то должен отправиться на каторгу, потому что **иначе не сможет жить на земле, иначе душа его не оживет и будет мертва** (ибо убивая другого, мы убиваем свою душу), то мы все с этим согласны и не спорим, и на уровне человеческих отдельных душ законы правды и справедливости все воспринимаем одинаково.

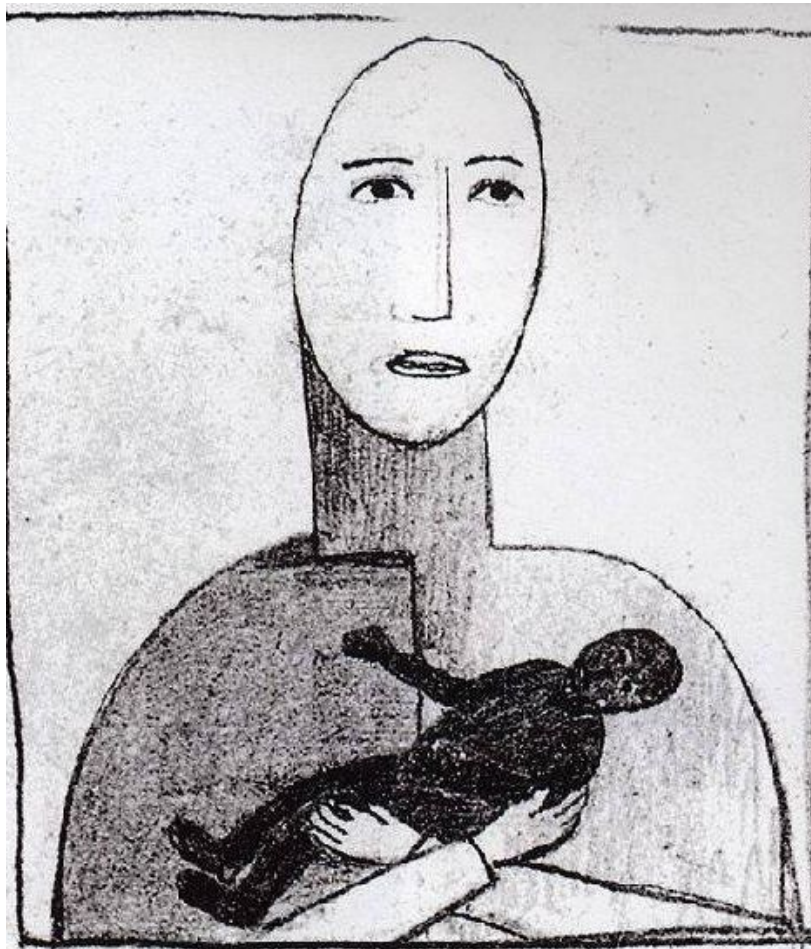
Но вот вместо литературы, вместо романов и пьес, трагедий и симфоний в спор вступает богословие, философия, история – и мы не узнаем наши привычные человеческие верования, наши традиционные чувства и взгляды, впитанные с молоком матери. Если в человеческих взаимоотношениях, на уровне **отдельных** (личностей, семей, родов, деревень) ничто не вызывает разногласий, и жестокий человек всеми видится и понимается и оценивается как жестокий, алчный как алчный, жестокосердый, безжалостный, с каменным сердцем, ленивый, глупый, завистливый, самовлюбленный, пошлый, тщеславный, циничный... то философ, подходя к наименованию и оценке событий, в которых участвуют уже не *отдельные*, а *множества* (народы, классы, сословия, партии, группы, разбойничьи сообщества) отбрасывает все общепринятые нормы, правила, оценки, заповеди, правила добра и зла, забывает мгновенно и «не повреди» и «не убий», а привлекает для анализа некие искусственно созданные криволинейные зеркала и лупы, прикрывающиеся именем науки или метапознания, то есть статистику, социологию, политическую экономию, общественную психологию (но не Густава Лебона), богословие, теософию, ... и тогда оказывается, что убийство одного – это преступление, убийство миллионов – это подвиг.

В этой статье, в этих рассуждениях о добре и зле, об истине и лжи я стараюсь не навязывать читателю своего понимания того, «что есть истина», а только призываю и всех нас к рассуждениям и обсуждению. Я только хочу, чтобы мы в своих спорах исходили из того, что это не академические словопрения, а спор перед расстрелом, или перед концом света, или перед потерей чего-то для нас самого важного, после чего не стоит жить совсем.

Есть ли Бог, в чем призвание литературы, надо ли верить или строить баррикады, застреливаться, сойти с ума, замолчать, отвернувшись к стене... я хочу, чтобы мы разговаривали так, словно этот разговор последний.

И статья Казина о святой Руси замечательна, и возразить в ней я почти ничему не могу, и ни с чем не могу согласиться – но именно поэтому разговор наш о духовных влияниях на жизнь и литературу (то есть влияниях церкви, религии, Бога), начатый тоже замечательной статьей Г. Н. Ионина во втором номере нашего журнала (Судьбы русской культуры) нужно продолжить, следующий, четвертый номер, и будет этому преимущественно посвящен.

Окончание статьи в следующем номере



МАТЕРЬ БОЖИЯ С МЛАДЕНЦЕМ

Казимир Малевич

#### ОБЪЯВЛЕНИЕ

Следующий, четвертый номер журнала выйдет 30 июня сего года и будет посвящен взаимоотношениям интеллигенции и христианства (православия) и **Причинам и смыслу русской революции.**

# НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики

№ 3

Подписано в печать 23 апреля 2017

Отпечатано 27 апреля 2017 г.

Формат 60x90 1/16 20,25 п. л. = **324** с.

Тираж: **печать по требованию.**

Отпечатано с готового оригинал-макета,  
предоставленного редактором журнала,

СПб  
2017